

Д. Лондон

РАССКАЗЫ

К  
лассики  
и  
С  
овременники

Ск П  
181527.



Д. Лондон  
РАССКАЗЫ

---

*Перевод с английского*



Ленинград  
«Художественная литература»  
Ленинградское  
отделение  
1981

## Классики и современники

---

*Зарубежная  
литература*



*Текст печатается по изданию:*

Джек Лондон. Собр. соч. в 14-ти томах  
Изд-во «Правда». Б-ка «Огонек», 1961

Составление и вступительная статья  
А. САВУРЕНКО

Художник  
С. БОРДЮГ

## ДЖЕК ЛОНДОН — РАССКАЗЧИК

В 1896 году США всколыхнула весть о золоте, найденном на Клондайке. Началась вторая в истории страны «золотая лихорадка»<sup>1</sup>. И снова, как во времена знаменитого золотого похода «людей 49-го», тысячи американцев снялись с насиженных мест, чтобы отправиться в далекий путь. Но теперь он вел их не в солнечную Калифорнию, а в заснеженную Аляску — по отвесным каменным склонам Чилкутского перевала, через штормовые воды озера Линдсман, вверх по Юкону, свободному ото льдов всего несколько месяцев в году. Это был убийственно тяжелый путь, который заставил отступить не одного смельчака. Двадцатилетний Джек Лондон прошел его до конца, ибо он был достаточно закален суровыми испытаниями, выпавшими на его долю с ранних лет.

Джек Лондон родился в 1876 году в Сан-Франциско. Нищета семьи лишила его детства. С десяти лет он — разносчик газет, в четырнадцать — рабочий на консервной фабрике, где он трудился по пятнадцать-шестнадцать часов в сутки. В пятнадцать лет, купив лодку на деньги, взятые взаймы, Лондон становится «устричным пиратом». Теперь его заработок связан с немалой долей риска, но для него это был единственный путь, чтобы спастись от отупляющего подневольного труда. В 1893 году Лондон нанялся матросом на промысловую шхуну «Софи Сазерленд», которая держала курс к берегам Японии. Когда он вернулся в Сан-Франциско, заработанных им денег едва хватило, чтобы оплатить долги семьи. И снова изнурительный, однообразный труд за жалкие гроши — вначале на джутовой фабрике, затем на электростанции.

В 1894 году Джек Лондон вновь покидает Калифорнию. На этот раз он отправляется с отрядом безработных в поход на Вашингтон. Но, затравленный властями, отряд вскоре распался, а Лондон стал бродяжничать и добрался до канадской границы, где был арестован и приговорен к месячному тюремному заключению «за отсутствие постоянного местожительства и видимых средств к существованию». Впоследствии он неоднократно подчеркивал значение опыта, который приобрел во время своих скитаний по стране, пораженной в те годы тяжелым экономическим кризисом. Он познакомился с сотнями людей, искалеченных тяжелым трудом и выброшенных «в подвальные этажи общества» на «человеческую свалку». Он слушал их рассказы, вместе с ними обивал чужие пороги, дрожал от стужи в товарных вагонах и городских парках. И, хотя Лондон был молод, здоров, силен, в нем нарастало ощущение, что он скользит все ниже и ниже — на самое дно социальной пропасти.

<sup>1</sup> Первая «золотая лихорадка» связана с открытием золота в Калифорнии в 1848 году.

«Потрясенный, я стал размышлять,— писал он позднее в статье «Что значит для меня жизнь». — И наша сложная цивилизация предстала передо мной в своей обнаженной простоте. Вся жизнь сводилась к вопросу о пище и крове. Для того чтобы добыть кров и пищу, каждый что-нибудь продавал... Все было товаром, а все люди — продавцами и покупателями. Рабочий мог предложить для продажи только один товар — свои мускулы. На его честь на рынке не было спроса».

В Сан-Франциско Джек Лондон вернулся с твердой решимостью не продавать больше «силу своих мускулов». Еще в 1893 году, работая на джутовой фабрике, он в ночные часы, изнемогая от усталости, написал свой первый рассказ «Тайфун у берегов Японии», получивший премию сан-францискской газеты «Колл». Именно тогда и возникла у него мысль заняться литературной деятельностью. Теперь он приходит к выводу, что сможет добиться поставленной цели, только завершив образование. Занимаясь по девятнадцать часов в сутки и самостоятельно одолев за три месяца двухгодичный курс подготовки, Лондон поступает в Калифорнийский университет. Но проучился он там всего один семестр. Болезнь отца и необходимость содержать семью заставили его вернуться к физическому труду. На этот раз он поступил работать в прачечную.

С университетом Джек Лондон расставался без особого сожаления — его угнетала царившая там атмосфера косности и рутинности. Но он не расстался со своей самой сокровенной мечтой — стать писателем. День и ночь он гнул спину над нескончаемыми горами белья и все же урывал время, чтобы писать стихи, очерки, рассказы. Тратя последние гроши на почтовые марки, он отсылал их в редакции журналов, но неизменно получал отказы. В этих обстоятельствах золотonosный Клондайк виделся Джеку Лондону якорем спасения. Он и стал для него якорем спасения. Правда, с Аляски Джек Лондон вернулся таким же нищим, каким отправился туда. Но клондайкская эпопея завершила его формирование как человека и художника, снабдила богатейшим материалом. Первый его рассказ, посвященный Клондайку — «За тех, кто в пути!», — был опубликован в январе 1899 года калифорнийским журналом «Оверленд мансли». Вслед за ним в феврале того же года появляется рассказ «Белое безмолвие», который принес начинающему автору широкую известность. Отныне Джек Лондон становится профессиональным писателем — мечта его жизни осуществилась.

Богатейший жизненный опыт — вот тот источник, из которого Джек Лондон черпал материал на протяжении всего своего творческого пути. Вместе с тем он не без основания полагал, что художнику необходимо иметь «главную организующую философскую идею», которая помогает «построить из хаоса нечто цельное» и служит критерием, «позволяющим ориентироваться в собственном материале, определить по достоинству значение каждой его крупицы».

Понски этой философской идеи велись Лондоном в разных направлениях. Еще в 1895 году он вступил в Социалистическую рабочую партию США и стал одним из самых активных ее членов. Сама жизнь преподавала ему урок классового самосознания, а чтение «Коммунистического манифеста» утвердило его в мысли о необходимости революционного преобразования общества, основанного на эксплуатации, угнетении и классовом неравенстве. Однако, считая себя убежденным социалистом, Джек Лондон испытывал влия-

ние и других, весьма далеких от социализма доктрин. Немаловажную роль в данном случае сыграло его знакомство с трудами английского позитивиста Г. Спенсера и немецкого реакционного философа Ф. Ницше. Не принимая их философские системы в целом, Лондон взял из них только то, что, как ему казалось, он мог примирить с марксизмом. Его привлекала, в частности, идея «сильной личности» Ницше и «органическая теория» Спенсера, согласно которой человеческое общество отождествлялось с биологическим организмом, а естественный отбор и борьба за существование объявлялись движущими силами истории. Таким образом, мировоззренческая позиция писателя отличалась большой сложностью и противоречивостью, что не могло не отразиться в его творчестве — и прежде всего в его ранних, так называемых северных, рассказах.

Основная масса северных рассказов была написана в 1899—1905 годах и объединена в сборники «Сын Волка» (1900), «Бог его отцов» (1901), «Дети Мороза» (1902), «Вера в человека» (1904), «Любовь к жизни» (1907). Тематически к ним примыкают роман «Дочь снегов» (1902) и повести «Зов предков» (1903) и «Белый Клык» (1906). Место их действия — далекий Клондайк с его суровой полярной зимой, с беспредельностью его снежных равнин и ледяным оцепенением скованных морозами рек, страна «Великого Холода» и «Великого Безмолвия», величественный образ которой впервые возникает на страницах рассказа «Белое безмолвие»: «У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее — Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь».

Для Лондона-рассказчика Клондайк — это своего рода испытательная площадка. Здесь в экстремальных, как сказали бы современные психологи, условиях — не искусственных, а созданных самой природой — его герои проходят испытание. Испытывается на прочность их воля, стойкость, мужество, их человечность, чувство товарищества, способность к любви и самопожертвованию. Здесь с «расслабленных детищ цивилизации» спадают привычные маски, человеческая душа обнажается до самых ее глубин, под покровом видимости обнаруживается сущность.

Большинство героев северных рассказов — золотискатели. Однако к золоту они относятся по-разному. В системе ценностей, определяющих нравственный кодекс таких героев, как Мэйсон («Белое безмолвие») или Мейлмут Кид («За тех, кто в пути!», «Белое безмолвие», «На Сороковой Миле»), оно занимает отнюдь не главное место. Клондайк привлекает их прежде всего романтикой приключений, риска, возможностью уйти от пошлого однообразия жизни цивилизованного мира, от фальши и лицемерия буржуазных отношений. Здесь они живут по собственным законам, в соответствии со своими понятиями о чести, долге, справедливости, объединенные духом товарищества, человеческого братства. Поделиться последней пригоршней муки, оставить в хижине вязанку дров для идущего следом, переложить на свои плечи пошу

ослабшего — таковы неписанные правила, помогающие человеку выстоять перед лицом Великого Холода и Великого Безмолвия.

Суровое возмездие ожидает людей, нарушивших эти правила, и прежде всего тех, кто руководствуется в своих поступках корыстью и себялюбием. Так, став жертвой собственной алчности, погибает Джекоб Кент, торгующий своим гостеприимством («Человек со шрамом»). Эгоизм, себялюбие губят Картера Уэзерби и Перси Катферта, героев рассказа «В далеком краю». За предательство товарища, которого он бросил в беде, смертью расплачивается Билл в рассказе «Любовь к жизни». Алчность и эгоизм, служащие средством самоутверждения человека в буржуазном мире, в условиях Клондайка обрекают его на одиночество и гибель.

Значительное место в северных рассказах занимает индейская тема, имеющая в американской литературе давнюю традицию.

Трагическая судьба аборигенов Американского континента привлекла внимание американских писателей еще в XVIII веке. Но окончательно утвердилась индейская тема в американской литературе в первой трети XIX века после выхода в свет романов Ф. Купера «Пионеры» (1823) и «Последний из могикан» (1826).

Обратившись к индейской теме, Ф. Купер внес существенные коррективы в умозрительный и в значительной мере условный образ «благородного дикаря», созданный европейскими писателями. Его индейцы — воины и охотники — отважны, горды, свободолюбивы и независимы. Вместе с тем Ф. Купер понимал, что «благородный дикарь», столкнувшийся с буржуазной цивилизацией, ставший объектом грубого насилия и обмана, будет сломлен и раздавлен, несмотря на все присущие ему добродетели. Героические образы Чингачгук и Ункаса («Последний из могикан») — это славное прошлое индейских племен. Их настоящее — жалкий, спившийся Джон Могиканин, трагическая жертва буржуазного прогресса («Пионеры»).

К концу XIX века политика в отношении индейцев не претерпела существенных изменений. Истребление аборигенов Американского континента продолжалось. Но теперь американское правительство даже не пыталось придать ему хотя бы видимость законности. Дух джингоизма, усиленно насаждавшийся сторонниками империалистической экспансии, на путь которой вступили в это время США, оправдывал любые насильственные акции, совершаемые «избранной» белой расой для порабощения «неполноценных» рас. В этом плане весьма характерно заявление Теодора Рузвельта накануне президентских выборов 1901 года: «Я не пойду так далеко, чтобы утверждать, будто только мертвый индеец — хороший индеец, но полагаю, что в девяти из десяти случаев дело обстоит именно так, да и не слишком строго стал бы разбираться в десятом. У самого последнего ковбоя больше нравственных принципов, чем у среднего индейца».

Джингоистские настроения проникли и в американскую литературу, породив особое течение — так называемую «литературу красной крови». Именно с ней связывают некоторые американские исследователи рассказы Джека Лондона, посвященные индейской теме. На первый взгляд для этого сближения есть известные основания, ибо в ряде случаев в рассказах писателя действительно проскальзывают нотки откровенного восхищения людьми белой расы, расы завоевателей, устанавливающей законы и определяющей судьбы

других народов. В недрах арктической зимы, вдалеке от родных мест, они сохраняют волю к власти, безрассудную любовь к опасностям, железную решимость победить или умереть («Сын Волка»).

Однако Джек Лондон отнюдь не оправдывает белых колонизаторов, которые принесли с собой на Аляску «дыхание смерти» и, грубо злоупотребляя доверчивостью индейцев, действуя обманом, хитростью, силой, грабили и уничтожали целые племена («Гиперборейский напиток», «Лига стариков»). Не разделяет он и того снисходительно-пренебрежительного отношения к индейцам, которое утвердилось в «литературе красной крови». Напротив, автор северных рассказов неизменно подчеркивает их незаурядное мужество, стойческую выдержку и органически присущее им чувство достоинства, которое не покидает их даже в самые горькие минуты поражения («Лига стариков», «Киш, сын Киша»).

Подлинное благородство и величие духа отличают созданные Джеком Лондоном образы женщин-индианок — Руфь в «Белом безмолвии», Пассук в «Мужестве женщины». Их самоотверженная любовь не нуждается в громких словах. Она запечатлена в каждом метре пути, который Пассук прокладывает по снежной целине истощенным собакам, падающим под тяжестью нарт, в мешочке с едой, которую она собрала, съедая только половину своей и без того скудной порции пищи, чтобы Ситка Чарли смог добраться до Соленой Воды. Умирающий Мэйсон, вспоминая, как Руфь не раз рисковала ради его спасения собственной жизнью, признается Мейлмюту Киду: «Руфь была мне хорошей женой — лучшей, чем та, другая... Ты не знал, что я был женат? Я не говорил тебе? Да, попробовал раз стать женатым человеком... дома, в Штатах. Оттого-то и попал сюда. А ведь вместе росли. Уехал, чтобы дать ей повод к разводу. Она его получила».

Противопоставляя славное прошлое аборигенов Аляски жалкому настоящему их потомков, загнанных «на задворки приисковой цивилизации», Джек Лондон остро ощущал трагизм исторических судеб индейских племен. Однако он был склонен рассматривать этот процесс как проявление некоего внесоциального, вечного и непреложного для всех живых существ закона, суть которого он сформулировал в известном рассказе «Закон жизни». Старый Коскуш, оставленный своим племенем умирать у догорающего костра, не ропщет на судьбу. «Такова жизнь, и она справедлива... Дерево наливаются соками, распускаются зеленые почки, падает желтый лист — и круг завершен... С годами заяц тяжелеет и не может с прежней быстротой ускакать от врага. Даже медведь спешит к старости, становится неуклюжим, и в конце концов свора визгливых собак одолевает его».

Тяготение Джека Лондона к биологизированной концепции жизни в значительной мере определялось специфическими условиями Клондайка — тяжкая и непрерывная борьба с суровой природой Севера требовала от человека предельного напряжения всех физических сил. Подкрепленная влиянием «органической теории» Спенсера, эта концепция распространялась писателем и на судьбы целых народов. Показателен в этом плане его рассказ «Лига стариков».

Джек Лондон отдает должное непреклонной воле и мужеству героя рассказа индейца Имбера, который жестоко мстит белым людям за содеянное ими зло. История его жизни — это, по словам писателя, «история темного-



жестоким нравом, которая заслуживала того, чтобы ее начертали на бронзовых скрижалях для будущих поколений». Но, уничтожая белых, Имбер не может предотвратить гибель своего племени. Она предопределена грозным и беспощадным Законом, более сильным, «чем те ничтожные человеческие существа, которые действуют его именем или погибают под его тяжестью». Перед могуществом этого Закона склоняется и индеец Имбер, признавший тщету своих усилий, и белый судья, «чье сердце просило о снисхождении».

В процессе работы над северными рассказами сложилась точка зрения Джека Лондона на специфику жанра «малой прозы». Писатель считал, что, в отличие от «большой прозы» — романа, — действие рассказа должно быть ограничено предельно узкими хронологическими рамками — одним днем или даже часом. «Если же, — писал он одному из своих корреспондентов, — приходится охватывать большой период времени, ограничьтесь беглым намеком на прошлое и ведите рассказ только об узловых моментах.... Рассказ — это заверченный эпизод из жизни, единство настроения, ситуации, действия».

Этот «эпизод из жизни» мог быть подсказан писателю историями, которые рассказывали старожилы, охотники и золотоискатели у лагерных костров на Юконе или у трактирной стойки в Доусоне, попавшейся на глаза заметкой в газете, но главное — собственным богатейшим опытом бродяжничества, голода и лишений. Отсюда та «сила подробностей», которая столь важна для достижения эффекта достоверности в искусстве. Она достигается безукоризненной точностью деталей в изображении быта и труда золотоискателей, введением профессионального жаргона и разговорно-просторечной лексики. Вместе с тем при всей точности и конкретности, отличающей художественную манеру Лондона, в северных рассказах присутствует ярко выраженное поэтическое начало. Оно особенно характерно для рассказов, посвященных индейской теме. Лондон часто прибегает здесь к сказовой манере повествования, которая дала ему возможность использовать поэтическую образность и метафоричность речи индейцев. Поэтическая метафора широко используется писателем и в авторской речи — в частности, в изображении природы Севера. Нередко переходя в название рассказа (например, «Белое безмолвие»), она обретает символический смысл и сообщает всему повествованию особую эмоциональную окраску.

Северные рассказы остросюжетны и насыщены действием. Жизнь их героев — это жизнь, полная опасностей, приключений, постоянного движения. Лондон, как правило, отказывается от экспозиции, от авторских пояснений, вводящих в повествование или комментирующих его, то есть от всего того, что может замедлить развитие действия. Обычно читатель включается в это действие первой же фразой, открывающей рассказ. Однако, в отличие от американских новеллистов, придерживающихся традиции «сюрпризного сочинительства», Лондон никогда не рассматривал сюжет как самоцель. Сколь ни увлекательна событийная сторона северных рассказов, их автора, по его собственным словам, интересует прежде всего «изучение человеческой природы». Острые ситуации, приключения, динамика сюжета — все это служит средством раскрытия характеров; драматизм внешнего действия выявляет драматизм внутренних конфликтов. Северные рассказы часто называют эпопеей Севера, но центром этой эпопеи всегда является Человек.

С начала 1900-х годов в творчестве Джека Лондона намечается существенный перелом: писатель все чаще уходит от северной темы, обращаясь к проблеме социального бытия человека в современном буржуазном обществе. Вступление США в империалистическую стадию развития придало этой проблеме особую остроту. По определению В. И. Ленина, в начале XX века Америка стала «одной из первых стран по глубине пропасти между горсткой обнаглевших, захлебывающихся в грязи и в роскоши миллиардеров, с одной стороны, и миллионами трудящихся, вечно живущих на границе нищеты, с другой»<sup>1</sup>. Резкое обострение социальных противоречий обусловило интенсивный рост рабочего и социалистического движения. В 1901 году, в результате объединения левого крыла Социалистической рабочей партии с Социал-демократической партией, образуется Социалистическая партия, значительно расширившая свое влияние. В 1905 году возникает организация «Индустриальные рабочие мира». Значительную роль в активизации радикальных сил США сыграли также революционные события в России. Джек Лондон следил за ними с неослабным вниманием. Еще в 1900 году он познакомился с дочерью русских политических эмигрантов Анной Стрункой, которая много рассказывала ему о России. Русское революционное движение он воспринял как часть общей борьбы против социальной несправедливости. Называя русских революционеров своими братьями, Джек Лондон выступает в поддержку русской революции и пропагандирует социалистические идеи в многочисленных выступлениях, докладах, лекциях, статьях (сборники «Война классов», «Революция»).

Идейную платформу Лондона в этот период характеризует его оценка романа М. Горького «Фома Гордеев»: «Это целительная книга,— писал он. — Общественные язвы показаны в ней с таким бесстрашием, намалеванные красоты сдираются с порока с такой беспощадностью, что цель ее не вызывает сомнения,— она утверждает добро. Эта книга — действенное средство, чтобы пробудить дремлющую совесть людей и вовлечь их в борьбу за человечество».

Именно эта цель — «разбудить дремлющую совесть людей и вовлечь их в борьбу за человечество» — побудила писателя в 1902 году, когда он оказался в Лондоне, переодеться в грязные лохмотья и поселиться в трущобах Ист-Сайда, чтобы собрать материал для новой книги. Он назвал ее «Люди бездны» (1903) и, по собственному признанию, вложил в нее большую часть своего сердца, чем в любую другую книгу. Приводя бесчисленные примеры трагической участи людей, выброшенных на дно из-за болезни, старости, несчастья, рисуя поистине страшные картины их безысходной нищеты, Джек Лондон не ограничился простой констатацией фактов. «Бездна» — порождение капиталистического общества и его государственной системы, основанной на социальной несправедливости; трущобы и голод исчезнут, когда будет уничтожен капиталистический строй,— таков вывод Джека Лондона, который одним из первых провозгласил в американской литературе XX века идею социальной революции.

Дальнейшее развитие эта идея получила в социально-утопическом романе «Железная пята» (1908). Роман написан после поражения русской революции 1905 года, которое было для Джека Лондона тяжелым ударом. Но его вера в конечную победу революции осталась непоколебимой. Эта вера звучит в

<sup>1</sup> Ленин В. И. Поли. собр. соч., т. 37, с. 49.

пророческих словах героя романа, профессионального революционера Эрнеста Эвергарда, бросающего гневный вызов Железной пяте — власти капиталистической олигархии. Она утверждается комментатором событий, изображенных в романе, Энтони Мередитом, который живет уже в эру Братства людей.

Хотя в 1900-е годы роман занимает ведущее место в творчестве Джека Лондона, писатель сохранил верность жанру рассказа. Но теперь тематический диапазон его рассказов значительно расширяется — рядом с темой Клондайка возникают другие темы, связанные с новым кругом интересов писателя. В этом плане характерен рассказ «Отступник», который был опубликован осенью 1906 года.

По мнению американских исследователей, «Отступник» создан на основе воспоминаний Джека Лондона о том, что он сам пережил, когда подростком работал на джутовой фабрике. Однако если эти воспоминания и были использованы писателем, замысел его рассказа значительно шире, ибо герой «Отступника» Джонни — типичная жертва той потогонной системы, которая начала широко применяться американскими монополиями в 1900-е годы под флагом «научной организации труда». Механизация производства и введение конвейера стали средством искусственной интенсификации труда рабочих. Это обеспечивало монополистам более высокий уровень прибылей, для рабочих же конвейерная система означала быстрое истощение сил и преждевременную потерю трудоспособности.

В отличие от северных рассказов, в «Отступнике» нет напряженного динамического сюжета. Напротив, жизнь Джонни, который с семи лет встал к машине и сам постепенно превратился в машину, томительно однообразна: каждый день на рассвете мать с трудом вырывает его из цепких объятий сна, каждый день с первым проблеском утра он входит в фабричные ворота и затемно возвращается домой, каждый день у станка он совершает одни и те же движения. За свою недолгую жизнь он сделал тысячи, миллионы этих движений, и ему кажется, что он делает их уже тысячи, миллионы лет. К семнадцати годам Джонни превращается в заморенное, искалеченное существо, жаждущее только одного — покоя. Непосильный труд и нищета отняли у него детство, лишили всех радостей жизни, измотали его тело и душу. Нарочито монотонный ритм и подчеркнуто бесстрастный тон повествования в рассказе создают впечатление невыдуманной, повседневной реальности, «жизни, как она есть», достоверности факта, не требующей комментария. Не случайно «Отступник» стал одним из наиболее популярных материалов социалистической пропаганды.

Характерной чертой идейных исканий Джека Лондона в этот период является его попытка по-новому осмыслить те реакционные философские доктрины, влияние которых столь ощутимо в его раннем творчестве. Так, в романе «Морской волк» (1904) он вступает в полемику с ницшеанской этикой, разоблачая культ силы и кодекс вседозволенности. Критика индивидуализма занимает важное место в замысле «Мартина Идена» — лучшего романа Лондона, вышедшего в свет в 1909 году. Однако писателю так и не удалось преодолеть до конца свои былые философские заблуждения. Об этом свидетельствует тот факт, что, когда на исходе 1900-х годов он обратился к проблематике, близкой его ранним рассказам, он не нашел для нее нового решения.

В 1907 году Джек Лондон отправился на своей яхте «Снарк» в длительное морское путешествие, продолжавшееся почти два года. Побывав на Гавайях и Маркизских островах, на Самоа, Фиджи и Новых Гебридах, он собрал обширный материал о жизни туземцев, который лег в основу его «южных рассказов». Они начали появляться в печати с зимы 1909 года и позднее вошли в сборники «Рассказы Южного моря» (1911), «Сын Солнца» (1912) и «Храм гордыни» (1912).

Тихоокеанские острова — царство буйной тропической зелени, цветов и ярких красок — славятся своей красотой. Но не красота привлекает к ним внимание американских дельцов. Сенатора Сэмбука, покидающего Гонолулу и, по обычаю страны, увешанного гирляндами («Алоха Оэ»), цветы раздражают невыносимо. Его интересуют более прозаические предметы — дешевая рабочая сила и возможность выгодно поместить капитал в будущие фабрики, железные дороги, плантации.

Это «нашествие прогресса» оборачивается для туземного населения тихоокеанских островов жестокими трагедиями. Одна из них представлена в лучшем рассказе южного цикла — «Кулау-прокаженный».

Дорогой ценой платит народ острова за «дары цивилизации». Белые «слуги господ бога и господ рома» не только украли их землю; они завезли проказу, превратившую людей в жалких, беспомощных калек и обезьяноподобных уродов, в «чудовищ, изувеченных и обезображенных, словно их веками пытали в аду». Все, что у них осталось, — убежище в труднодоступном ущелье, последний оплот свободы и независимости, который Кулау защищает до тех пор, пока может держать винтовку в своих беспальных руках.

Подвиг жизни и смерти канака Кулау сродни подвигу индейца Имбера, героя «Лиги стариков». Этот подвиг достоин восхищения, но отмечен той же печатью безнадежности. Подобно Имберу, Кулау не может не признать превосходство белого человека, чья воля «сильнее жизни и покоряет все на свете»; подобно Имберу он сознает обреченность своего народа.

Последние шесть лет жизни писателя прошли под знаком нарастающего идейного кризиса. Свой разрыв с Социалистической партией, который относится к этому периоду, Джек Лондон объяснял тем, что она перешла на путь соглашательства и компромиссов, утратила свой боевой дух. Его упрек был не лишен оснований: теоретическая и идеологическая незрелость американского социалистического движения способствовала распространению оппортунистических настроений в среде американских социалистов. Однако, когда Джек Лондон писал, что он «слишком революционер, чтобы участвовать в социалистическом движении», это было явным преувеличением. Практически с 1910 года писатель ушел от общественной жизни. Его очередным увлечением стало строительство Дома Волка в Луинной долине в Калифорнии и создание образцовой фермы. Жизнь на лоне природы и здоровый физический труд виделись ему неким универсальным средством для решения всех проблем современной жизни. Здесь, сотворив свой собственный маленький мирок, он искал убежища от шумной суеты большого мира; сюда, в Луинную долину, бегут от жизненных невзгод герои его романов «Время-Не-Ждет» (1910) и «Луинная долина» (1913).

В иллюзорности этой мечты о пасторальной идиллии Джек Лондон убедился на собственном опыте: образцовая ферма приносила одни убытки и требовала все новых расходов. Подстегиваемый необходимостью заработка, Лондон много пишет в эти годы, хотя ежедневная норма в тысячу слов стоила ему теперь поистине мучительных усилий и, главное, далеко не все, что выходило из-под его пера, оказалось достойно этих усилий. Среди произведений, созданных им в последние годы жизни, было немало книг, явно рассчитанных на коммерческий успех, мелодраматических и сентиментальных («Маленькая хозяйка большого дома», 1916) или, напротив, нарочито жестокых («Мятеж на „Эльсиноре“», 1914). Имелись, однако, и счастливые исключения. Одно из них — рассказ «Мексиканец» (1911), навеянный событиями мексиканской революции, которую Джек Лондон приветствовал в письме, опубликованном в феврале 1911 года одной из американских социалистических газет.

«Мексиканец» — это рассказ о силе человеческого духа, о способности человека все вынести, все превозмочь, если он воодушевлен великой идеей. Ведь в поединке восемнадцатилетнего мексиканца Фелипе Риверы и американского боксера Дэнни Уорда все преимущества на стороне Дэнни — профессиональное мастерство, опыт, симпатии зрителей и судей. И тем не менее победа остается за Риверой, этим «мексиканским крысенком», который выглядит рядом с Дэнни жалким заморышем. И тот, и другой дерутся за деньги. Но одному они необходимы для легкой жизни, покупаемой на эти деньги, другому — для дела Революции, нуждающейся в винтовках; один руководствуется грубым расчетом, другой — высокой целью, делающей его непобедимым.

Джек Лондон умер в 1916 году. За семнадцать лет своей творческой деятельности он написал, помимо многочисленных романов, свыше ста пятидесяти рассказов. Разумеется, не все они равноценны. Эта неравноценность определяется прежде всего противоречивостью мировоззренческой позиции писателя и сложным характером творческой эволюции. Следует отметить также, что в ряде случаев Лондон-рассказчик не избежал влияния штампов массовой беллетристики, рассчитанной на невзыскательные вкусы буржуазного обывателя. Однако, каким бы неровным ни был творческий путь писателя, в нем всегда жила любовь к правде и справедливости, которая, по словам его современника Э. Синклера, «доходила до страсти». Даже тогда, когда философские заблуждения Лондона мешали ему правильно оценить «эпизод из жизни» с точки зрения законов общественного развития, он оставался гуманистом, яростно обличающим социальное зло и несправедливость.

В настоящий сборник включены лучшие рассказы Джека Лондона, созданные им на разных этапах его творческого пути и посвященные разным темам. Рассказы размещены в хронологическом порядке — по дате первого напечатания, — с тем чтобы не только познакомить читателя с творчеством одного из самых блестящих мастеров американской новеллы, но и дать представление о его идейной и художественной эволюции.

*А. Савуренок*

## РАССКАЗЫ

---

### БЕЛОЕ БЕЗМОЛВИЕ

— Кармен и двух дней не протянет.

Мэйсон выплюнул кусок льда и уныло посмотрел на несчастное животное, потом, поднеся лапу собаки ко рту, стал опять скусывать лед, намерзший большими шишками у нее между пальцев.

— Сколько я ни встречал собак с затейливыми кличками, все они никуда не годились,— сказал он, покончив со своим делом, и оттолкнул собаку. — Они слабеют и в конце концов издыхают. Ты видел, чтобы с собакой, которую зовут попросту Касьяр, Сиваш или Хаски, приключилось что-нибудь неладное? Никогда! Посмотри на Шукума: он...

Раз! Отощавший пес взметнулся вверх, едва не вцепившись клыками Мэйсону в горло.

— Ты что это придумал?

Сильный удар по голове рукояткой бича опрокинул собаку в снег; она судорожно вздрагивала, с клыков у нее капала желтая слюна.

— Я и говорю, посмотри на Шукума: Шукуму маху не даст. Бьюсь об заклад, что не пройдет и недели, как он задерет Кармен.

— А я,— сказал Мэйлмют Кид, переворачивая хлеб, оттаивающий у костра,— бьюсь об заклад, что мы сами съедим Шукума, прежде чем доберемся до места. Что ты на это скажешь, Руфь?

Индянка бросила в кофе кусочек льда, чтобы осела гуща, перевела взгляд с Мэйлмюта Кида на мужа, затем на собак, но ничего не ответила. Столь очевидная истина не требовала подтверждения. Другого выхода им не оставалось. Впереди двести миль по непроложенному пути, еды хватит всего дней на шесть, а для собак и совсем ничего нет.

Оба охотника и женщина придвинулись к костру и принялись за скудный завтрак. Собаки лежали в упряжке, так как это была короткая дневная стоянка, и завистливо следили за каждым их куском.

— С завтрашнего дня никаких завтраков,— сказал Мэйлмют Кид,— и не спускать глаз с собак; они совсем от рук отбились, того и гляди набросятся на нас, если подвернется удобный случай.

— А ведь когда-то я был главой методистской общины и преподавал в воскресной школе!

И, неизвестно к чему объявив об этом, Мэйсон погрузился в созерцание своих мокасин, от которых шел пар. Руфь вывела его из задумчивости, налив ему чашку кофе.

— Слава богу, что у нас вдоволь чая. Я видел, как чай растет, дома, в Теннесси. Чего бы я теперь не дал за горячую кукурузную лепешку!.. Не горюй, Руфь, еще немного, и тебе не придется больше голодать, да и мокасины не надо будет носить.

При этих словах женщина перестала хмуриться, и глаза ее загорелись любовью к ее белому господину — первому белому человеку, которого она встретила, первому мужчине, который показал ей, что в женщине можно видеть не только животное или вьючную скотину.

— Да, Руфь,— продолжал ее муж на том условном языке, единственно на котором они и могли объясняться друг с другом,— вот скоро мы выберемся отсюда, сядем в лодку белого человека и поедem к Соленой Воде. Да, плохая вода, бурная вода — словно водяные горы скачут вверх и вниз. А как ее много, как долго по ней ехать! Едешь десять снов, двадцать снов, сорок снов,— для большей наглядности Мэйсон отсчитывал дни на пальцах,— и все время вода, плохая вода. Потом приедем в большое селение, народу много, все равно как мошканы летом. Вигвамы вот какие высокие — в десять, двадцать сосен!.. Эх!

Он замолчал, не находя слов, и бросил умоляющий взгляд на Мэйлмюта Киды, потом старательно стал показывать руками, как это будет высоко, если поставить одну на другую двадцать сосен. Мэйлмют Кид насмешливо улыбнулся, но глаза Руфи расширились от удивления и счастья; она думала, что муж шутит, и такая милость радовала ее бедное женское сердце.

— А потом сядем в... в ящик, и — пифф! — поехали. — В виде пояснения Мэйсон подбросил в воздух пустую кружку и, ловко поймав ее, закричал: — И вот — пафф! — уже приехали! О великие шаманы! Ты едешь в Форт Юкон, а я еду в Арктик-сити — двадцать пять снов. Длинная веревка оттуда сюда, я хватаюсь за эту веревку и говорю: «Алло, Руфь! Как живешь?» А ты говоришь: «Это ты, муженек?» Я говорю: «Да». А ты говоришь: «Нельзя печь хлеб: больше соды нет». Тогда я говорю: «Посмотри в чулане, под мукой. Прощай!» Ты идешь в чулан и берешь соды сколько нужно. И все время ты в Форте Юкон, а я — в Арктик-сити. Вот они какие, шаманы!

Руфь так простодушно улыбнулась этой волшебной сказке, что мужчины покатались со смеху. Шум, поднятый дерущимися собаками, оборвал рассказы о чудесах далекой страны, и к тому времени, когда драчунов разняли, женщина уже успела увязать нарты, и все было готово, чтобы двинуться в путь.

— Вперед, Лысый! Эй, вперед!

Мэйсон ловко щелкнул бичом и, когда собаки начали, тихонько повизгивая, натягивать постромки, уперся в поворотный шест и сдвинул с места примерзшие нарты. Руфь следовала за ним со второй упряжкой, а Мэйлмют Кид, помогший ей тронуться, замыкал шествие. Сильный и суровый человек, способный свалить быка одним ударом, он не мог бить несчастных собак и по возможности щадил их, что погонщики делают редко. Иной раз Мэйлмют Кид чуть не плакал от жалости, глядя на них.

— Ну, вперед, хромоногие! — пробормотал он после нескольких тщетных попыток сдвинуть тяжелые нарты.

Наконец его терпение было вознаграждено, и, повизгивая от боли, собаки бросились догонять своих собратьев.

Разговоры смолкли. Трудный путь не допускает такой роскоши. А езда на Севере — тяжкий, убийственный труд. Счастлив тот, кто ценою молчания выдержит день такого пути, и то еще по проложенной тропе.

Но нет труда изнурительнее, чем прокладывать дорогу. На каждом шагу широкие плетеные лыжи проваливаются и ноги уходят в снег по самое колено. Потом надо осторожно вытаскивать ногу — отклонение от вертикали на ничтожную долю дюйма грозит бедой, — пока поверхность лыжи не очистится от снега. Тогда шаг вперед — и начинаешь поднимать другую ногу, тоже по меньшей мере на полярда. Кто проделывает это впервые, валится от изнеможения через сто ярдов, даже если до того он не зацепит одной лыжей за другую и не растянется во весь рост, доверившись предательскому снегу. Кто сумеет за весь день ни разу не попасть под ноги собакам, тот может с чистой совестью и с величайшей гордостью забираться в спальный мешок; а тому, кто пройдет двадцать снов по Великой Северной Тропе, могут позавидовать и боги.

День клонился к вечеру, и подавленные величием Белого Безмолвия путники молча прокладывали себе путь. У природы много способов убедить человека в его смертности: непрерывное чередование приливов и отливов, ярость бури, ужасы землетрясения, громовые раскаты небесной артиллерии. Но всего сильнее, всего сокрушительнее — Белое Безмолвие в его бесстрастности. Ничто не шелохнется, небо ярко, как отполированная медь, малейший шепот кажется святотатством, и человек пугается звука собственного голоса. Единственная частица живого, передвигающаяся по призрачной пустыне мертвого мира, он страшится своей дерзости, остро сознавая, что он всего лишь червь. Сами собой возникают странные мысли, тайна вселенной ищет своего выражения. И на человека находит страх перед смертью, перед богом, перед всем миром, а вместе со страхом — надежда на воскресение и жизнь и тоска по бессмертию — тщетное стремление плененной материи; вот тогда-то человек остается насдине с богом.

День клонился к вечеру. Русло реки делало тут крутой поворот, и Мэйсон, чтобы срезать угол, направил свою упряжку через узкий мыс. Но собаки никак не могли взять подъем. Нарты сползали вниз, несмотря на то, что Руфь и Мэйлмут Кид подталкивали их сзади. Еще одна отчаянная попытка; несчастные, ослабевшие от голода животные напрягли последние силы. Выше, еще выше — нарты выбрались на берег. Но тут вожак потянул упряжку вправо, и нарты наехали на лыжи Мэйсона. Последствия были печальные: Мэйсона сбило с ног, одна из собак упала, запутавшись в постромках, и нарты покатались вниз по откосу, увлекая за собой упряжку.

Хлоп! Хлоп! Бич так и свистел в воздухе, и больше всех досталось упавшей собаке.



— Перестань, Мэйсон! — вступился Мэйлмют Кид. — Несчастливая и так при последнем издыхании. Постой, мы сейчас припряжем моих. Мэйсон выждал, когда тот кончит говорить, — и длинный бич обвился вокруг провинившейся собаки. Кармен — это была она — жалобно взвизгнула, зарылась в снег, потом перевернулась на бок.

То была трудная, тягостная минута для путников: издыхает собака, ссорятся двое друзей. Руфь умоляюще переводила взгляд с одного на другого. Но Мэйлмют Кид сдержал себя, хотя глаза его и выражали горький укор, и, наклонившись над собакой, обрезал постромки. Никто не проронил ни слова. Упряжки спарили, подъем был взят; нарты снова двинулись в путь. Кармен из последних сил тащилась позади. Пока собака может идти, ее не пристреливают, у нее остается последний шанс на жизнь: дотащиться до стоянки, а там, может быть, люди убьют лося.

Раскаиваясь в своем поступке, но из упрямства не желая сознаться в этом, Мэйсон шел впереди и не подозревал о надвигающейся опасности. Они пробирались сквозь густой кустарник в низине. Футах в пятидесяти в стороне высилась старая сосна. Века стояла она здесь, и судьба веками готовила ей такой конец — ей, а, может быть, заодно и Мэйсону.

Он остановился завязать ослабевший ремень на мокасине. Нарты стали, и собаки молча легли на снег. Вокруг стояла зловещая тишина, ни единого движения не было в осыпанном снегом лесу; холод и безмолвие заморозили сердце и сковали дрожащие уста природы. Вдруг в воздухе пронесся вздох; они даже не услышали, а скорее ощутили его как предвестника движения в этой неподвижной пустыне. И вот огромное дерево, склонившееся под бременем лет и тяжестью снега, сыграло свою последнюю роль в трагедии жизни. Мэйсон услышал треск, хотел было отскочить в сторону, но не успел он выпрямиться, как дерево придавило его, ударив по плечу.

Внезапная опасность, мгновенная смерть — как часто Мэйлмют Кид сталкивался с тем и другим! Еще дрожали иглы на ветвях, а он уже успел отдать приказание женщине и кинуться на помощь. Индианка тоже не упала без чувств и не стала проливать ненужные слезы, как это сделали бы многие из ее белых сестер. По первому слову Мэйлмюта Кида она всем телом налегла на приспособленную в виде рычага палку, ослабляя тяжесть и прислушиваясь к столам мужа, а Мэйлмют Кид принялся рубить дерево топором. Сталь весело звенела, вгрызаясь в промерзший ствол, и каждый удар сопровождался натужным, громким выдохом Мэйлмюта Кида.

Наконец Кид положил на снег жалкие остатки того, что так недавно было человеком. Но страшнее мучений его товарища была немая скорбь в лице женщины и ее взгляд, исполненный и надежды, и отчаяния. Сказано было мало: жители Севера рано познают тщету слов и неопценное благо действий. При температуре в шестьдесят пять градусов ниже нуля<sup>1</sup> человеку нельзя долго лежать на снегу. С нарт срезали ремни, и несчастного Мэйсона закутали в звериные

<sup>1</sup> Температура везде дана по Фаренгейту.

шкуры и положили на подстилку из веток. Запылал костер; на топливо пошло то самое дерево, что было причиной несчастья. Над костром устроили примитивный полог: натянули кусок парусины, чтобы он задерживал тепло и отбрасывал его вниз,— способ, хорошо известный людям, которые учатся физике у природы.

Тот, кто не раз делил ложе со смертью, узнает ее зов. Мэйсон был страшным образом искалечен. Это стало ясно даже при беглом осмотре: перелом правой руки, бедра и позвоночника; ноги парализованы; вероятно, повреждены и внутренние органы. Только редкие стоны несчастного свидетельствовали о том, что он еще жив.

Никакой надежды, сделать ничего нельзя. Медленно тянулась безжалостная ночь. Руфь встретила ее со стоическим отчаянием, свойственным ее народу; на бронзовом лице Мэйлмюта Кида прибавилось несколько морщин. В сущности, меньше всего страдал Мэйсон,— он перенесся в Восточный Теннесси, к Великим Туманным Горам, и вновь переживал свое детство. Трогательно звучала мелодия давно забытого южного города; он бредил о купании в озерах, об охоте на енота и набегах за арбузами. Для Руфи это были только невнятные звуки, но Кид понимал все, и каждое слово отзывалось в его душе — так может сочувствовать только тот, кто долгие годы был лишен всего, что зовется цивилизацией.

Утром умирающий пришел в себя, и Мэйлмют Кид наклонился к нему, стараясь уловить его шепот:

— Помнишь, как мы встретились на Танане?... Четыре года минет в ближайший ледоход... Тогда я не так уж любил ее, просто она была хорошенькая... вот и увлекся. А потом привязался к ней. Она была хорошей женой, в трудную минуту всегда рядом. А уж что касается нашего промысла, сам знаешь — равной ей не сыскать... Помнишь, как она переплыла пороги Оленьи Рога и сняла нас с тобой со скалы, да еще под градом пуль, хлеставших по воде? А голод в Нуклукайто? А как она бежала по льдинам, торопилась скорее передать нам вести? Да, Руфь была мне хорошей женой — лучшей, чем та, другая... Ты не знал, что я был женат? Я не говорил тебе? Да, попробовал раз стать женатым человеком... дома, в Штатах. Оттого-то и попал сюда. А ведь вместе росли. Усхал, чтобы дать ей повод к разводу. Она его получила.

Руфь — дело другое. Я думал покончить здесь со всем и усхать в будущем году вместе с ней. Но теперь поздно об этом говорить. Не отправляй Руфь назад к ее племени, Кид. Слишком трудно ей будет там. Подумай только: почти четыре года есть с нами бобы, бекон, хлеб, сушеные фрукты — и после этого опять рыба да оленина! Узнать более легкую жизнь, привыкнуть к ней, а потом вернуться к старому. Ей будет трудно. Позаботься о ней, Кид... Почему бы тебе... да нет, ты всегда сторонился женщин... Я ведь так и не узнаю, что тебя привело сюда. Будь добр к ней и отправь ее в Штаты как можно скорее. Но если она будет тосковать по родне, помоги ей вернуться.

Ребенок... он еще больше сблизил нас, Кид. Хочу надеяться, что будет мальчик. Ты только подумай, Кид! Плоть от плоти моей. Нельзя, чтобы он оставался здесь. А если девочка... нет, этого не может

быть... Продай мои шкуры: за них можно выручить тысяч пять, и еще столько же у меня за Компанией. Устраивай мои дела вместе со своими. Думаю, что наша заявка себя оправдывает... Дай ему хорошее образование... а главное, Кид, чтобы он не возвращался сюда. Здесь не место белому человеку.

Моя песенка спета, Кид. В лучшем случае — три или четыре дня. Вам надо идти дальше. Вы должны идти дальше! Помни, это моя жена, мой сын... Господи! Только бы мальчик! Не оставайтесь со мной. Я приказываю вам уходить. Послушайся умирающего!

— Дай мне три дня! — взмолился Мэйлмют Кид. — Может быть, тебе станет легче; еще неизвестно, как все обернется.

— Нет.

— Только три дня.

— Уходите!

— Два дня.

— Это моя жена и мой сын, Кид. Не проси меня.

— Один день!

— Нет! Я приказываю!

— Только один день! Мы как-нибудь протянем с едой; я, может быть, подстрелю лося.

— Нет!. Ну ладно: один день и ни минуты больше. И еще, Кид: не оставляй меня умирать одного. Только один выстрел, только раз нажать курок. Ты понял? Помни это. Помни!... Плоть от плоти моей, а я его не увижу... Позови ко мне Руфь. Я хочу проститься с ней... скажу, чтобы помнила о сыне и не дожидалась, пока я умру. А не то она, пожалуй, откажется идти с тобой. Прощай, друг, прощай! Кид, стой... надо копать выше. Я намывал там каждый раз центов на сорок. И вот еще что, Кид...

Тот наклонился ниже, лоя последние, едва слышные слова — признание умирающего, смирившего свою гордость.

— Прости меня... ты знаешь за что... за Кармен.

Оставив плачущую женщину подле мужа, Мэйлмют Кид натянул на себя парку<sup>1</sup>, надел лыжи и, прихватив ружье, скрылся в лесу. Он не был новичком в схватке с суровым Севером, но никогда еще перед ним не стояла столь трудная задача. Если рассуждать отвлеченно, это была простая арифметика — три жизни против одной, обреченной. Но Мэйлмют Кид колебался. Пять лет дружбы связывали его с Мэйсоном — в совместной жизни на стоянках и приисках, в странствиях по рекам и тропам, в смертельной опасности, которую они встречали плечом к плечу на охоте, в голод, в наводнение. Так прочна была их связь, что он часто чувствовал смутную ревность к Руфи, с первого дня, как она стала между ними. А теперь эту связь надо разорвать собственной рукой.

Он молил небо, чтобы оно послало ему лося, только одного лося, но, казалось, зверь покинул страну, и под вечер, выбившись из сил, он возвращался с пустыми руками и с тяжелым сердцем. Оглушительный лай собак и пронзительные крики Руфи заставили его ускорить шаг.

<sup>1</sup> Парка — верхняя меховая одежда.

Подбежав к стоянке, Мэйлмют Кид увидел, что индианка отбивается топором от окружившей ее рычащей своры. Собаки, нарушив железный закон своих хозяев, набросились на съестные припасы. Кид поспешил на подмогу, действуя прикладом ружья, и древняя трагедия естественного отбора разыгралась во всей своей первобытной жестокости. Ружье и топор размеренно поднимались и опускались, то попадая в цель, то мимо; собаки, извиваясь, метались из стороны в сторону; яростно сверкали глаза, слюна капала с оскаленных морд. Человек и зверь иступленно боролись за господство. Потом избитые собаки уползли подальше от костра, зализывая раны и обращая к звездам жалобный вой.

Весь запас вяленой рыбы был уничтожен, и на дальнейший путь в двести с лишком миль осталось не более пяти фунтов муки. Руфь снова подошла к мужу, а Мэйлмют Кид освежевал одну из собак, череп которой был проломлен топором, и нарубил кусками еще теплое мясо. Все куски он спрятал в надежное место, а шкуру и требуху бросил недавним товарищам убитого пса.

Утро принесло новые заботы. Собаки грызлись между собой. Свора набросилась на Кармен, которая все еще цеплялась за жизнь. Посыпавшиеся на них удары бича не помогли делу. Собаки взвизгивали и припадали к земле, но только тогда разбежались, когда от Кармен не осталось ни костей, ни клочка шерсти.

Мэйлмют Кид принялся за работу, прислушиваясь к бреду Мэйсона, который снова перенесся в Теннесси, снова произносил несвязные проповеди, убеждая в чем-то своих братьев.

Сосны стояли близко, и Мэйлмют Кид быстро делал свое дело: Руфь наблюдала, как он сооружает хранилище, какие устраивают охотники, желая уберечь припасы от росомых и собак. Он нагнул верхушки двух сосенок почти до земли и связал их ремнями из оленьей кожи. Затем, ударами бича смилив собак, запряг их в нарты и погрузил туда все, кроме шкур, в которые был закутан Мэйсон. Товарища он обвязал ремнями, прикрепив концы их к верхушкам сосен. Один взмах ножа — и сосны выпрямятся и поднимут тело высоко над землей.

Руфь безропотно выслушала последнюю волю мужа. Бедняжку не надо было учить послушанию. Еще девочкой она вместе со всеми женщинами своего племени преклонялась перед властелином всего живущего, перед мужчиной, которому не подобает прекословить. Кид не стал утешать Руфь, когда та напоследок поцеловала мужа — ее народ не знает такого обычая, — а потом отвел ее к передним нартам и помог надеть лыжи. Как слепая, она машинально взялась за шест, взмахнула бичом и, погоняя собак, двинулась в путь. Тогда он вернулся к Мэйсону, впадшему в беспамятство; Руфь уже давно скрылась из виду, а он все сидел у костра, ожидая смерти друга и моля, чтобы она пришла скорее.

Нелегко оставаться наедине с горестными мыслями среди Белого Безмолвия. Безмолвие мрака милосердно, оно как бы защищает человека, согревая его неувловимым сочувствием, а прозрачно-чистое

и холодное Белое Безмолвие, раскинувшееся под стальным небом, безжалостно.

Прошел час, два — Мэйсон все не умирал. В полдень солнце, не показываясь над горизонтом, озарило небо красноватым светом, но он вскоре померк. Мэйлмют Кид встал, заставил себя подойти к Мэйсону и огляделся по сторонам. Белое Безмолвие словно издевалось над ним. Его охватил страх. Раздался короткий выстрел. Мэйсон взлетел ввысь, в свою воздушную гробницу, а Мэйлмют Кид, нахлестывая собак, во весь опор помчался прочь по снежной пустыне.

## НА СОРОКОВОЙ МИЛЕ

Вряд ли Большой Джим Белден думал, к чему приведет его вполне как будто безобидное замечание о том, какая занятная штука — ледяное сало. Не думал об этом и Лон Мак-Фэйн, заявив в ответ, что еще более занятная штука — донный лед; не думал и Беттлз, когда он сразу же заспорил, утверждая, что никакого донного льда не существует, — это просто вздорная выдумка вроде буки, которой пугают детей.

— И это говоришь ты, — закричал Лон, — который столько лет провел в этих местах! И мы еще столько раз ели с тобой из одного котелка!

— Да ведь это противоречит здравому смыслу, — настаивал Беттлз, — послушай-ка, ведь вода теплее льда...

— Разница невелика, если проломить лед.

— И все-таки вода теплее, раз она не замерзла. А ты говоришь, она замерзает на дне!

— Да ведь я про донный лед говорю, Дэвид, только про донный лед. Вот иногда плывешь по течению, вода прозрачная, как стекло, и вдруг сразу точно облако закрыло солнце — и в воде льдинки, словно пузырьки, начинают подниматься кверху; и не успеешь оглянуться, как уж вся река от берега до берега, от изгиба до изгиба побелела, как земля под первым снегом. С тобой этого никогда не бывало?

— Угу, бывало, и не раз, когда мне случалось задремать на рулевом весле. Только лед всегда выносило из какого-нибудь бокового протока, пузырьками снизу он не поднимался.

— А наяву ты этого ни разу не видел?

— Нет. И ты не видел. Все это противоречит здравому смыслу. Каждый тебе скажет то же!

Беттлз обратился ко всем сидевшим вокруг печки, но никто не ответил ему, и спор продолжался только между ним и Лоном Мак-Фэйном.

— Противоречит или не противоречит, но то, что я тебе говорю, это правда. Осенью прошлого года мы с Ситкой Чарли наблюдали такую картину, когда плыли через пороги, что пониже Форта Доверия. Погода была настоящая осенняя, солнце поблескивало на золотых лиственницах и дрожащих осинах, рябь на реке так и сверкала; а с севера уже надвигалась голубая дымка зимы. Ты и сам хорошо зна-

ешь, как это бывает: вдоль берегов реку начинает затягивать ледяной кромкой, а кое-где в заводях появляются уже порядочные льдины; воздух какой-то звонкий и словно искрит; и ты чувствуешь, как с каждым глотком этого воздуха у тебя жизненных сил прибывает. И вот тогда-то, дружище, мир становится тесным и хочется идти и идти вперед.

Да, но я отвлекся.

Так вот, значит, мы гребли, не замечая никаких признаков льда, разве только отдельные льдинки у водоворотов, как вдруг индеец поднимает свое весло и кричит: «Лон Мак-Фэйн! Посмотри-ка вниз! Слышал я про такое, но никогда не думал, что увижу это своими глазами!»

Ты знаешь, что Ситка Чарли, так же как и я, никогда не жил в тех местах, так что зрелище было для нас новым. Бросили мы гребсти, свесились по обе стороны и всматриваемся в сверкающую воду. Знаешь, это мне напомнило те дни, которые я провел с искателями жемчуга, когда мне приходилось видеть на дне моря коралловые рифы, похожие на цветущие сады. Так вот, мы увидели донный лед: каждый камень на дне реки был облеплен гроздьями льда, как белыми кораллами.

Но самое интересное было еще впереди. Не успели мы обогнуть порог, как вода вокруг лодки вдруг стала белеть, как молоко, покрываясь на поверхности крошечными кружочками, как бывает, когда хариус поднимается весной или когда на реке идет дождь. Это всплывал донный лед. Справа, слева, со всех сторон, насколько хватал глаз, вода была покрыта такими кружочками. Словно лодка подвигалась вперед в густой каше, как клей, прилипавший к веслам. Много раз мне приходилось плыть через эти пороги и до того, и после, но никогда я не видел ничего подобного. Это зрелище запомнилось мне на всю жизнь.

— Рассказывай! — сухо заметил Беттлз. — Неужели ты думаешь, я поверю таким небылицам? Просто у тебя в глазах рябило да воздух развязал язык.

— Так ведь я же своими глазами видел это; был бы Ситка Чарли здесь, он подтвердил бы.

— Но факты остаются фактами, и обойти их никак нельзя. Это противостественно, чтобы сначала замерзала вода, которая дальше всего от воздуха.

— Но я своими глазами...

— Хватит! Ну что ты заладил одно и то же! — убеждал его Беттлз.

Но в Лоне Мак-Фэйне уже начинал закипать гнев, свойственный его вспылчивой кельтской натуре:

— Так ты что ж, не веришь мне?

— Раз уж ты так уперся, — нет; в первую очередь я верю природе и фактам.

— Значит, ты меня обвиняешь во лжи? — угрожающе произнес Лон. — Ты бы лучше спросил свою жену, сивашку. Пусть она скажет, правду я говорю или нет.

Беттлз так и вспыхнул от злости. Сам того не сознавая, ирландец больно задел его самолюбие: дело в том, что жена Беттлза, по матери индианка, была дочерью русского торговца пушниной, и он с ней венчался в православной миссии в Нулато, за тысячу миль отсюда вниз по Юкону; таким образом, она по своему положению стояла гораздо выше обыкновенных туземных жен — сивашек. Это была тонкость, нюанс, значение которого может быть понятно только северному искателю приключений.

— Да, можешь понимать это именно так, — подтвердил Беттлз с решительным видом.

В следующее мгновение Лон Мак-Фэйн повалил его на пол, сидевшие вокруг печки повскакали со своих мест, и с полдюжины мужчин тотчас же очутились между противниками.

Беттлз поднялся на ноги, вытирая кровь с губ.

— Драться — это не ново. А не думаешь ли ты, что я с тобой за это рассчитаюсь?

— Еще никто никогда в жизни не обвинял меня во лжи, — учтиво ответил Лон. — И будь я проклят, если я не помогу тебе расквитаться со мной любым способом.

— У тебя все тот же 38—55?

Лон утвердительно кивнул головой.

— Ты бы лучше достал себе более подходящий калибр. Мой револьвер понаделает в тебе дыр величиной с орах.

— Не беспокойся! Хотя у моих пуль рыльце мягкое, но бьют они навывлет и выходят с другой стороны сплюснутыми в лепешку. Когда я буду иметь удовольствие встретиться с тобой? По-моему, самое подходящее место — это у проруби.

— Место неплохое. Приходи туда ровно через час, и тебе не придется долго меня дожидаться.

Оба надели рукавицы и вышли из помещения поста Сороковой Мили, не обращая внимания на уговоры товарищей. Казалось бы, началось с пустяка, но у людей такого вспыльчивого и упрямого нрава мелкие недоразумения быстро разрастаются в крупные обиды. Кроме того, в те времена еще не умели вести разработку золотоносных пластов зимой, и у жителей Сороковой Мили, запертых в своем поселке продолжительными арктическими морозами и страдающих от обжорства и вынужденного безделья, сильно портился характер, они становились раздражительными, как пчелы осенью, когда ульи переполнены медом.

В Северной Стране тогда не существовало правосудия, королевская конная полиция также была еще делом будущего. Каждый сам измерял обиду и сам назначал наказание, когда дело касалось его. Необходимость в совместных действиях против кого-либо возникала редко, и за всю мрачную историю лагеря Сороковой Мили не было случаев нарушения восьмой заповеди.

Большой Джим Белден сразу же устроил импровизированное собрание. Бирюк Маккензи занял председательское место, а священнику Рубо был отправлен нарочный с просьбой помочь делом своим участием. Положение совещающихся было двойственным, и одна

понимали это. По праву силы, которое было на их стороне, они могли вмешаться и предотвратить дуэль, однако такой поступок, вполне отвечая их желаниям, шел бы вразрез с их убеждениями. В то время как их примитивные законы чести признавали личное право каждого ответить ударом на удар, они не могли примириться с мыслью, что два таких добрых друга, как Беттлз и Мак-Фэйн, должны встретиться в смертельном поединке. Человек, не принявший вызова, был, по их понятиям, трусом, но теперь, когда они столкнулись с этим в жизни, им хотелось, чтобы поединок не состоялся.

Совещание было прервано торопливыми шагами, скрипом мокасин на снегу и громкими криками, за которыми последовал выстрел из револьвера. Одна за другой распахнулись двери, и вошел Мэйлмют Кид, держа в руке дымящийся кольт, с торжествующим огоньком во взгляде.

— Уложил на месте. — Он вставил новый патрон и добавил: — Это твой пес, Бирюк.

— Желтый Клык? — спросил Маккензи.

— Нет, знаешь, тот, вислоухий.

— Черт! Да ведь он был здоров!

— Выйди и погляди.

— Да в конце концов так и надо было. Я и сам думал, что с вислоухим кончится плохо. Сегодня утром возвратился Желтый Клык и сильно покусал его. Потом Желтый Клык едва не сделал меня вдовцом. Набросился на Заринку, но она хлестнула его по морде своим подолом и убежала — отделалась изодранной юбкой да здорово вывалялась в снегу. После этого он опять удрал в лес. Надеюсь, больше не вернется. А что, у тебя тоже погибла собака?

— Да, одна, лучшая из всей своры — Шукум. Утром он вдруг взбесился, но убежал не очень далеко. Налетел на собак из упряжки Ситки Чарли, и они проволокли его по всей улице. А сейчас две из них взбесились и вырвались из упряжки — как видишь, он свое дело сделал. Если мы что-нибудь не предпримем, весной недосчитаемся многих собак.

— И людей тоже.

— Это почему? Разве с кем-нибудь случилась беда?

— Беттлз и Лон Мак-Фэйн поспорили и через несколько минут будут сводить счета внизу, у проруби.

Ему рассказали все подробно, и Мэйлмют Кид, привыкший к беспрекословному послушанию со стороны своих товарищей, решил взяться за это дело. У него быстро созрел план действий; он изложил его присутствующим, и они пообещали точно выполнить указания.

— Как видите, — сказал он в заключение, — мы вовсе не лишаем их права стреляться; но я уверен, что они сами не захотят, когда поймут всю остроумную суть нашего плана. Жизнь — игра, а люди — игроки. Они готовы поставить на карту все состояние, если имеется хотя бы один шанс из тысячи. Но отнимите у них этот единственный шанс, и они не станут играть. — Он повернулся к человеку, на попечении которого находилось хозяйство поста. — Отмерь-ка мне футов



восемнадцатая самой лучшей полудюймовой веревки. Мы создадим прецедент, с которым будут считаться на Сороковой Миле до скончания веков,— заявил он. Затем он обмотал веревку вокруг руки и вышел из дверей в сопровождении своих товарищей как раз вовремя, чтобы встретиться с главными виновниками происшествия.

— Какого черта он припел мою жену? — заревел Беттлз в ответ на дружескую попытку успокоить его. — Это было ни к чему! — заявил он решительно. — Это было ни к чему! — повторял он, шагая взад и вперед в ожидании Лона Мак-Фэйна.

А Лон Мак-Фэйн с пылающим лицом все говорил и говорил: он открыто восстал против церкви.

— Если так, отец мой,— кричал он священнику,— если так, то я с легким сердцем завернусь в огненные одеяла и улягусь на ложе из горящих углей! Никто тогда не посмеет сказать, что Лона Мак-Фэйна обвинили во лжи, а он проглотил обиду, не шевельнув пальцем! И не надо мне вашего благословения! Пусть моя жизнь была беспорядочной, но сердцем я всегда знал, что хорошо и что плохо.

— Лон, но ведь это не сердце,— прервал его отец Рубо. — Это гордыня толкает тебя на убийство ближнего.

— Эх вы, французы! — ответил Лон. И затем, повернувшись, чтобы уйти, он спросил: — Скажите, если мне не повезет, вы отслужите по мне панихиду?

Но священник только улыбнулся в ответ и зашагал в своих мокашинах по снежному простору уснувшей реки. К проруби вела утоптанная тропинка шириной в санный след, не более шестнадцати дюймов. По обеим сторонам ее лежал глубокий мягкий снег. Молчаливая вереница людей двигалась по тропинке; шагающий с ними священник в своем черном облачении придавал процессии какой-то похоронный вид. Был теплый для Сороковой Мили зимний день; свинцовое небо низко нависло над землей, а ртуть термометра показывала необычные для этого времени года двадцать градусов ниже нуля. Но это тепло не радовало. Ветра не было, угрюмые, неподвижно висящие облака предвещали снегопад, а равнодушная земля, скованная зимним сном, застыла в спокойном ожидании.

Когда подошли к проруби, Беттлз, который, очевидно, по дороге мысленно переживал ссору, в последний раз разразился своим: «Это было ни к чему!» Лон Мак-Фэйн продолжал хранить мрачное молчание. Он не мог говорить: негодование душило его.

И все же, отвлекаясь от взаимной обиды, оба в глубине души удивлялись своим товарищам. Они полагали, что те будут спорить, протестовать, и это молчаливое непротивление больно задевало их. Можно было ожидать большего участия со стороны столь близких людей, и в душе у обоих поднималось смутное чувство обиды: их возмущало, что друзья собрались, словно на праздник, и без единого слова протеста готовы смотреть, как они будут убивать друг друга. Видно, не так уж дорожили ими на Сороковой Миле. Поведение товарищей приводило их в замешательство.

— Спиной к спине, Дэвид. На каком расстоянии будем стреляться — пятьдесят шагов или сто?

— Пятьдесят,— решительно ответил тот; это было сказано достаточно четко, хотя и ворчливым тоном.

Внезапно зоркий взгляд ирландца упал на веревку, небрежно обмотанную вокруг руки Мэйлмюта Киды, и он мгновенно насторожился.

— А что ты собираешься делать с этой веревкой?

— Ну, вы, поторапливайтесь! — сказал Мэйлмют Кид, не удостоив его ответом, и взглянул на свои часы. — Я собрался было печь хлеб и не хочу, чтобы тесто село. Кроме того, у меня уже ноги мерзнут.

Остальные тоже начали выказывать нетерпение, каждый по-своему.

— Да, но зачем веревка, Кид? Она же совершенно новая, и уж, конечно, твои хлебы не такие тяжелые, чтобы их нужно было вытягивать веревкой?

В это время Беттлз оглянулся кругом. Отец Рубо прикрыл рукавицей рот: до него только сейчас начал доходить комизм положения.

— Нет, Лон, эта веревка предназначена для человека.

Мэйлмют Кид при желании мог говорить очень внушительно.

— Для какого человека? — Беттлза начинал интересоваться разговором.

— Для второго.

— А кого ты подразумеваешь под этим?

— Послушай, Лон, и ты, Беттлз, тоже! Мы обсудили эту вашу маленькую ссору и приняли одно решение. Мы знаем, что не имеем права запретить вам драться...

— Вот это верно!

— А мы и не собираемся. Но зато мы можем сделать — и сделаем! — так, чтобы этот поединок оказался первым и последним в лагере на Сороковой Миле. Пусть это послужит уроком для каждого чачако на Юконе. Тот из вас, кто останется в живых, будет повешен на ближайшем дереве. А теперь приступайте!

Лон недоверчиво улыбнулся, затем лицо его оживилось:

— Отмеривай пятьдесят шагов, Дэвид; разойдемся и будем стрелять до тех пор, пока один из нас не свалится мертвым. Не посмеют они это сделать! Ты же знаешь, что это штуки нашего янки. Он просто хочет запугать нас!

Он двинулся вперед, самодовольно ухмыляясь, но Мэйлмют Кид остановил его:

— Лон! Давно ты меня знаешь?

— Давно, Кид.

— А ты, Беттлз?

— В июне, в половодье, будет пять лет.

— Был хоть один случай, чтобы я не сдержал свое слово? Может быть, вы хоть от других слышали о таком случае?

Оба отрицательно покачали головой, стараясь в то же время понять, что скрывалось за его вопросами.

— Значит, на мое обещание можно положиться?

— Как на долговую расписку, — изрек Беттлз.

— Верное дело, не то что надежда на райское блаженство, — быстро подтвердил Лон Мак-Фэйн.

— Ну так слушайте! Я, Мэйлмют Кид, даю вам слово — а вы знаете, что это значит, — что тот из вас, кто останется в живых, будет повешен через десять минут после дуэли. — Он отступил назад, как, быть может, сделал Понтий Пилат, умыв руки.

Молча стояли люди Сороковой Мили. Небо нависло еще ниже, сыпля на землю кристаллическую морозную пыль — крошечные геометрические фигурки, прекрасные и эфемерные, как дыхание, которым тем не менее суждено было существовать до тех пор, пока солнце, возвращаясь, не пройдет половину своего северного пути. Как Беттлзу, так и Лону не раз приходилось отчаянно рисковать; однако, пускаясь в опасное предприятие, с проклятиями или шутками на языке, они всегда сохраняли в душе неизменную веру в Счастливый Случай. Но на сей раз участие этого милостивого божества совершенно исключалось. Они вглядывались в лицо Мэйлмюта Кид, тщетно сясь разгадать его истинные намерения, но оно было непроницаемо, как у сфинкса. И по мере того как в тягостном молчании проходила минута за минутой, они все больше ощущали потребность сказать что-нибудь.

Собачий вой резко разорвал тишину; он доносился со стороны Сороковой Мили. Зловещий звук усиливался, наполняясь отчаянием и предсмертной тоской, и наконец замер.

— Черт возьми! — Беттлз поднял воротник своей теплой куртки и беспомощно оглянулся кругом.

— Выгодную игру ты затеял, Кид! — воскликнул Лон Мак-Фэйн. — Весь выигрыш заведению, и ни гроша игроку. Сам черт не сумел бы придумать такой штуки, и будь я проклят, если я пойду на это.

Когда обитатели Сороковой Мили взбирались по вырубленным во льду ступенькам на берег и пересекали улицу, направляясь к посту, можно было услышать приглушенные смешки и перехватить лукавые подмигивания, едва заметные под пушистыми от инея ресницами. Снова раздался протяжный угрожающий вой собаки. За углом пронзительно взвизгнула женщина. Кто-то крикнул: «Вот он!» И в толпу стремительно врезался мальчик-индеец, а потом полдюжины перепуганных собак, которые мчались с такой быстротой, словно за ними гналась сама смерть. Им вслед пронесся Желтый Клык, ошестив серую шерсть. Все, кроме янки, бросились бежать. Мальчик споткнулся и упал. Беттлз задержался ровно настолько, чтобы успеть схватить его за края меховой одежды, и вместе с ним бросился к высокой поленнице, куда успели забраться несколько его товарищей. Желтый Клык, преследуя одну из собак, уже возвращался быстрыми прыжками. Беглянка, совершенно обезумевшая от страха, сбила Беттлза с ног и бросилась по улице. Мэйлмют Кид быстро, не целясь, выстрелил в Желтого Клыка. Бешеный пес взвился и, перекувырнувшись в воздухе, упал на спину, но тут же вскочил и одним прыжком покрыл половину расстояния, отделявшего его от Беттлза.

Но второй роковой прыжок не состоялся. Лон Мак-Фэйн вскочил с поленницы, встретил Желтого Клыка на лету. Они покатились по земле; Лон схватил собаку за горло и удерживал ее морду вытянутой рукой на расстоянии. Зловонная слюна брызнула ему в лицо. И вот

тогда Беттлз, с револьвером в руке хладнокровно выжидавший удобного момента, решил исход поединка.

— Это была честная игра, Кид,— сказал Лон, поднимаясь на ноги и вытряхивая снег из рукавов,— выигрыш достался мне по праву.

Вечером, в то время как Лон Мак-Фэйн, решив вернуться во всепрощающее лоно церкви, направлялся к хижине отца Рубо, Мэйлмют Кид и Маккензи вели длинный, но почти безрезультатный разговор.

— Неужели ты сделал бы это,— упорствовал Маккензи,— если бы они все-таки стрелялись?

— Был ли случай, чтобы я не сдержал свое слово?

— Нет, но не о том речь. Ты отвечай. Сделал бы ты это?

Мэйлмют Кид выпрямился.

— Знаешь, Бирюк, я сам все время спрашиваю себя об этом и...

— И что?

— И вот пока не могу найти ответа.

## В ДАЛЕКОМ КРАЮ

Когда человек уезжает в далекие края, он должен быть готов к тому, что ему придется забыть многие из своих прежних привычек и приобрести новые; отвечающие изменившимся условиям жизни. Он должен расстаться со своими прежними идеалами, отречься от прежних богов, а часто и отрешиться от тех правил морали, которыми до сих пор руководствовался в своих поступках. Те, кто наделен особым даром приспособляемости, могут даже находить удовольствие в новизне положения. Но для тех, кто закоснел в привычках, приобретенных с детства, гнет новых условий невыносим,— такие люди страдают душой и телом, не умея понять требования, которые предъявляет к ним изменившаяся среда. Эти страдания порождают различные преступления и навлекают на человека всевозможные бедствия. Для того, кто не может войти в новую жизненную колею, лучше всего было бы сразу вернуться на родину; промедление будет стоить ему жизни.

Человек, распрощавшийся с благами старой цивилизации ради первобытной простоты и суровой юности Севера, может считать, что его шансы на успех обратно пропорциональны количеству и качеству безнадежно укоренившихся в нем привычек. Он вскоре обнаружит, если только вообще способен на это, что материальные жизненные удобства еще не самое важное. Есть грубую и простую пищу вместо изысканных блюд, носить мягкие бесформенные мокасины вместо кожаной обуви, спать на снегу, а не на пуховой постели — ко всему этому в конце концов привыкнуть можно. Но самое трудное — это выработать в себе должное отношение ко всему окружающему и особенно к своим ближним. Ибо обычную учтивость он должен заменить в себе снисходительностью, терпимостью и готовностью к самопожертвованию. Так, и только так, он может заслужить драгоценную награду — истинную товарищескую преданность. От него не требуется слов благодарности, — он должен доказывать ее на деле, платя той же монетой: короче — замаскировать видимость сущностью.

Когда весть об арктическом золоте облетела мир и людские сердца неудержимо потянуло к Северу, Картер Уэзерби распрощался со своим насиженным местом в конторе, где он работал клерком, перевел половину сбережений на имя жены, а на оставшиеся деньги купил себе все необходимое для путешествия. В его натуре не было романтики — занятия коммерцией уничтожили в нем все подобные склонности, — ему просто надоело однообразие его служебной лямки и захотелось отважиться на риск в надежде на то, что риск себя оправдает. Подобно многим другим глупцам, презревшим старые, испытанные дороги, которыми в течение долгих лет шли пионеры Севера, он в самом начале весны поспешил в Эдмонтон и там, на свое несчастье, прикинул к партии золотоискателей.

Не было ничего необычного в этой партии, за исключением ее планов. Даже конечной целью ее, как и всех подобных партий, был Клондайк. Но путь для достижения этой цели был выбран такой, что мог поставить в тупик даже самого отважного местного жителя, привыкшего к трудностям и непредвиденным случайностям жизни на Северо-Западе. Даже Жак-Батист, сын индианки из племени Чиппева и канадского француза-проводника, издавший свой первый крик в вивае из оленьих шкур, севернее шестьдесят пятой параллели, и умолкнувший, когда ему сунули в рот кусок сырого сала, — даже Жак-Батист был поражен. Хотя он и продал этим людям свои услуги и согласился сопровождать их до вечных льдов, но и он, когда спросили его совета, зловеще покачал головой.

Несчастливая звезда Перси Катферта, должно быть, как раз тогда восходила, ибо он также присоединился к этой компании аргонавтов. Это был самый обыкновенный человек, чей счет в банке был столь же солиден, как и его образование, — а это уже немало. Он не имел никаких оснований пускаться в такое предприятие, равно никаких, за исключением, может быть, того, что он страдал избытком сентиментальности. Он ошибочно принял эту свою черту за истинную романтичность и любовь к приключениям. Людям часто случается впадать в подобную ошибку и затем жестоко расплачиваться за нее.

Первые дни весны застали партию на Лосиной реке, и, как только прошел лед, путешественники отправились вниз по течению. Это была целая флотилия — так как поклажи оказалось много, — сопровождаемая пестрой толпой метисов-проводников с женщинами и детьми. Целыми днями они трудились на своих лодках и челноках, боролись с комарами и всякой назойливой мошкой, и обливались потом, и бранились, когда нужно было перетаскивать лодки волоком. Суровый труд обнажает человеческую душу до самых ее глубин, и, прежде чем партия миновала озеро Атабаска, каждый из членов экспедиции проявил свою подлинную натуру.

Картер Уэзерби и Перси Катферт оказались лодырями и несправивыми нытиками. Каждый из них жаловался на свои болезни и трудности больше, чем все остальные, вместе взятые. Не было случая, чтобы они добровольно взялись хотя бы за одну из многочисленных работ, нужных по лагерю. Чуть только являлась необходимость принести ведро воды, нарубить лишнюю охапку дров, переменить и перете-

реть посуду или отыскать в груде вещей какой-нибудь неожиданно понадобившийся предмет,— эти два расслабленных детища цивилизации немедленно обнаруживали у себя растяжение связок или водяные волдыри, требующие срочного лечения. Они первыми устраивались на ночлег, не закончив порученного им дела, и последними вставали утром, хотя требовалось еще до завтрака подготовить все к отъезду. Они первыми садились за еду и последними принимали участие в приготовлении пищи, первыми вылавливали лучший кусок и последними замечали, что захватили порцию соседа. Если им приходилось грести, они просто погружали весла в воду при каждом взмахе, предоставляя лодке самой плыть по течению. Они думали, что никто этого не замечает, но товарищи мысленно ругали их и начинали уже ненавидеть, а Жак-Батист открыто насмехался над ними и поносил их с утра до ночи,— правда, Жак-Батист не был джентльменом.

У Большого Невольничьего озера партия закупила собак и до отъезда нагрузила лодки запасами вяленой рыбы и пеммикана. Тем не менее быстрое течение Маккензи легко подхватило их и понесло вперед к Великому Бесплодному Пространству. По пути они тщательно обследовали каждый мало-мальский обещающий ручеек, но золотой мираж по-прежнему ускользал от них все дальше на север. У Большого Медвежьего озера проводники, поддавшись извечному страху перед неизведанными землями, начали покидать золотоискателей. У Форта Доброй Надежды последние и самые отважные из них взялись за канаты и потащили свои лодки вверх по реке, которой они так недавно еще доверялись. Остался один только Жак-Батист — но разве он не поклялся сопровождать партию до вечных льдов?

Теперь они постоянно обращались к своим путевым картам весьма сомнительной достоверности, составленным главным образом понаслышке. Они чувствовали необходимость спешить, так как летнее солнцестояние уже закончилось и снова надвигалась арктическая зима. Обогнув берега залива, где Маккензи впадает в Северный Ледовитый океан, они вошли в устье реки Литтл-Пил. Затем начался трудный путь вверх по течению, и оба «никудышника» справлялись с работой еще хуже, чем всегда. Приходилось тянуть лодки канатом, передвигать их с помощью багра и весел, переправлять через пороги и перетаскивать волоком; это были муки, достаточные для того, чтобы внушить одному из них глубокое отвращение к рискованным затеям, а другому дать красноречивое доказательство того, что представляет собою истинная романтика приключений. Однажды они взбунтовались и, несмотря на неистовую ругань Жака-Батиста, не тронулись с места. Метис избил обоих до крови и заставил работать. Для каждого из них это были первые побои в жизни.

Оставив свои лодки у истоков Литтл-Пил, они провели остаток лета, совершая трудный переход через водораздел рек Маккензи и Крысей. Крысей река — приток реки Поркюпайн, которая, в свою очередь, впадает в Юкон там, где этот великий водный путь Севера пересекает Полярный круг. Но зима опередила их, и однажды их плоты застряли во льдах, после чего они сразу же поспешили выгрузить свои

вещи на берег. Ночью на реке образовался затор, льдины с треском раскалывались, нагромождаясь друг на друга; к утру все оцепенело в мертвом сне.

— Мы должны быть не дальше четырехсот миль от Юкона,— закончил Слоупер, отмечая расстояние по карте ногтем большого пальца.

Совещание, на котором оба «никудышника» не переставали хныкать и жаловаться, подходило к концу.

— Когда-то тут был пост Компании Гудзонова залива. Теперь уже здесь давно ничего нет,— сказал Жак-Батист.

Отец Жака-Батиста, состоявший на службе Пушной компании, совершил в давние времена путешествие по этим местам, после чего недосчитался двух пальцев на ноге.

— Да он не в своем уме! — раздался голос. — Разве здесь нет уже белых?

— Ни одного! — решительно заявил Слоупер. — Но когда мы выйдем к Юкону, то до Доусона останется миль пятьсот. Так что всего можно считать около тысячи миль.

Уэзерби и Катферт дружно заохали.

— Сколько времени займет это, Батист?

Метис на минуту задумался.

— Если мы все будем работать как черти, то десять, двадцать, сорок, пятьдесят дней. А с этими младенцами,— он кивнул на обоих «никудышников»,— даже не знаю, когда мы доберемся до Доусона. Может быть, когда сам ад замерзнет, а может быть, и никогда.

Изготовление лыж и мокасин приостановилось. Кто-то, заметив отсутствие одного из участников похода, окликнул его по имени, и он появился на пороге хижины, стоявшей неподалеку от костра. Эта хижина была одной из многих загадок, таившихся среди необъятных просторов Севера. Кем и когда она была построена, никто не знал. Две могилы у входа, отмеченные высокими грудками камней, хранили, быть может, тайну ранних пришельцев. Но чья рука складывала эти камни?

Решительный момент настал. Жак-Батист перестал прилаживать упряжь и успокоил упрямившуюся собаку. Повар выразил безмолвный протест против дальнейшего промедления, бросил несколько кусков бекона в бурлящий котелок с бобами и приготовился слушать. Слоупер поднялся на ноги. Его фигура представляла разительный контраст с обоими «никудышниками», сохранявшими вполне здоровый вид. Слабый, с болезненно желтым лицом, он только недавно выбрался из какой-то южноамериканской местности, зараженной миазмами лихорадки, но не потерял вкуса к странствиям и все еще был способен работать наравне с остальными. Веса в нем было не больше девяноста фунтов, вместе с тяжелым охотничьим ножом; седеющие волосы свидетельствовали о том, что молодость его уже миновала. Сила молодых мускулов Уэзерби или Катферта в десять раз превышала силу его мускулов, и все же они не могли за ним угнаться. В течение целого дня он убеждал своих более сильных товарищей решиться на

переход в тысячу миль, сулящий жесточайшие трудности, какие только может представить себе человек. Он был воплощением неутомимости своей расы, и древнее тевтонское упорство, соединенное с сообразительностью и энергией янки, держало его тело в подчинении духа.

— Те, кто хочет продолжать путь, как только река окончательно станет, пусть скажут «да».

— Да! — раздалось в ответ восемь голосов. Этим голосам суждено было не раз проклинать судьбу на протяжении многих сотен миль труднейшего пути.

— Кто против, пусть скажет «нет».

— Нет!

Первый раз оба «никудашника» пришли к единодушному мнению, не поступаясь личными интересами каждого.

— Как же вы теперь будете решать? — воинственно спросил Уэзерби.

— По большинству голосов, по большинству голосов! — закричали остальные члены партии.

— Я знаю, что экспедиция может потерпеть неудачу, если вы не пойдете с нами, — вкрадчиво сказал Слоупер, — но я думаю, что если мы будем очень стараться, то уж как-нибудь обойдемся без вас. Что скажете, ребята?

В ответ раздался гул одобрения.

— Но послушайте, — решительно сказал Катферт, — а мне что же делать?

— С нами ты идти не собираешься?

— Не-ет.

— Ну так и делай что хочешь, черт возьми! В конце концов, нас это не касается.

— А ты посоветуйся со своим приятелем, — проговорил один уроженец Дакоты, указывая на Уэзерби. — Когда нужно будет сварить обед или пойти за дровами, он тебе, наверно, даст хороший совет.

— Тогда будем считать, что все улажено, — заключил Слоупер. — Мы тронемся в путь завтра и, пройдя пять миль, сделаем остановку, чтобы окончательно все проверить и вспомнить, не забыли ли здесь чего-нибудь.

Нарты закричали на окованных сталью полозьях, и собаки медленно двинулись с места, натягивая упряжь, в которой им суждено было жить и умереть. Жак-Батист помедлил минуту возле Слоупера и бросил на хижины прощальный взгляд. Из трубы подымалась чуть заметная струйка дыма — это топилась юконская печь. Оба «никудашника», стоя на пороге, следили за удаляющимися нартами.

Слоупер положил руку на плечо метиса.

— Жак-Батист, слышал ты когда-нибудь о котах из Килкенни?

Тот отрицательно покачал головой.

— Так вот, дружище, раз в Килкенни подрались два кота, да так подрались, что после драки от них ничего не осталось — ни клочка шерсти, ни кусочка шкуры. Понимаешь? Что называется, ни следа!



Ну так вот. Эти двое не любят работать. Мы это знаем. Они остаются в этой хижине вдвоем на всю зиму, долгую, черную зиму. Теперь понимаешь, почему я вспомнил про котов из Килкенни?

Батист-француз в ответ пожал плечами; Батист-индеец промолчал, — и все же это был красноречивый жест, заключавший в себе пророчество.

Первое время в хижине все шло хорошо. Грубые шутки товарищей заставили Уэзерби и Катферта понять взаимную ответственность, которая на них легла; кроме того, для двух здоровых людей дела, в конце концов, было не так уж много. Избавление от грозного метиса, его карающей руки, дало благодетельные результаты. Вначале каждый из них старался превзойти другого, выполняя всякие мелкие работы с усердием, которое заставило бы немало подвигаться их товарищей, совершавших в это время долгий и трудный путь по Великой Северной Тропе.

Все тревоги теперь исчезли. Лес, окружавший хижину с трех сторон, хранил неиссякаемый запас дров. В нескольких ярдах от дверей хижины текла река Поркюпайн; достаточно было прорубить отверстие в ее зимнем покрове, чтобы иметь источник кристально чистой и необыкновенно холодной воды. Но вскоре они стали тяготиться даже этой несложной обязанностью, — прорубь постоянно замерзала, и нужно было снова и снова браться за топор. Неизвестные строители хижины сделали позади пристройку для хранения провизии. Здесь находилась большая часть оставленных экспедицией запасов. Пищи было много, ее хватило бы и на шесть человек; но продукты все больше были такие, что годились для поддержания сил и укрепления мышц, но едва ли могли служить лакомством. Правда, сахару было достаточно для двух взрослых мужчин, но эти двое мало чем отличались от детей: они очень скоро обнаружили, как вкусен напиток из горячей воды с сахаром, макали в него хлебные корки и обильно поливали оладьи густым белым сиропом. Огромное количество сахара истреблялось также с кофе, чаем и особенно с сушеными фруктами. Вопрос о сахаре и стал причиной первого столкновения. А когда двое людей, вынужденных проводить все время вдвоем, и только вдвоем, начинают ссориться — дело плохо.

Уэзерби любил разлагольствовать о политике, тогда как Катферт, всегда предпочитавший спокойно стричь купоны, не вмешиваясь в государственные дела, или вовсе игнорировал подобные разговоры, или раздражался едкими эпиграммами. Но природная тупость мешала клерку оценить блестящую форму, в которую облакалась мысль Катферта, и тот злился, видя, что понапрасну тратит порох: он привык ослеплять слушателей блеском своего красноречия и очень страдал от отсутствия аудитории. Он воспринимал это как личную обиду и в глубине души даже ставил своему товарищу в вину его скудоумие.

Если не считать совместной жизни, у них не было решительно ничего общего, ни одной точки соприкосновения. Уэзерби всю жизнь прослужил в конторе и, помимо конторской работы, ничего не знал и

не умел делать. Катферт был магистром искусств, на досуге писал маслом и даже пробовал свои силы в литературе. Один принадлежал к низшим слоям общества и считал себя джентльменом, а другой был джентльменом и сознавал себя таковым. Отсюда следует вывод, что для джентльмена не обязательно элементарное чувство товарищества. Один был грубо-чувственной натурой, другой — эстетом; и бесконечные рассказы клерка о его любовных похождениях, являвшиеся по преимуществу плодом фантазии, действовали на утонченного магистра искусств, как зловоние сточной канавы. Он считал клерка грязным животным, которому место в хлеву со свиньями, и говорил ему об этом. В ответ Катферту сообщалось, что он «размазня» и «хам». Что в данном случае означало слово «хам», Уэзерби не смог бы объяснить ни за что на свете, но насмешка достигала цели, а это, в конце концов, всегда самое главное.

Отчаянно фальшивя, Уэзерби часами пел песенки вроде «Бандит из Бостона» или «Юнга-красавчик», — так что в конце концов Катферт, который буквально плакал от ярости, не выдерживал больше и выбежал за дверь. Положение становилось безвыходным. Остаться на морозе долго было невозможно, а в маленькой хижине размером десять на двенадцать, вмещавшей две койки и стол, им было вдвоем чересчур тесно. Для каждого из них само присутствие другого было уже личным оскорблением, и время от времени они впадали в угрюмое молчание, которое становилось все более длительным и глубоким, по мере того как шли дни. Во время этих периодов молчания они старались совершенно не замечать друг друга, но иногда не выдерживали и позволяли себе искоса брошенный взгляд или презрительную гримасу. И каждый в глубине души искренне удивлялся тому, что господь бог создал другого.

От безделья они не знали, куда девать время, и потому обленелись еще больше. Ими овладело какое-то сонное оцепенение, которое они не в силах были с себя стряхнуть; необходимость выполнить самую незначительную работу приводила их в ярость. Однажды утром Уэзерби, зная, что сегодня его очередь готовить завтрак, выбрался из-под одеяла и под храп своего товарища зажег светильник, а затем развел огонь в печке. Вода в котелках замерзла, и печем было умыться. Но это его не смутило. Ожидая, пока лед в котелках растает, он нарезал ломтями бекон и нехотя принялся замешивать тесто для лепешек. Катферт исподтишка наблюдал за ним краем глаза. Дело кончилось бранью и крупной ссорой: было решено, что отныне каждый готовит завтрак сам для себя. Через неделю утренним омовением пренебрег и Катферт, что не помешало ему с большим аппетитом съесть завтрак, который он сам себе приготовил. Уэзерби только усмехнулся. После этого глупая привычка умываться по утрам была отменена навсегда.

Так как запас сахара и других вкусных вещей начал уменьшаться, каждый из них стал терзаться опасением, как бы другой не съел больше, и, для того чтобы не быть ограбленным, сам старался поглотить как можно больше. В этом соревновании пострадали не только запасы лакомств, но и те, кто их истреблял. Из-за отсутствия свежих овощей, а также неподвижного образа жизни у них началось худосоч-

чие и по телу пошла отвратительная багровая сыпь. Но они упорно не хотели замечать опасности. Затем появились отеки, суставы стали пухнуть, кожа почернела, а рот, десны и зубы приобрели цвет густых сливок. Однако общая беда не сблизила их,—напротив, каждый с тайным злорадством следил за появлением зловещих симптомов цинги у другого.

Вскоре они совсем перестали следить за собой и забыли самые элементарные приличия. Хижина превратилась в настоящий свиной хлев; они не убирали постелей, не меняли хвойных подстилок и охотнее всего вовсе не вылезали бы из-под своих одеял, но это было невозможно: холод стоял невыносимый, и печка требовала много топлива. Волосы у них висели длинными спутанными прядями, лица заросли клочковатой щетиной, а их одеждой погнушался бы даже старьевщик. Но их это не трогало. Они были больны, никто их не видел, и, кроме того, двигаться было слишком мучительно.

Ко всем этим бедам прибавилось новое страдание — страх Севера. Этот страх — неразлучный спутник Великого Холода и Великого Безмолвия; он порождение мрака, черных декабрьских ночей, когда солнце окончательно скрывается за южным горизонтом. Этот страх действовал на них по-разному,сообразно натуре каждого. Уэзерби подпал под власть грубых суеверий. Его непрестанно преследовала мысль о тех, кто спал там, в забытых могилах, и ему чудилось, что души этих людей воскресали. Это было какое-то наваждение. Они мерещились ему во сне, приходили из ледящего холода могилы, забирались к нему под одеяло и рассказывали о своей тяжелой жизни и предсмертных муках. Уэзерби содрогался всем телом, отстраняясь от их липких прикосновений, но они прижимались к нему, сковывая его своими ледяными объятиями; а когда они нашептывали ему зловещие предсказания, хижина оглашалась воплями ужаса. Катферт ничего не понимал — они с Уэзерби давно уже перестали разговаривать — и, разбуженный криками, неизменно хватался за револьвер. Затем он садился на постели, охваченный нервной дрожью, и сидел так, сжимая в руке оружие, наведенное на лежащего в беспомощности человека. Катферт думал, что Уэзерби сходит с ума, и начинал опасаться за свою жизнь.

Его собственная болезнь выражалась в менее определенной форме. Неведомый строитель хижины закончил свою постройку, укрепив на коньке крыши флюгер. Катферт заметил, что флюгер всегда обращен к югу, и однажды, раздраженный этим упорным постоянством, сам повернул его на восток. Он наблюдал за ним с жадным вниманием, но ни одно дуновение ветра не потревожило флюгера. Тогда он повернул его к северу, поклявшись себе не дотрагиваться до него и ждать, пока не подует ветер. В неподвижности воздуха было что-то сверхъестественное, пугающее; часто Катферт среди ночи вставал посмотреть, не шевельнулся ли флюгер. Если бы он повернулся хотя бы на десять градусов! Но нет, он высился над крышей, непоколебимый, как судьба. Постепенно он стал для Катферта чем-то вроде фетиша. Порой больное воображение уносило Катферта туда, куда указывал флюгер, в какие-то мрачные теснины, и ужас сковывал его. Он

пребывал в стране невидимого и неведомого, и душа его, казалось, изнемогала под бременем вечности. Все здесь, на Севере, угнетало его: отсутствие жизни и движения, мрак, бесконечный покой дремлющей земли, жуткое безмолвие, среди которого даже биение сердца казалось святотатством, торжественно вздымающийся лес, будто хранящий какую-то непостижимую, страшную тайну, которую не охватить мыслью и не выразить словом.

Мир, который он так недавно еще покинул, где волновались народы и вершились важные дела, казался ему чем-то очень далеким. По временам его охватывали навязчивые воспоминания о шумных торговых центрах, о поездках и тротуарах, где кишела человеческая толпа, о фраках, о светских обязанностях, о добрых друзьях и дорогих сердцу женщинах, которых он некогда знал, — но эти смутные воспоминания относились к другой жизни, которую он жил много веков назад, на какой-то другой планете. А реальностью была фантазмагория, окружавшая его сейчас. Стоя внизу под флюгером и устремив взор на полярное небо, он не мог поверить в то, что существует Юг, что в этот самый момент где-то есть жизнь и движение. Не было ни Юга, ни людей, которые рождались, жили, вступали в брак. За унылым горизонтом лежали обширные безлюдные пространства, а за ними расстилались другие пространства, еще более необъятные и пустынные. В мире не существовало стран, где светило солнце и благоухали цветы. Все это было лишь древней мечтой о рае. Солнечный Запад, напоенный пряным ароматом Восток, смеющиеся земли Аркадии — благословенные острова блаженных!

— Ха-ха! — Смех расколол пустоту, и Катферту стало не по себе от этого непривычного звука. Не было больше солнца. Была вселенная — мертвая, холодная, погруженная во тьму; и он был единственным ее обитателем. Узерби? В такие мгновения он в счет не шел. Ведь это был Калибан, чудовищный призрак, прикованный к нему, к Катферту, на долгие века, кара за какое-то забытое преступление!

Он жил рядом со смертью и среди мертвецов, подавленный сознанием собственного ничтожества, поработанный слепой властью дремлющих в нем веков. Величие окружающего страшило его. Оно было во всем, кроме него самого: в полном отсутствии ветра и движения, в необъятности снеговых пустынь, в высоте неба и в глубине безмолвия. А этот флюгер — если бы он только хоть чуть-чуть шевельнулся! Пусть бы грянули все грома небесные или пламя охватило бы лес! Пусть бы небеса разверзлись и наступил день страшного суда! Пусть бы хоть что-нибудь, хоть что-нибудь совершилось! Нет, ничего... Никакого движения. Безмолвие наполняло мир, и страх Севера ледяными пальцами сжимал его сердце.

Однажды он, точно новый Робинзон Крузо, заметил у самой реки след — слабый отпечаток заячьих лапок на свежеснежавшем снегу. Это было для него откровением: значит, на Севере существует жизнь! Он пошел по следу, жадно вглядываясь в него. Забыв о своих распухших ногах, он пробирался сквозь снежные сугробы в волнении, порожденном надеждой. Короткие сумерки погасли, и лес поглотил его, но он упорно продолжал идти все вперед и вперед, пока не ис-

сякли его последние силы и он в изнеможении не повалился в снег. И тогда стон вырвался из его груди и он проклял свое безумие, ибо понял, что след этот был плодом его воображения.

Поздним вечером он дотащился до хижины на четвереньках; щеки его были отморожены, и ноги как-то странно онемели. Узерби злобно усмехнулся, но не предложил помочь. Катферт колот себе иголками пальцы на ногах и отогревал их у печки. Через неделю у него началась гангрена.

У клерка были свои заботы. Мертвецы все чаще выходили из могил и теперь уже почти не расставались с ним. Он со страхом ждал их появления, и дрожь пробирала его каждый раз, когда он проходил мимо двух каменных надгробий. Однажды ночью они пришли к нему, когда он спал, увлекли его за собой и заставили делать какую-то работу. В невыразимом ужасе проснулся он среди груды камней и, как безумный, бросился назад в хижину. Но, вероятно, он пролежал там некоторое время, так как и у него оказались отмороженными ноги и щеки.

Иногда это навязчивое присутствие мертвецов доводило его до бешенства, и он метался по хижине, размахивая в воздухе топором и сокрушая все, что попадалось на пути. Во время этих сражений с призраками Катферт забивался под одеяла и следил за безумцем с револьвером в руке, готовый спустить курок, если тот подойдет слишком близко. Придя в себя после одного из таких припадков, клерк заметил наведенное на него дуло револьвера. В нем проснулись подозрения, и с этих пор он также жил в вечном страхе за свою жизнь. Они настойчиво следили друг за другом, и каждый в тревоге оглядывался, если другому случалось проходить у него за спиной. Эти опасения превратились в манию, которая не покидала их даже во сне. Взаимный страх побуждал их, не сговариваясь, оставлять на всю ночь огонь в светильнике и с вечера заботливо заправлять его жиром. Достаточно было одному пошевелиться, чтобы проснулся другой; их настойчивые взгляды встречались, и они дрожали от страха под своими одеялами, держа палец на взведенном курке.

Страх Севера, нервное напряжение и разрушительная болезнь привели к тому, что они потеряли всякий человеческий облик и стали походить на затравленных диких зверей. Отмороженные щеки и носы почернели, пальцы на ногах начали отваливаться сустав за суставом. Каждое движение причиняло боль, но печь была ненасытна и подвела непрерывным мукам их истерзанное тело. Как настоящий Шейлок, она требовала свой фунт мяса каждый день, и они через силу тащились в лес, чтобы удовлетворить ее прожорливость. Однажды, отправившись в лес за сухим валежником, один неведомо для другого, они неожиданно встретились в чаще. Два полутрупа вдруг оказались лицом к лицу. Страдания так изменили обонх, что они не узнали друг друга. С криком ужаса они вскочили и заковыляли прочь на своих искалеченных обрубках, а потом, свалившись у дверей хижины, грызлись и царапались, как дикие звери, пока не обнаружили своей ошибки.

Но бывали дни, когда они приходили в себя. Во время одного из таких просветлений они поровну поделили сахар — главный предмет их ссор. Они хранили свои запасы в разных мешочках и ревниво оберегали их. Сахару оставалось всего несколько чашек, а доверия друг к другу у них не было. И вот однажды Катферт ошибся. Еле двигаясь, ослабевший от мучительной боли, он пополз в чулан с кружкой в руке; голова его кружилась, глаза почти не видели, и он по ошибке взял мешочек Уэзерби вместо своего.

Это случилось в начале января. Солнце уже совершило половину своего зимнего пути и в полдень отбрасывало на северное небо косые полосы неверного желтоватого света. На следующий день после того, как произошла ошибка с сахаром, Катферт почувствовал себя лучше, бодрее телом и душой. К полудню, когда стало светлее, он с трудом выбрался наружу, чтобы полюбоваться бледным сиянием, которое было для него предвестником возвращения солнца. Уэзерби также почувствовал себя несколько лучше и вылез из хижины вслед за ним. Они уселись на снегу под неподвижным флюгером и начали ждать.

Вокруг царил безмолвие смерти. Когда природа так замирает где-нибудь в другом краю, ее неподвижность таит в себе сдержанное ожидание: кажется, вот-вот какой-то слабый звук нарушит напряженную атмосферу. Не то на Севере. Эти два человека как будто вечно жили среди жуткого молчания. Они не могли припомнить ни одной мелодии прошлого, не могли представить никаких звуков будущего. Эта сверхъестественная тишина существовала всегда. Это было спокойствие вечности.

Не отрывая глаз, они смотрели на север. Невидимое за вздымающимся на юге горным хребтом, медленно двигалось солнце к зениту других небес. Единственные свидетели этого величественного зрелища, они наблюдали за тем, как постепенно разгоралась в небе ложная заря. Бледное зарево становилось все ярче, меняя оттенки, переходя из оранжевого в пурпурный, а затем в шафранный цвет. Наконец свет на небе стал настолько ярким, что Катферт подумал: «Вот сейчас совершится чудо, и солнце взойдет с севера!»

Внезапно, без всяких предвестий и перехода, картина резко изменилась. Краски исчезли с небосвода, свет погас. Вздох, похожий на рыданье, вырвался из груди обоих. Но что это? Воздух наполнился искрящейся морозной пылью, и на снегу, протянувшись к северу, обозначились слабые очертания флюгера. Тень! Тень! Был ровно полдень. Они быстро повернули головы к югу. Над снежной грядой гор появился краешек золотого диска, озарил их улыбкой на мгновение и снова исчез из виду.

Они взглянули друг на друга, и на глазах у них выступили слезы. Какое-то умиление проникло в их сердца. Они почувствовали неодолимое влечение друг к другу. Значит, солнце возвращается! Оно придет к ним завтра, и послезавтра, и во все последующие дни. И с каждым разом оно будет оставаться на небе все дольше, пока не настанет время, когда оно будет светить и днем, и ночью и больше не исчезнет за горизонтом. Не станет больше ночи. Уйдет закопанная в льды зима.

Подуют ветры, и леса ответят им своим шумом. Земля омоется благословенным солнечным светом, и возродится жизнь. Они стряхнут с себя этот кошмарный сон и вместе вернутся домой, на Юг. Бессознательно они оба потянулись вперед, и руки их встретились—бедные, искалеченные руки, распухшие и изуродованные!

Но надежде не суждено было осуществиться. Север есть Север, и человеческие сердца подчиняются здесь странным законам, которых люди, не путешествовавшие в далеких краях, никогда не смогут понять.

Час спустя Катферт поставил в печь сковородку с лепешками и начал раздумывать над тем, смогут ли врачи вылечить его ноги, когда он вернется домой. Дом уже не казался ему теперь таким недосыгаемо далеким. Уэзерби в это время рылся в кладовке. Вдруг оттуда донесся целый взрыв проклятий и так же внезапно утих. Клерк обнаружил, что у него украли сахар... Но все могло кончиться иначе, если бы мертвецы не вышли из своих каменных могил и не забили ему брань обратно в глотку. Затем они тихонько вывели его из кладовки, которую он забыл закрыть. Конец драмы приближался: то, о чем они нашептывали ему во сне, должно было сейчас свершиться. Они тихо, совсем тихо подвели его к куче дров и вложили в руки топор, затем помогли ему открыть дверь и— он был уверен в этом— сами заперли ее за ним, по крайней мере он слышал, как она хлопнулась и как щелкнула задвижка, и он знал, что они поджидают за дверью, что они ждут, когда он сделает свое дело.

— Картер! Послушайте, Картер!

При взгляде на лицо клерка Перси Катферту стало страшно, и он поспешил загордиться столом.

Картер Уэзерби подвигался вперед неторопливо и спокойно; лицо его не выражало ни жалости, ни волнения. В нем была тупая сосредоточенность человека, который должен сделать определенную работу и выполняет ее методически.

— Что с вами, Картер?

Клерк отступил на шаг, отрезая Катферту путь к двери, но не проронил ни слова.

— Послушайте, Картер, послушайте! Давайте же поговорим. Будьте благоразумны...

Магистр искусств с лихорадочной быстротой обдумывал положение. Ловким обходным движением он достиг койки, где у него лежал смити-вессон. Затем, не отрывая глаз от сумасшедшего, выхватил из-под подушки револьвер.

— Картер!

Заряд пороха сверкнул прямо в глаза Уэзерби, но тот взмахнул своим оружием и бросился вперед. Топор глубоко вонзился в спину Катферта, и он сразу же перестал ощущать свои ноги. Затем клерк навалился на него всей тяжестью, слабющими пальцами сжимая его горло. Удар топора заставил Катферта выронить револьвер; задыхаясь, пытаясь высвободиться, он беспомощно шарил по одеялу в поисках

оружия. Вдруг он вспомнил. Его рука схватилась за пояс клерка, где висел охотничий нож, и они сплелись в последнем тесном объятии.

Перси Катферт чувствовал, как силы покидают его. Нижняя часть его тела словно не существовала. Тело Уэзерби давило его своей тяжестью, он был пригвожден к месту, как медведь, попавший в ловушку. Хижина стала наполняться знакомым запахом: это горели лешки. Но не все ли равно? Они ему теперь уже не понадобятся. А в кладовке осталось еще шесть полных чашек сахара,—если бы он знал все это раньше, не надо было бы так экономить в последние дни...

Повернется ли когда-нибудь флюгер? Может быть, он шевельнулся именно в этот миг? Очень возможно. Ведь показалось же сегодня солнце! Вот сейчас он пойдет и посмотрит. Нет. Двинуться невозможно. Он и не думал, что Уэзерби такой тяжелый.

Как быстро остывает хижина! Огонь, должно быть, потух. Холод все усиливается. Сейчас, наверное, уже ниже нуля, и дверь изнутри постепенно покрывается льдом. Он этого не видит, но знает, потому что чувствует, как падает температура. Нижняя петля, вероятно, уже совсем обледенела. Узнают ли когда-нибудь люди о том, что здесь произошло? Как отнесутся к этому его друзья? Вероятнее всего, прочтут заметку в газете за стаканом кофе и будут обсуждать ее потом где-нибудь в клубе. Он ясно представил себе этот разговор. «Бедняга Катферт,— скажут они,— он, в сущности, был неплохой малый». Он усмехнулся этой похвале и мысленно перешел к другому. Вот он идет искать турецкую баню. На улицах кишит все та же толпа. Странно, что никто не замечает его мокасины из лосевой кожи и рваные шерстяные носки. Лучше, пожалуй, взять кеб. А после бани не худо было бы побриться. Нет, раньше он поест. Бифштекс, картофель и зелень — какое все это свежее! А это что? Мед в сотах, прозрачный и благоуханный. Но зачем же так много? Ха-ха! Ему этого никогда не съесть... Что, почистить? Да, конечно. Он ставит ногу на ящик. Чистильщик сапог смотрит на него с удивлением, и он вспоминает о своих лосевых мокасинах и поспешно уходит.

Чул! Наверно, повернулся флюгер. Нет, это просто звенит в ушах. Звенит в ушах, только и всего. Лед, должно быть, дошел до самой задвижки. Может быть, уже и верхняя петля обледенела. Между потолочными балками, в щелях, законопаченных мхом, начали появляться небольшие пятна инея. Как медленно они растут. Нет! Не так уж медленно — вон еще одно появилось, а вон там еще. Два... три... четыре... Они появляются теперь так быстро, что и не сосчитаешь. Вон там два сползлись вместе, и к ним присоединилось третье. Теперь уже нет больше отдельных пятен, они все слились и затянули потолок сплошной пеленой.

Что ж! Он будет не один. Если когда-нибудь трубный глас нарушит безмолвие Севера, они вместе, рука об руку, предстанут перед престолом вечного судии. И бог их рассудит! Бог их рассудит...

Перси Катферт закрыл глаза и погрузился в сон.



## МУЖЕСТВО ЖЕНЩИНЫ

Волчья морда с грустными глазами, вся в инее, раздвинув края палатки, просунулась внутрь.

— Эй, Сиваш! Пошел вон, дьявольское отродье! — закричали в один голос обитатели палатки. Беттлз стукнул собаку по морде оловянной тарелкой, и голова мгновенно исчезла. Луи Савой закрепил брезентовое полотнище, прикрывавшее вход, и, опрокинув ногой горячую сковороду, стал греть над ней руки.

Стоял лютый мороз. Двое суток тому назад спиртовой термометр, показав шестьдесят восемь градусов ниже нуля, лопнул, а становилось все холоднее и холоднее; трудно было сказать, сколько еще продержатся такие сильные морозы. Врагу не пожелаешь в такую стужу находиться далеко от печки и вдыхать ледяной воздух! Бывают смельчаки, которые отваживаются выходить при такой температуре, но это обычно кончается простудой легких; человека начинает душить сухой, раздражающий кашель, который особенно усиливается, когда поблизости жарят сало. А затем, весной или летом, взорвав мерзлый грунт, вырывают где-нибудь могилу. В нее опускают труп и, прикрыв его сверху мхом, оставляют так, — свято веря, что в день страшного суда сохраненный морозом покойник восстанет из мертвых цел и невредим. Скептикам, которые подвергают сомнению факт физического воскресения в этот великий день, трудно рекомендовать более подходящее место для смерти, чем Клондайк. Но это вовсе не означает, что в Клондайке так же хорошо и жить.

В палатке было не так холодно, как снаружи, но тоже не слишком тепло. Единственным предметом, который мог здесь сойти за мебель, была печка, и люди откровенно льнули к ней. Часть земли была устлана сосновыми ветками; под ними был снег, а поверх них лежали меховые одеяла. В другой половине палатки, где снег был утопан мокасиннами, в беспорядке валялись котелки, сковороды и прочая утварь полярного лагеря. В раскаленной докрасна печке громко трещали дрова, но уже в трех шагах от нее лежала глыба льда, такого крепкого, словно его только что вырубил на речке. От притока холодного воздуха все тепло палатки поднималось вверх. Над самой печкой, там, где труба выходила наружу через отверстие в потолке, белел кружок сухого брезента, от которого шел пар, а за ним — круг мокрого брезента, с которого капала вода; и, наконец, остальная часть потолка палатки и стены ее были покрыты белым, сухим, толщиной в полдюйма слоем кристаллов инея.

— О-о-о! О-ох! О-ох! — застонал во сне юноша, лежавший под меховыми одеялами. Его худое, изможденное лицо обросло щетиной. Не просыпаясь, он стонал от боли все громче и мучительнее. Его тело, наполовину высунувшееся из-под одеял, судорожно вздрагивало и сжималось, как будто оно лежало на ложе из крапивы.

— Ну-ка, переверните парня! — приказал Беттлз. — У него опять судороги.

И вот шестеро товарищей с готовностью подхватили больного и

принялись безжалостно вертеть его во все стороны, мять и колотить, пока не прошел припадок.

— Черт бы побрал эту снежную тропу! — пробормотал юноша, сбрасывая с себя одеяла и садясь на постели. — Я рыскал по всей стране три зимы подряд — мог бы уж, кажется, закалиться! А вот попал в этот проклятый край и оказался неприспособленным неженкой, точно какой-то женоподобный афинянин, лишенный и крупцы мужественности!

Он подтянулся поближе к огню и стал свертывать папиросу.

— Не подумайте, что я люблю скулить! Нет, я все могу вынести! Но мне просто стыдно за себя, вот и все... Прошел каких-нибудь несчастных тридцать миль — и чувствую себя таким разбитым и больным, словно рахитичный молокосос после пятимильной прогулки за город! Противно!.. Спички у кого-нибудь есть?

— Не горячись, мальчик! — Беттлз протянул больному вместо спичек горящую головешку и продолжал отеческим тоном: — Тебе это простительно — все проходят через это. Устал, измучен! А разве я не помню свое первое путешествие?.. Не разогнуться? Еще бы, и сомной бывало так, что, когда напьешься из проруби, потом целых десять минут маешься, пока на ноги встанешь. Все суставы трещат, все кости болят так, что с ума можно сойти. А судороги? Бывало, так скрючит, что весь лагерь полдня бьется, чтобы меня распрямить! Хоть ты и новичок, а молодец, с характером парень! Через какой-нибудь год ты всех нас, стариков, за пояс заткнешь. Главное — сложенне у тебя подходящее: нет лишнего жира, из-за которого многие здоровенные парни отправлялись к праотцам раньше времени.

— Жира?

— Да, да. У кого на костях много жира и мяса, тот тяжелее переносит дорогу.

— Вот уж не знал!

— Не знал? Это факт, можешь не сомневаться. Этаким великан может сделать что-нибудь только с наскоку, а выносливости у него никакой. Самый непрочный народ! Только у жилистых, худощавых людей крепкая хватка — во что вцепятся, того у них не вырвешь, как у пса кость! Нет, нет, толстяки для этого не годятся.

— Верно ты говоришь, — вмешался в разговор Лун Савой. — Я знал одного здорового, как буйвол, детину. Так вот, когда столбили участки у Северного ручья, он туда отправился с Лоном Мак-Фэйном. Помните Лона? Маленький рыжий ирландец, всегда ухмылялся из сил шли они, шли — весь день и всю ночь шли. Толстяк выбился из сил и начал валиться на снег. Щупленький ирландец толкает его, тормозит, а тот ревет, как ребенок. И так всю дорогу Лон тащил его и подталкивал, пока не дотаскил до моей стоянки. Три дня он провалялся у меня под одеялом. Я никогда не думал, что мужчина может окататься такой бабой. Вот что делает с человеком жирок!

— А как же Аксель Гундерсон? — спросил Принс. На молодого инженера великан-скандинав и его трагическая смерть произвели сильное впечатление. — Он лежит где-то там... — И Принс неопределенно повел рукой в сторону таинственного востока.

— Крупный был человек, самый крупный из всех, кто когда-либо приходил сюда с берегов Соленой Воды и охотился на лосей,— согласился Беттлз. — Но он — то исключение, которое подтверждает правило. А помнишь его жену, Унгу? Одни мускулы, ни унции лишнего жира! А мужества у нее было еще больше, чем у него. И эта женщина все вынесла и заботилась только о нем. Не было ничего на свете, чего бы она не сделала для него.

— Ну что ж, она любила его,— возразил инженер.

— Да разве в этом дело! Она...

— Послушайте, братья, — вмешался Ситка Чарли, сидевший на ящике со съестными припасами. — Вы тут толковали о лишнем жире, который делает слабыми больших, здоровых мужчин, о мужестве женщин и о любви; и ваши речи были прекрасны. И вот я вспомнил одного мужчину и одну женщину, которых знал в те времена, когда этот край был молод, а костры, разведенные людьми, — редки, как звезды на небе. Мужчина был большой и здоровый, но, должно быть, ему мешало то, что ты назвал лишним жиром. Женщина была маленькая, но сердце у нее было большое, больше бычьего сердца мужчины. И у нее было много мужества. Мы шли к Соленой Воде, дорога была трудная, а нашими спутниками были жестокий мороз, глубокие снега и мучительный голод. Но эта женщина любила своего мужа могучей любовью — только так можно назвать такую любовь.

Ситка замолчал. Отколов топором несколько кусков льда от глыбы, лежавшей рядом, он бросил их в стоявший на печке лоток для промывки золота, — так они получали питьевую воду. Мужчины придвинулись ближе, а больной юноша тщетно пытался сесть поудобнее, чтобы не ныло сведенное судорогами тело.

— Братья, — продолжал Ситка, — в моих жилах течет красная кровь сивашей, но сердце у меня белое. Первое — вина моих отцов, а второе — заслуга моих друзей. Когда я был еще мальчиком, печальная истина открылась мне. Я узнал, что вся земля принадлежит вам, что сиваши не в силах бороться с белыми и должны погибнуть в снегах, как гибнут медведи и олени. Да, и вот я пришел к теплу, среди вас, у вашего очага, и стал одним из вас. За свою жизнь я видел многое. Я узнал странные вещи и много дорог исходил с людьми разных племен. Я стал судить о людях и о делах их так, как вы, и думать по-вашему. Поэтому, если я говорю сурово о каком-нибудь белом, я знаю — вы не обидитесь на меня. И когда я хвалю кого-нибудь из племени моих отцов, вы не скажете: «Ситка Чарли — сиваш, его глаза видят криво, а язык нечестен». Не так ли?

Слушатели глухим бормотаньем подтвердили, что они согласны с ним.

— Имя этой женщины было Пассук. Я честно купил ее у ее племени, которое жило на побережье, у одного из заливов с соленой морской водой. Сердце мое не лежало к этой женщине, и моим глазам не было приятно глядеть на нее; ее взгляд был всегда опущен, и она казалась робкой и боязливой, как всякая девушка, брошенная в объятия чужого человека, которого она никогда до того не видела. Я уже ска-

зал, что ей не было места в моем сердце, но я собирался в далекий путь, и мне нужен был кто-нибудь, чтобы кормить моих собак и помогать грести во время долгих поездок по реке. Ведь одно одеяло может прикрыть и двоих — и я выбрал Пассук.

Говорил ли я вам, что в то время я состоял на службе у правительства? Поэтому меня взяли на военный корабль вместе с нартами, собаками и запасом провизии; со мной была и Пассук. Мы поплыли на север к зимним льдам Берингова моря, и там нас высадили — меня, Пассук и собак. Как слуга правительства я получил деньги, карты мест, на которые до тех пор не ступала нога человеческая, и письма. Письма были запечатаны и хорошо защищены от непогоды, — я должен был доставить их на китобойные суда, которые стояли, затертые льдами, около великой Маккензи. Другой такой большой реки нет на свете, если не считать наш родной Юкон, мать всех рек.

Но это все не так важно, потому что то, о чем я хочу рассказать, не имеет отношения ни к китобойным судам, ни к суровой зиме, которую я провел на берегах Маккензи. Весной, когда дни стали длиннее, после оттепели, мы с Пассук отправились на юг, к берегам Юкона. Это было тяжелое, утомительное путешествие, но солнце указывало нам путь. Край этот, как я уже сказал, был тогда еще совсем пустынный, и мы плыли вверх по течению, работая то багром, то веслами, пока не добрались до Сороковой Мили. Приятно было снова увидеть белые лица, и мы высадились на берег.

Та зима была очень сурова. Наступили холод и мрак, а вместе с ними пришел и голод. Агент Компании выдал всего по сорок фунтов муки и двадцать фунтов бекона на человека. Бобов не было вовсе. Собаки постоянно выли, а у людей подводило животы, и лица их прорезали глубокие морщины. Сильные слабели, слабые умирали. В поселке свирепствовала цинга.

Однажды вечером мы пришли в магазин и при виде пустых полок еще сильнее почувствовали пустоту в желудке; мы тихо беседовали при свете очага, потому что свечи были припрятаны для тех, кто дотянет до весны. И вот решено было, что надо послать кого-нибудь к Соленой Воде, чтобы сообщить о том, как мы тут бедствуем. При этом все головы повернулись в мою сторону, а глаза людей смотрели на меня с надеждой: все знали, что я опытный путешественник.

«До миссии Хейнса на берегу моря семьсот миль, — сказал я, — и весь путь нужно прокладывать на лыжах. Дайте мне ваших лучших собак и запасы лучшей пищи, и я пойду. Со мной пойдет Пассук».

Люди согласились. Но тут встал Длинный Джефф, здоровый, крепкий янки. Речь его была хвастлива. Он сказал, что и он тоже отличный ходок, что он словно создан для ходьбы на лыжах и вскормлен молоком буйволицы. Он сказал, что пойдет со мной, и если я погибну в дороге, то он дойдет до миссии и исполнит поручение. Я тогда был молод и плохо знал янки. Откуда я мог знать, что хвастливые речи — первый признак слабости, а те, кто способен на большие дела, держат язык за зубами. И вот мы взяли лучших собак и запасы еды и отправились в путь вдвоем: Пассук, Длинный Джефф и я.

Всем вам приходилось прокладывать тропу по снежной целине, сдвигать с места примерзшие нарты и пробираться через ледяные заторы, поэтому я не буду много рассказывать вам о трудностях пути. Скажу только, что иногда мы проходили десять миль в день, а иногда — тридцать, но чаще все-таки десять. Лучшая еда, которую нам дали с собой, была не так уж хороша, и, кроме того, нам пришлось экономить ее с первого же дня пути. А лучшие собаки едва держались на ногах, и мы с большим трудом заставляли их тянуть нарты. Когда мы достигли Белой реки, у нас из трех упряжек осталось уже только две, — а ведь мы прошли всего двести миль! Правда, нам не пришлось ничего потерять: издохшие собаки попали в желудки тех, которые еще были живы.

Ни человеческого голоса, ни струйки дыма нигде — до тех пор, пока мы не пришли в Пелли. Там я рассчитывал пополнить наши запасы, а также оставить Длинного Джеффа, который ослабел в пути и все время хныкал. Но склады фактории в Пелли были почти пусты; агент Компании сильно кашлял и задыхался, глаза его блестели от лихорадки. Он показал нам пустую хижину миссионера и его могилу, заваленную камнями, чтобы собаки не могли вырыть его труп. Мы встретили там группу индейцев, но среди них уже не было ни детей, ни стариков; и нам стало ясно, что немногие из оставшихся доживут до весны.

Итак, мы отправились дальше с пустым желудком и тяжелым сердцем. До миссии Хейнса оставалось еще идти пятьсот миль среди вечных снегов и безмолвия. Было самое темное время года, и даже в полдень солнце не озаряло южного горизонта. Но ледяных заторов стало меньше, идти было легче. Я непрестанно подгонял собак, и мы шли почти без передышки. Как я и предполагал, нам все время приходилось идти на лыжах. А от лыж сильно болели ноги, и на них появились незаживающие трещины и раны. С каждым днем эти болячки причиняли нам все больше мучений. И вот однажды утром, когда мы надевали лыжи, Длинный Джефф заплакал, как ребенок. Я послал его прокладывать дорогу для меньших нарт, но он, чтоб было полегче, снял лыжи. Из-за этого дорога не утаптывалась, его мокасины делали большие углубления в снегу, собаки проваливались в них. Собаки были так худы, что кости выпирали под шкурой, им было очень тяжело двигаться. Я сурово выбрал Джеффа, и он обещал не снимать лыж, но не сдержал слова. Тогда я ударил его бичом, и уж после этого собаки больше не проваливались в снег. Джефф вел себя, как ребенок, — мучения в пути и то, что ты назвал лишним жиром, сделали его ребенком.

Но Пассук! В то время как мужчина лежал у костра и плакал, она стирала, по утрам помогала мне запрягать собак, а вечером — распрягать их. Это Пассук спасала наших собак. Она всегда шагала на лыжах впереди, утаптывая им дорогу. Пассук... что вам сказать! Я тогда принимал все это как должное и не задумывался ни над чем. Голова моя была занята другим, и к тому же я был молод и мало знал женщин. И только позднее, вспоминая это время, я понял, какая у меня была жена.

Джефф теперь был только обузой. У собак и так не хватало сил, а он украдкой ложился на нарты, когда оказывался позади. Пассук сама взялась вести упряжку, и Джеффу совсем было нечего делать. Каждое утро я честно выдавал ему его порцию еды, и он один уходил вперед, а мы собирали вещи, грузили нарты и запрягали собак. В полдень, когда солнце дразнило нас, мы его догоняли — он брел, плача, и слезы замерзали у него на щеках — и шли дальше. Ночью мы делали привал, откладывали порцию еды для Джеффа и расстилали его меховое одеяло. Мы разводили большой костер, чтобы ему было легче заметить нас. И через несколько часов он приходил хромя, съедал с жалобными причитаниями свою порцию и засыпал. Так повторялось каждый день. Этот человек не был болен — он просто устал, измучился и ослабел от голода. Но ведь Пассук и я тоже устали, измучились и ослабели от голода, а между тем выполняли всю работу, — он же не работал. Но все дело, видно, было в том лишнем жире, о котором говорил брат Беттлз; а ведь мы всегда честно оставляли ему его порцию еды.

Раз мы встретили на дороге двух призраков, странствовавших среди Белого Безмолвия, — мужчину и мальчика. Они были белые. На озере Ле-Барж начался ледоход, и все их имущество утонуло, только на плечах у каждого было по одеялу. Ночью они разводили костер и лежали подле него до утра. У них еще осталось немного муки, и они смешивали ее с теплой водой и пили. Мужчина показал мне восемь чашек муки — все, что у них осталось, а до Пелли, где уже тоже начался голод, было еще двести миль. Путники рассказали нам, что с ними шел индеец и они честно делились с ним, но он не мог поспеть за ними. Я не поверил тому, что они честно делились с индейцем, — почему же он тогда от них отстал?

Я не мог дать им ничего. Они пытались украсть у нас самую жирную собаку (которая тоже была очень худа), но я пригрозил им револьвером и велел убираться. И они ушли, эти два призрака, качаясь, как пьяные, — ушли в Белое Безмолвие, по направлению к Пелли.

Теперь у меня оставались только три собаки и одни нарты; и собаки были — кожа да кости. Когда мало дров, огонь горит плохо и в хижине холодно, — так было и с нами. Мы ели очень мало, и потому мороз сильно донимал нас; лица у нас были обморожены и почернели так, что родная мать не узнала бы нас. Ноги сильно болели. По утрам, когда мы трогались в путь, я едва сдерживал крик, такую боль причиняли лыжи. Пассук, не разжимая губ, шла впереди и прокладывала дорогу. А янки все хныкал и выл по-прежнему.

В Тридцатимильной реке течение быстрое, оно подмыло лед в некоторых местах, и нам попадалось много разводий и трещин, а иногда и сплошь вода. И вот однажды мы, как обычно, догнали Джеффа, который ушел раньше и теперь отдыхал. Нас разделяла вода. Он-то обошел ее кругом, по кромке льда, но для нарт кромка была слишком узкой. Мы нашли полосу еще крепкого льда. Пассук пошла первой, держа в руках шест на тот случай, если она провалится. Пассук весила мало, лыжи у нее были широкие — и она благополучно пере-

шла, затем позвала собак. Но у собак не было ни шестов, ни лыж, они провалились, и теченне сейчас же понесло их. Я крепко ухватился за нарты сзади и удержал их, но постромки оборвались, и собаки ушли под лед. Собаки очень отощали, но все же я рассчитывал на них, как на недельный запас еды,— и вот их не стало!

На следующее утро я разделил весь небольшой остаток провизии на три части и сказал Длинному Джеффу: пусть он идет с нами или остается— как хочет, мы теперь пойдем налегке и потому быстро. Он начал кричать и жаловаться на больные ноги и на всякие невзгоды и упрекал меня в том, что я плохой товарищ. Но ведь ноги у Пассук и у меня тоже болели, еще больше, чем у него, потому что мы прокладывали путь собакам; и нам тоже было трудно. Длинный Джефф клялся, что он умрет, а дальше не двинется. Пассук молча взяла меховое одеяло, а я котелок и топор, и мы собрались идти. Но женщина посмотрела на порцию, отложенную для Джеффа, и сказала: «Глупо оставлять столько еды этому младенцу. Ему лучше умереть». Я покачал головой и сказал: «Нет, товарищ всегда останется товарищем». Тогда Пассук напомнила мне о людях на Сороковой Миле,— там были настоящие мужчины, и их было много, и они ждали от меня помощи. Когда я опять сказал «нет», она выхватила револьвер у меня из-за пояса, и Длинный Джефф отправился к праотцам задолго до положенного ему срока,— как тут говорил брат Бетлз. Я бранил Пассук, но она не выказала никакого раскаяния и не была огорчена. И в глубине души я сознавал, что она права.

Ситка Чарли замолчал и снова бросил несколько кусков льда в стоявший на печке лоток. Мужчины молчали, по их спинам пробежал озноб от заунывного воя собак, которые словно жаловались на страшный мороз.

— Каждый день нам по пути попадались места, где прямо на снегу ночевали те два призрака, и я знал, что не раз мы будем радоваться такому ночлегу, пока доберемся до Соленой Воды. Затем мы встретили третий призрак— индейца, который тоже шел к Пелли. Он рассказал нам, что мужчина и мальчик нечестно поступили с ним, обделив его едой, и вот уже три дня, как у него нет муки. Каждую ночь он варил куски своих мокасин и ел их. Теперь от мокасин уже почти ничего не осталось. Индеец этот был родом с побережья и говорил со мной через Пассук, которая понимала его язык. Он никогда не был на Юконе и не знал дороги к нему, но все же шел туда. Как далеко это? Два сна? Десять? Сто? Он не знал, но шел к Пелли. Слишком далеко было возвращаться назад, он мог идти только вперед.

Он не просил у нас пищи, потому что видел, что нам самим придется туго. Пассук смотрела то на индейца, то на меня, как будто не зная, на что решиться,— словно мать-куропатка, у которой птенцы попали в беду. Я повернулся к ней и сказал:

«С этим человеком нечестно поступили. Дать ему часть наших запасов?»

Я видел, что в глазах ее блеснула радость, но она долго смотрела на него и на меня, ее рот сурово и решительно сжался, и наконец она сказала:

«Нет. До Соленой Воды еще далеко, и смерть подстерегает нас по дороге. Пусть лучше она возьмет этого чужого человека и оставит в живых моего мужа Чарли».

И вот индеец ушел в Белое Безмолвие, по направлению к Пелли.

А ночью Пассук плакала. Я никогда прежде не видел ее слез. И это было не из-за дыма от костра, так как дрова были совсем сухие. Меня удивила ее печаль, я подумал, что мрак и боль сломили ее мужество.

Жизнь — странная вещь. Долго я думал, долго размышлял о ней, но с каждым днем она кажется мне все более непонятной. Почему в нас такая жажда жизни? Ведь жизнь — это игра, из которой человек никогда не выходит победителем. Жить — это значит тяжело трудиться и страдать, пока не подкрадется к нам старость, — и тогда мы опускаем руки на холодный пепел остывших костров. Жить трудно. В муках рождается ребенок, в муках старый человек испускает последний вздох, и все наши дни полны печали и забот. И все же человек идет в открытые объятия смерти неохотно, спотыкаясь, падая, оглядываясь назад. А ведь смерть добрая. Только жизнь причиняет страдания. Но мы любим жизнь и ненавидим смерть. Это очень странно!

Мы разговаривали мало, Пассук и я. Ночью мы лежали в снегу как мертвые, а по утрам продолжали свой путь — все так же молча, как мертвецы. И все вокруг нас было мертво. Не было ни куропаток, ни белок, ни зайцев — ничего. Река была безмолвна под своим белым покрывалом. Все замерло в лесу. И мороз был такой, как сейчас. Ночью звезды казались близкими и большими, они прыгали и танцевали; днем же солнце дразнило нас до тех пор, пока нам не начинало казаться, что мы видим множество солнц; воздух сверкал и искрился, а снег был как алмазная пыль. Кругом не было ни костра, ни звука — только холод и Белое Безмолвие. Мы потеряли счет времени и шли точно мертвые. Только наши глаза были устремлены в сторону Соленой Воды, наши мысли были прикованы к Соленой Воде, а ноги сами несли нас к Соленой Воде. Мы останавливались у самой Тахины — и не узнали ее. Наши глаза смотрели на Белую Лосадь — и не видели ее. Наши ноги ступали по земле Каньона — и не чувствовали этого. Мы ничего не чувствовали. Часто мы падали, но, даже падая, смотрели в сторону Соленой Воды.

Кончились последние запасы еды, которую мы все время делили поровну, — но Пассук падала чаще. И вот около Оленьего перевала силы изменили ей. Утром мы лежали под нашим единственным одеялом и не трогались в путь. Мне хотелось остаться там и встретить смерть рука в руку с Пассук, потому что я стал старше и начал понимать, что такое любовь женщины. До миссии Хейнса оставалось еще восемьдесят миль, по вдали, над лесами, великий Чилкут поднимал истерзанную бурями вершину.

И вот Пассук заговорила со мной — тихо, касаясь губами моего уха, чтобы я мог слышать ее. Теперь, когда она уже не боялась моего гнева, она изливала передо мной душу, говорила мне о своей любви и о многом другом, чего я раньше не понимал.



Она сказала:

«Ты мой муж, Чарли, и я была тебе хорошей женой. Я всегда разжигала твой костер, готовила тебе пищу, кормила твоих собак, гребла, прокладывала путь— и никогда не жаловалась. Я никогда не говорила, что в вигваме моего отца было теплее или что у нас на Чилкате было больше еды. Когда ты говорил, я слушала. Когда ты приказывал, я повиновалась. Не так ли, Чарли?»

И я ответил:

«Да, это так».

Она продолжала:

«Когда ты впервые пришел к нам на Чилкат и купил меня, даже не взглянув, как человек покупает собаку, и увел с собой,— сердце мое восстало против тебя и было полно горечи и страха. Но с тех пор прошло много времени. Ты жалел меня, Чарли, как добрый человек жалеет свою собаку. Сердце твое оставалось холодно, и в нем не было места для меня; но ты всегда был справедлив ко мне и поступал, как должно поступать. Я была с тобой, когда ты совершал смелые дела и шел навстречу большим опасностям, я сравнивала тебя с другими мужчинами— и видела, что ты лучше многих из них, что ты умеешь беречь свою честь и слова твои мудры, а язык правдив. И я стала гордиться тобой. И вот наступило такое время, когда ты заполнил мое сердце и все мои мысли были только о тебе. Ты был для меня как солнце в разгар лета, когда оно движется по золотой тропе и ни на час не покидает неба. Куда бы ни обратились мои глаза, я везде видела свое солнце. Но в твоём сердце, Чарли, был холод, в нем не было места для меня».

И я ответил:

«Да, это было так. Сердце мое было холодно, и в нем не было места для тебя. Но так было раньше. Сейчас мое сердце подобно снегу весной, когда возвращается солнце. В моем сердце все тает, в нем шумят ручьи, все зеленеет и цветет. Слышатся голоса курапатонок, пение зорянок, и звенит музыка, потому что зима побеждена, Пассук, и я узнал любовь женщины».

Она улыбнулась и крепче прижалась ко мне. А затем сказала: «Я рада».

После этого она долго лежала молча, тихо дыша, прильнув головой к моей груди. Потом она прошептала:

«Мой путь кончается здесь, я устала. Но я хочу еще кое-что рассказать тебе. Давным-давно, когда я была еще девочкой, я часто оставалась одна в вигваме моего отца на Чилкате, потому что мужчины уходили на охоту, а женщины и мальчики возили из лесу убитую дичь. И вот однажды, весной, я была одна и играла на шкурах. Вдруг большой бурый медведь, только что проснувшийся от зимней спячки, отошавший и голодный, всунул голову в вигвам и прорычал: «У-ух!» Мой брат как раз в эту минуту пригнал первые нарты с охотничьей добычей. Он выхватил из очага горящие головни и отважно вступил в борьбу с медведем, а собаки, прямо в упряжи, волоча нарты за собой, повисли на медведе. Был большой бой и много шума. Они повалились в огонь, раскидали шкуры и опрокинули вигвам».

В конце концов медведь испустил дух, но палец моего брата остался у него в пасти и следы медвежьих лап остались на лице у мальчика. Заметил ли ты, что у индейца, который шел по направлению к Пелли, на той руке, которую он грел над огнем, не было большого пальца?.. Это был мой брат. Но я отказала ему в еде, и он ушел в Белое Безмолвие без еды».

Вот, братья мои, какова была любовь Пассук, которая умерла в снегах Оленьего перевала. Это была большая любовь! Ведь женщина пожертвовала своим братом ради мужчины, который тяжелым путем вел ее к горькому концу. Любовь ее была так сильна, что она не пожалела даже себя. Прежде чем в последний раз закрылись ее глаза, Пассук взяла мою руку и просунула ее под свою белычью парку. Я нащупал у ее пояса туго набитый мешочек — и понял все. День за днем мы поровну делили наши припасы до последнего куска, но она съедала только половину. Вторую половину она прятала в этот мешочек для меня.

Пассук сказала:

«Вот и конец пути для Пассук; твой же путь, Чарли, не кончен, он ведет дальше, через великий Чилкут, к миссии Хейнса на берегу моря. Он ведет дальше и дальше, к свету многих солнц, через чужие земли и неведомые воды; и на этом пути тебя ждут долгие годы жизни, почет и великая слава. Он приведет тебя к жилищам многих женщин, хороших женщин, но никогда ты не встретишь большей любви, чем была любовь Пассук».

И я знал, что она говорит правду. Безумие охватило меня. Я отбросил туго набитый мешочек и поклялся, что мой путь окончен и я останусь с ней. Но усталые глаза Пассук наполнились слезами, и она сказала:

«Среди людей Ситка Чарли всегда считался честным, и каждое его слово было правдиво. Разве он забыл о своей чести сейчас, что говорит ненужные слова у Оленьего перевала? Разве он забыл о людях на Сороковой Миле, которые дали ему свою лучшую пищу, своих лучших собак? Пассук всегда гордилась своим мужем. Пусть он встанет, наденет лыжи и двинется в путь, чтобы Пассук могла по-прежнему им гордиться».

Когда ее тело стало холодным в моих объятиях, я встал, нашел туго набитый мешочек, надел лыжи и, шатаясь, двинулся в путь. В коленях я ощущал слабость, голова кружилась, в ушах стоял шум, а перед глазами вспыхивали искры. Забытые картины детства проплывали передо мной. Я сидел у кипящих котлов на пиршестве потлача, я пел песни и плясал под цепе мужчины и девушек, под звуки барабана из моржовой кожи, а Пассук держала меня за руку и шла все время рядом со мной. Когда я засыпал, она будила меня. Когда я спотыкался и падал, она поднимала меня. Когда я блуждал в глубоких снегах, она выводила меня на дорогу. И вот, как человек, лишившийся разума, который видит странные видения, потому что голова его легка от вина, я добрался до миссии Хейнса на берегу моря.

Ситка Чарли встал и вышел, откинув нолы палатки. Был полдень. На юге, над гребнем горы Гейдерсона, висел холодный диск солнца.

Воздух был подобен паутине из сверкающего инея. А впереди, около дороги, сидел похожий на волка пес с зандедевешей шерстью и, подняв морду вверх, жалобно выл.

## ЧЕЛОВЕК СО ШРАМОМ

Джекоба Кента всю жизнь одолевала алчность. Эта болезнь развила в нем постоянную недоверчивость, и у него настолько испортился характер, что с ним очень неприятно было иметь дело. Он отличался крайним упорством и неповоротливостью ума и вдобавок ко всему был лунатиком.

Кент чуть не с колыбели работал ткачом, пока клондайкская лихорадка не проникла в его кровь и не оторвала его от станка. Хижина Кента стояла на полпути между постом Шестидесятой Мили и рекой Стюарт, и путешественники, обычно проезжавшие здесь по дороге в Доусон, сравнивали Джекоба Кента с бароном-разбойником, засевшим у себя в замке и взимающим пошлину с караванов, которые проходят по запущенным дорогам в его владениях. Чтобы придумать такое сравнение, нужно было обладать кое-какими познаниями в истории. А не столь образованные золотоискатели с берегов реки Стюарт характеризовали Кента в более примитивных выражениях, в которых преобладали крепкие эпитеты.

Кстати сказать, хижина была вовсе не его. Ее построили за несколько лет перед тем два золотоискателя, которые пригнали к этому месту плот с лесом. Золотоискатели эти были люди весьма гостеприимные, и даже потом, когда хижина уже пустовала, путники, знавшие дорогу к ней, обычно старались добраться сюда до наступления ночи. Это было очень удобно, так как сберегало труд и время, нужное для того, чтобы разбить лагерь. Существовало даже неписаное правило, по которому каждый ночевавший в хижине оставлял для следующего изрядную вязанку дров. Редкую ночь здесь не собиравшийся десяток-другой людей. Джекоб Кент это заметил и, воспользовавшись тем, что хижина не имела хозяйина, самовольно вселился в нее. С тех пор усталые путники должны были платить вымогателю по доллару с головы за право переночевать на полу. Джекоб Кент сам взвешивал золотой песок, которым ему платили, и неукоснительно жульничал при этом. Мало того, он сумел так поставить дело, что временные постояльцы рубили для него дрова и носили воду. Это был чистейший разбой, но жертвы Кента, народ добродушный и незлобивый, ненавидя его, не мешали ему все же творить беззакония и наживаться на них.

В один апрельский день Кент сидел у своей хижины, наслаждаясь ранним теплом весеннего солнца, и поглядывал на дорогу, как хищный паук, высматривающий новых жертв для своей паутины. Внизу, раскинувшись меж берегов на добрых две мили в ширину, лежал Юкон — настоящее море льда, уходившее вдаль, на север и на юг, двумя большими излучинами. По его неровной поверхности проходил санный путь, проложенная в снегу узкая тропа в полтора фута ши-

риной и в две тысячи миль длиной. Каждый линейный фут этого пути слышал больше проклятий, чем любая другая дорога во всем христианском мире и за его пределами.

Джекоб Кент был сегодня в прекрасном настроении. В эту ночь он побил рекорд: продал свое гостеприимство не более и не менее как двадцати восьми посетителям. Конечно, было очень неудобно, и четверо из них до утра храпели на полу у самой его койки. Но зато мешок с золотым песком заметно прибавился в весе. Этот мешок с хранившимися в нем блестящим желтым сокровищем был и величайшей радостью, и в то же время величайшим мучением в жизни Кента. В его тесном пространстве вмещались небо и ад. Так как в однокомнатной хижине, естественно, невозможно было укрыть что-нибудь от чужих глаз, то Кента постоянно терзал страх, что его ограбят. Этим бородатым головорезам ничего не стоит утащить мешок! Кенту постоянно снилось, как крадут его сокровище, и он просыпался, измученный кошмаром. Этот сон преследовал его так часто, что он очень хорошо запомнил лица разбойников, в особенности лицо их атамана, бронзовое от загара и со шрамом на правой щеке. Этот молодец снился ему чаще всех; из страха перед ним Кент, встав поутру, придумывал для своего мешка десятки потайных мест внутри хижины и снаружи. Перепрятав свое сокровище, он вздыхал с облегчением и несколько ночей спал спокойно, а потом опять во сне застигал человека со шрамом в тот момент, когда тот уносил заветный мешок. Очнувшись в самый разгар борьбы с вором, Кент тотчас вскакивал с постели и переносил мешок в новое, более надежное убежище. Нельзя сказать, чтобы он был вполне во власти своих галлюцинаций. Но он верил в предчувствия и в передачу мыслей на расстоянии; и грабители представлялись ему астральными телами реальных, живых людей, которые в это самое время, находясь где-то в другом месте, мысленно посягают на его богатство. Тем не менее Джекоб Кент продолжал обирать людей, которые искали у него приюта, но каждая новая унция золота, попадавшая в его мешок, успляла его мучения.

Он сидел у хижины, греясь на солнце, — и вдруг вскочил, пораженный неожиданной мыслью. Высшей радостью для него было беспрестанно взвешивать и перевешивать накопленный им золотой песок. Но это удовольствие несколько омрачалось одним обстоятельством, которого он до сих пор не мог устранить. Его весы были слишком малы; на них можно было взвешивать не больше полутора фунтов (то есть восемнадцати унций) зараз, а у него было накоплено уже примерно в три с третью раза больше. Никак не удавалось взвесить все золото сразу, и Кенту казалось, что это лишает его возможности увидеть свое сокровище во всем его великолепии. А без этого радость обладания наполовину уменьшалась. Да, Кент чувствовал, что пустяковая помеха каким-то образом умаляла не только значение, но и самый факт обладания золотом. И сейчас он вскочил с места именно потому, что его вдруг осенила идея, как разрешить эту задачу.

Он внимательно оглядел дорогу и, убедившись, что на ней никого не видно, вошел в хижину. Вмиг убрал все со стола, поставил на

него весы, на одну чашку положил гирьки весом в пятнадцать унций, и уравновесил их золотым песком на другой чашке. Заменяв потом гирьки золотом, он получил уже тридцать унций, точно взвешенных, потом эти тридцать унций ссыпал на одну чашку и уравновесил их новой порцией песка. Таким образом, все его золото оказалось на весах. Пот лил с него градом, он дрожал от восторга, от безмерного упоения. Это не помешало ему тщательно вытрясти из мешка все, до последней крупинки. Он тряс его над весами до тех пор, пока равновесие не было нарушено и одна из чашек не опустилась на стол. Чтобы снова уравновесить ее, он положил на другую чашку гирьку в одну двадцатую унции и пять песчинок золота. Он стоял, откинув назад голову, и смотрел как зачарованный на весы. Мешок опустел, но теперь он знал, что на этих весах можно взвесить любое количество золота, от мельчайшей крупинки до множества фунтов. Мамона выпустила свои острые когти в сердце Кента.

Заходящее солнце проникло в открытую дверь и ярко осветило весы с их желтым грузом. Драгоценные холмики, подобные золотистым грудям бронзовой Клеопатры, горели в его лучах мягким светом. Время и пространство перестали существовать.

— Ого! Убей меня бог, если у вас тут не наберется золота на несколько гиней!

Джекоб Кент круто обернулся и одновременно протянул руку к своей двустовлке, лежавшей наготове. Но, увидев лицо непрошеного гостя, он отступил назад, совершенно ошеломленный. *То было лицо Человека со Шрамом!*

Вошедший с любопытством посмотрел на него.

— Ну, ну, не бойтесь,— сказал он, успокоительно помахивая рукой. — Я не трону ни вас, ни ваше проклятое золото.

— Чудак вы! Право, чудак! — добавил он раздумчиво, заметив, что по лицу Кента текут струйки пота и колени у него трясутся. — Чего же вы молчите, как воды в рот набрали? — продолжал он, пока Кент тяжело переводил дух. — Язык, что ли, проглотили? Или беда какая с вами стряслась?

— Где это вас так? — с трудом выговорил наконец Кент, указывая дрожащим пальцем на страшный шрам, пересекавший щеку гостя.

— Это мой товарищ-матрос угодил мне в лицо свайкой от гребом-брамселя. А впрочем, какое вам дело до моего шрама, хотел бы я знать? Может, он не по вкусу таким привередникам, как вы? У вас физиономия в порядке — ну и радуйтесь!

— Нет, нет,— возразил Кент с вымученной улыбкой, тяжело опускаясь на табурет. — Просто мне интересно...

— Видели вы когда-нибудь такой шрам? — свирепо допрашивал его тот.

— Нет, не видал.

— Ну что, красота, верно?

— Верно, верно,— одобрительно закивал головой Кент, стараясь умиловить странного посетителя. Но он никак не ожидал, что его попытка быть любезным вызовет такую бурю.

— Ах ты треска вонючая, швабра ты этакая! Так, по-твоему, самое страшное уродство, каким господь бог когда-либо клеймил человеческое лицо, — красота? Это как же понимать, ты...

Тут вспыхивший сын моря разразился градом фантастических ругательств, в которых поминались боги, черти, чудовища, люди и все степени их родства. Он выпаливал их с такой бешеной энергией, что Джекоб Кент просто остолбенел. Он весь съежился и поднял руки, словно защищаясь от ударов. У него был такой пришибленный вид, что Человек со Шрамом вдруг остановился, не докончив великолепной заключительной тирады, и оглушительно захохотал.

— Солнце совсем доконало санную дорогу, — сказал он сквозь последние взрывы смеха. — И мне остается только надеяться, что ты будешь рад провести время в компании человека с такой рожей, как у меня. Разведи-ка пары в твоей кочегарке, а я пойду распрягу и накормлю собак. Принеси побольше дров, не стесняйся, дружище, их в лесу сколько угодно, а кому же, как не тебе, работать топором, — у тебя для этого достаточно времени. Кстати, притащи и ведро воды. Да живее поворачивайся, не то я тебя, ей-богу, в порошок сотру!

Неслыханное дело! Джекоб Кент разводил огонь, колот дрова, носил и всячески прислуживал своему постояльцу.

Джим Кардиджи еще в Доусоне слышался рассказов о беззакониях, которые творил этот Шейлок в придорожной хижине. Да и потом, на пути из Доусона, он повстречал много жертв Кента, и каждый из этих людей своими жалобами добавлял что-нибудь к списку его прегрешений. И вот Джим, который, как все моряки, любил озорную шутку, попав в хижину Кента, решил припугнуть и «осадить» ее хозяина. Было совершенно ясно, что это ему удалось даже в большей мере, чем он ожидал, но он не догадывался, какую роль сыграл в этом его шрам. Однако он видел, что внушает Кенту панический ужас, и решил использовать это без зазрения совести, подобно тому как нынешние торговцы стараются извлечь как можно больше барыша из попавшего к ним в руки ходкого товара.

— Лопни мои глаза, если ты не расторопный парень! — сказал он с восхищением, склонив набок голову и наблюдая за хлопотавшим хозяином. — Зря ты в золотонскатели полез! Тебе сам бог велел трактир держать. Я много слышал разговоров о тебе по всей реке, но никак не думал, что ты такой молотчина.

Джекобу Кенту страшно хотелось разрядить в него свое ружье, но магическое влияние шрама было слишком сильно. Он видел перед собой живого, подлинного Человека со Шрамом, того самого, кого так часто рисовало ему воображение в роли грабителя, похищающего его сокровища. Так вот он во плоти и крови, тот человек, что являлся ему во сне, тот, кто столько раз замышлял украсть его золото! Другого вывода быть не могло! Человек со Шрамом явился теперь сюда в своем телесном воплощении именно для того, чтобы ограбить его, Кента! А этот шрам! Кент не мог оторвать от него глаз, как не мог бы остановить бешенные собственные сердца. Несмотря на

все усилия воли, взгляд его возвращался к лицу матроса так же неуклонно, как магнитная стрелка поворачивается к полюсу.

— Что это тебе мой шрам покою не дает? — вдруг загремел Джим Кардиджи — он в это время расстирал на полу свои одеяла и случайно, подняв глаза, встретил напряженный взгляд Кента. — А если уж он тебя так беспокоит, самое лучшее убрать кливер, погасить огни и залечь спать. Не топчись на месте, слушай, что тебе говорят, швабра ты этакая, не то, видит бог, я тебе всю носовую часть вдребезги разнесу!

Кент был в таком страхе, что ему пришлось три раза дунуть на светильник, чтобы погасить его. Он поспешно залез под одеяло, даже не сняв мокасин.

Матрос улегся на свое жесткое ложе на полу и скоро смачно захрапел, а Кент все лежал, уставясь в темноту, и одной рукой сжимал дробовик. Он решил не смыкать глаз всю ночь, потому что ему не удалось запрятать подальше свои пять фунтов золота, и они так и лежали в патронном ящике у его изголовья.

Несмотря на все старания, он в конце концов все же задремал, но и во сне золото лежало у него на душе тяжелым грузом. Не усни он нечаянно в таком беспокойном состоянии, им не овладел бы во сне демон лунатизма и Джиму Кардиджи не пришлось бы на другое утро возиться с промывочным тазом.

Огонь в очаге после тщетной борьбы наконец погас, а мороз проник в хижину сквозь мох в щелях между бревнами и выстудил ее. Собаки под окном перестали выть и, свернувшись клубком, уснули в снегу. Им снился рай, где сколько угодно вяленой рыбы, где нет ни погонщиков, ни бичей. В хижине гость лежал неподвижно, как колода, а хозяин беспокойно ворочался, одолеваемый странными видениями. Около полуночи он вдруг откинул одеяло и встал с койки. Любопытно, что все дальнейшее он проделал, ни разу не чиркнув спичкой. Оттого ли, что было темно, или оттого, что он боялся увидеть страшный шрам на щеке матроса, но он не открывал глаз и так, ошупью, подняв крышку патронного ящика, всыпал обильный заряд в дуло своего дробовика, умудрившись не просыпать ни крупинки, забил его сверху двойным пыжом, затем убрал все на место и снова лег.

Джекоб Кент проснулся, как только на затянутое промасленной бумагой оконце легли голубовато-серые пальцы рассвета. Опершись на локоть, он поднял крышку патронного ящика и заглянул внутрь. То, что он там увидел, или, вернее, то, чего он уже не увидел, оказало на него действие весьма неожиданное, принимая во внимание его нервозность. Он посмотрел на спавшего матроса, тихонько закрыл ящик и перевернулся на спину. Лицо его выражало необычайное спокойствие. Ни один мускул на этом лице не дрогнул, незаметно было ни следа волнения, ни замешательства. Кент долго лежал и размышлял, а когда поднялся, то стал действовать спокойно, хладнокровно, не торопясь и не производя никакого шума.

Как раз над головой спящего Джима Кардиджи в потолке торчал крепкий деревянный колышек, вбитый в балку. Джекоб Кент осто-

рожно накинул на него веревку в полдюйма толщиной, спустив вниз оба ее конца. Один конец он обвязал вокруг пояса, на другом сделал петлю. Потом взвел курок и положил ружье так, чтобы оно было у него под рукой, рядом с кучей ремней из лосиной кожи. Усилием воли заставив себя взглянуть на шрам, он надел петлю на шею спящего матроса и, откинувшись всем телом назад, туго затянул ее. И в ту же минуту, схватив ружье, он прицелился в Джима.

Джим Кардиджи проснулся, задыхаясь, и ошеломленно уставился на торчавшие прямо перед ним два стальных дула.

— Где оно? — спросил Кент, немного ослабив веревку.

— Ах ты, треклятый...

Кент опять откинулся назад, и натянувшаяся веревка сдавила Джиму глотку.

— Ты, чертова... шва... хр-р...

— Где оно? — повторил Кент.

— Что? — выговорил Кардиджи, как только ему удалось перевести дух.

— Золото.

— Какое золото? — в полном недоумении спросил матрос.

— Отлично знаешь, какое: мое.

— Да я его и в глаза не видел. Что я тебе, сейф, что ли? Какое мне до него дело! Откуда я могу знать, где оно, твое золото?

— Можешь ты знать или не можешь, а я тебе не дам вздохнуть, пока не скажешь. И попробуй только пальцем шевельнуть, мигом башку прострелю.

— Силы небесные! — прохрипел Кардиджи, когда веревка снова натянулась.

Кент на мгновение отпустил ее, и матрос, как будто невольно вертя головой, умудрился немного растянуть петлю и передвинуть ее так, чтобы веревка приходилась как раз под подбородком.

— Ну? — спросил Кент, ожидая признания.

Но Кардиджи только усмехнулся.

— Валяй, валяй вешай меня, кабатчик проклятый!

Тогда, как и предвидел Джим, драма превратилась в комедию. Кардиджи был тяжелее Кента, и Кент, как он ни откидывался и ни выгибался, не мог поднять матроса на воздух.

Несмотря на его отчаянные усилия, поги матроса все не отрывались от пола, а петля под подбородком служила ему дополнительной опорой.

Видя, что повесить Джима не удастся, Кент продолжал натягивать веревку с твердым намерением либо медленно удушить его, либо заставить сказать, куда он девал золото. Однако Человек со Шрамом упорно не желал быть удушенным. Прошло пять, десять, пятнадцать минут — и наконец Кент в отчаянии опустил своего пленника на пол.

— Ну что ж, — сказал он, утирая пот, — не хочешь висеть, так я тебя застрелю. Видно, некоторым людям не судьба быть повешенными.

Кардиджи нужно было выиграть время.



— Ты этой возней только пол в комнате испортишь,— начал он. — Слушай, Кент, я тебе вот что скажу. Давай-ка пораскнием мозгами и вместе обсудим дело. У тебя пропал золотой песок. Ты говоришь, что я знаю, куда он девался, а я тебе говорю, что не знаю. Давай разберемся и наметим план действий...

— Силы небесные! — перебил Кент, ехидно передразнивая матроса. — Нет уж, действовать в этом доме буду я один, а ты можешь наблюдать и «разбираться». Но попробуй только шелохнуться, и я тебя продырявлю, клянусь богом!

— Ради моей матери...

— Помилуй ее господь, если она тебя любит... Ах, вот ты как! — Кент приставил холодное дуло ко лбу матроса, уловив какое-то движение с его стороны. — Лежи смирно! Только шевельнись — и тебе конец...

Задача была не из легких, если принять во внимание, что Кенту приходилось все время держать палец на курке, но Кент-недаром был когда-то ткачом; не прошло и нескольких минут, как он связал матроса по рукам и по ногам. После этого он выволок его из хижины и положил у стены в том месте, откуда Джим мог видеть реку и смотреть, как солнце поднимается к зениту.

— Даю тебе срок до полудня, а там...

— Что?

— А там отправишься прямехонько в ад. Но если скажешь, где золото, я тебя продержу до тех пор, пока мимо не проедет полицейский отряд!

— Господи помилуй, вот так положение! Да что же это в самом деле? Я невинен, как ягненок, а ты совсем спятил, ничего не соображаешь и хочешь ни за что ни про что меня укокошить. Ах ты старый пират! Ах ты...

Джим Кардиджи облегчил душу залпом ругательств, превзойдя на этот раз самого себя. Джекоб Кент вынес из хижины табуретку, чтобы расположиться поудобнее. Истошив весь свой запас всевозможных словосочетаний, матрос затих и принялся усиленно размышлять, а глаза его неотступно следили за солнцем, которое с неуместной быстротой поднималось с востока. Собаки Джима, удивленные тем, что их так долго не запрягают, сбежали к нему. Беспомощное состояние хозяина их встревожило. Животные чувствовали, что с ним что-то неладно, но не понимали, что именно, и метались вокруг, жалобным воем выражая ему сочувствие.

— Пошли вон! — прикрикнул на собак матрос, извиваясь, как червяк, в тщетной попытке отогнать их. И вдруг он почувствовал, что лежит на краю какого-то обрыва. Как только собаки разбежались, он стал думать: что это может быть за обрыв, которого ему не видно? И скоро пришел к правильному заключению. Человек от природы ленив, рассуждал про себя Джим. Он делает только то, что абсолютно необходимо. Строя хижину, он должен покрыть крышу землей. И земля берется, конечно, где-нибудь поблизости. Очевидно, он, Джим, лежит на краю ямы, из которой брали землю при постройке хижины Кента. Это обстоятельство, если суметь его использовать,

может продлить ему жизнь. И Джим сосредоточил все свое внимание на ремнях, которыми он был связан.

Руки у него были стянуты за спиной, и снег под ними начинал таять. А Джим знал, что сырая лосиная кожа легко растягивается. И, стараясь делать это незаметно, он все больше и больше растягивал ремни на руках.

В то же время он жадно следил глазами за тропой, и, когда вдали, со стороны Шестидесятой Мили, на белом фоне ледяного затора показались на миг темное пятнышко, он бросил тревожный взгляд на солнце. Оно уже почти дошло до зенита.

Черное пятно на тропе то появлялось, взлетая на торосы, то скрывалось в провалах между ними. Но матрос не решался открыто смотреть в ту сторону, боясь возбудить подозрения Кента. Раз, когда Кент вдруг поднялся и стал внимательно глядеть на реку, у Кардиджи сердце замерло от страха. Но в этот момент нарты, запряженные собаками, мчались по участку тропы, скрытому за ледяным затором, и их не было видно, так что опасность миновала.

— Я добьюсь, что тебя повесят за такие штучки,— грозил Кардиджи, стараясь отвлечь внимание Кента.— И ты будешь гореть в аду, вот помяни мое слово!

— Слушай! — крикнул он опять, подождав немного.— Ты веришь в привидения?

Кент вздрогнул, и Джим, почувствовав, что он на верном пути, продолжал:

— Привидение ведь является человеку, который не сдержал слова. Так что не вздумай отправить меня на тот свет раньше восьми склянок, то есть я хотел сказать — до двенадцати часов, потому что, если ты это сделаешь, я буду после смерти являться тебе. Слышишь? Повесь меня одной минутой или хотя бы одной секундой раньше времени, и я обязательно буду тебе являться, клянусь богом!

Джекоб Кент, видимо, был в нерешительности, но в разговор с Джимом не вступал.

— Какой у тебя хронометр? Откуда ты знаешь, что он показывает верное время? На какой вы здесь долготе? — приставал к нему матрос, тщетно надеясь вырвать у своего палача лишних несколько минут.

— Как у тебя часы поставлены, по Казармам или по часам Компании? Помни, если ты это сделаешь до того, как пробьет двенадцать, я не успокоюсь на том свете. Честно тебя предупреждаю: я вернусь. А если время у тебя не точно, как ты узнаешь, когда будет ровно двенадцать? Как ты это узнаешь, вот что меня интересует!

— Не беспокойся, отправлю тебя на тот свет вовремя,— ответил Кент.— У меня есть солнечные часы.

— Никуда не годится! Стрелка может иметь отклонение на тридцать два градуса!

— Все точно выверено.

— А как ты выверял? По компасу?

— Нет. По Полярной звезде.

— Правда?

— Правда.

Кардиджи застонал и украдкой бросил взгляд на реку. Нарты уже одолевали подъем на расстоянии какой-нибудь мили от хижины, и собаки бежали легко, большими скачками.

— Далеко еще тень от черты?

Кент подошел к примитивным солнечным часам.

— В трех дюймах,— объявил он после внимательного исследования.

— Вот что, ты крикни: «Восемь склянок!» — прежде чем выстрелить. Хорошо?

Кент согласился, и некоторое время оба молчали. Ремни на руках матроса постепенно растягивались, и он начал сдвигать их с кистей вниз, к пальцам.

— Далеко еще до черты?

— Остался один дюйм.

Матрос осторожно задвигался, стараясь убедиться, что он сможет в нужный момент скатиться вниз, и снял с рук первый оборот ремней.

— Сколько осталось?

— Полдюйма.

Тут Кент услышал скрип полозьев и оглянулся. Ездок лежал на нартах плашмя, собаки мчались во весь дух прямо к хижине. Кент быстро повернулся и поднял ружье к плечу.

— Восемь склянок еще нет! — запротестовал Кардиджи. — Раз так, я непременно буду тебе являться!

Джекоб Кент одну минуту колебался. Он стоял у солнечных часов, шагах в десяти от своей жертвы. Человек на нартах, должно быть, заметил, что у хижины происходит что-то необычное; он встал на колени, и его бич яростно засвистел над спинами собак.

Тень надвинулась на черту, Кент прицелился.

— Готовься! — торжественно скомандовал он. — Восемь скля...

Но на какую-нибудь долю секунды раньше, чем он договорил, Кардиджи скатился в яму. Кент не выстрелил и кинулся к обрыву. Бах! — ружье выпало прямо в лицо матросу в тот момент, когда он поднимался с земли. Но из дула не показалось дыма; зато сбоку, у приклада, вспыхнуло яркое пламя, и Джекоб Кент упал на землю...

Собаки взлетели на берег и протащили нарты по его телу, а ездок соскочил в ту минуту, когда Джим Кардиджи, выпростав из ремней руки, лез из ямы.

— Джим! — узнав его, воскликнул приезжий. — Что случилось?

— Что случилось? Ничего. Просто я проделываю такие небольшие упражнения для укрепления здоровья. Что случилось? Ах ты, олух проклятый! Развяжи меня сейчас же, не то я тебе покажу, что случилось! Живее, или я твоей башкой буду палубу дранть!

— Уф! — вздохнул он, когда приезжий принялся работать своим карманным ножом. — Я и сам хотел бы знать, в чем тут дело. Может быть, ты мне это объяснишь, а?

Кент был уже мертв, когда они перевернули его на спину. Его ружье, шомпольное, старинного образца, лежало рядом. Ствол отделился от приклада, у правого курка зияла трещина с рваными

краями длиною в несколько дюймов. Матрос, заинтересованный, поднял ружье. Из трещины брызнула сверкающая струя золотого песка. Тут только Джима Кардиджи осенила смутная догадка.

— Убей меня бог на этом самом месте! — заорал он. — Ну и номер! Так вот где было его проклятое золото! А ну-ка, Чарли, тащи сюда таз, да поживее, черт возьми!

## ТАМ, ГДЕ РАСХОДЯТСЯ ПУТИ

Грустно мне, грустно мне этот город покидать,  
Где любимая живет.

*Швабская народная песня*

Человек, напевавший песню, нагнулся и добавил воды в котелок, где варились бобы. Потом он выпрямился и стал отгонять дымящейся головешкой собак, которые вертелись у ящика с провизией. У него было открытое лицо, голубые веселые глаза, золотистые волосы, и от всего его облика веяло свежестью и здоровьем.

Тонкий серп молодого месяца виднелся над заснеженным лесом, который плотной стеной окружал лагерь и отделял его от остального мира. Мерцающие звезды, казалось, плясали в ясном, морозном небе. На юго-востоке едва заметный зеленоватый свет предвещал северное сияние. У костра лежали двое. Их ложе составляли сосновые ветки, толстым шестидюймовым слоем разостланные на снегу и покрытые медвежьей шкурой. Одеяла были откинuty в сторону. Парусиновый навес, натянутый между двумя деревьями под углом к земле в сорок пять градусов, служил защитой от ветра и одновременно задерживал тепло от огня и отбрасывал его вниз на медвежью шкуру. На нартах, у самого костра, сидел еще один человек и чинил мокассы. Справа куча мерзлого песка и примитивный ворот указывали, что они упорно целые дни трудились, нащупывая жилу. Слева четыре пары воткнутых в снег лыж говорили о способе передвижения, которым пользовались люди за пределами лагеря.

Волнующе и странно звучала простая швабская песня под холодными северными звездами. Она вселяла беспокойство в сердца людей, отдохнувших у костра после утомительного трудового дня, и вызывала в них щемящую боль и острую, как голод, тоску по далекому солнечному Югу.

— Да замолчи ты ради бога, Зигмунд! — взмолился один из лежавших у костра; он прятал в складках медвежьей шкуры свои до боли сжатые кулаки.

— А почему, Дэйв Верц, я должен молчать, если мне хочется петь? — отозвался Зигмунд. — Может, у меня сердце радуется!

— А потому, что не с чего радоваться. Посмотри вокруг. Подумай, что за жизнь ведем мы уже целый год: питаемся черт знает чем и работаем, как лошади.

Золотоволосый Зигмунд спокойно посмотрел на побелевших от инея собак и белый пар от дыхания людей.

— Не вижу, почему бы мне не радоваться? — засмеялся он. — Не так уж все плохо. Мне нравится. Ты говоришь, еда плохая. Ну... — Он согнул в локте руку и погладил свои мощные бицепсы. — А насчет того, что живем мы здесь по-скотски, так зато наживаемся по-царски. Жила дает по двадцать долларов с каждой промывки, а в ней еще будет верных восемь футов. Да тут второй Клондайк — и все мы это знаем. Вон Джим Хоз рядом с тобой, он-то понимает — ну, и не жалуется. А посмотри на Хичкока: чинит себе мокассы, словно старуха, и на стену не лезет: знает, что надо потерпеть. А у тебя вот не хватает выдержки — не можешь спокойно поработать до весны, ведь тогда мы будем богаты, как крезы. Хочется скорее попасть домой, в Штаты? А мне, думаешь, не хочется? Я там родился. Но я могу ждать, потому что каждый день на дне нашего промывочного лотка золото желтеет, словно масло в маслобойке. А ты хнычешь, как ребенок, — подай тебе сейчас же, чего тебе хочется. Нет, уж, по моему, лучше петь.

Через год, через год, как созреет виноград,  
Ворочусь я в край родной.  
Если ты еще верна,  
Назову тебя женой.

Через год, через год, как окончится мой срок,  
Назову тебя женой.  
Если ты была верна,  
Я навеки буду твой.

Собаки ошетинились и с глухим ворчаньем придвинулись ближе к костру. Послышалось мерное поскрипывание лыж и шипящий звук от скольжения по снегу, словно кто-то просеивал сахарный песок. Зигмунд оборвал песню и с проклятиями стал отгонять собак. В свете костра показалась закутанная в меха девушка-индианка; она сбросила лыжи, откинула капюшон своей беличьей парки и приблизилась к людям у огня.

— Здорово, Сипсу! — приветствовали ее Зигмунд и двое лежавших на медвежьей шкуре, а Хичкок молча подвинулся, чтоб уступить место рядом на нартах.

— Ну, как дела, Сипсу? — спросил он на каком-то жаргоне — смеси ломаного английского языка с испорченным чинукским наречием. — Что, в поселке все еще голод? И ваш колдун все еще не нашел причины, почему так мало попадает дичи и лось ушел в другие края?

— Да, твоя правда, дичи очень мало; нам скоро придется есть собак. Но колдун нашел причину этого зла; завтра он принесет жертву, которая снимет заклятие с племени.

— А кто будет жертвой? Новорожденный младенец или какая-нибудь несчастная дряхлая старуха, которая стала обузой и от которой рады избавиться?

— Нет, на этот раз он рассудил по-другому. Боги очень сердятся, и поэтому жертвой должен быть не кто иной, как дочь вождя племени, — я, Сипсу.

— Ах ты черт! — проговорил Хичкок.

Он произнес это веско, с расстановкой, тоном, в котором слышалось и удивление, и раздумье.

— Наши пути теперь расходятся, — спокойно продолжала она. — И я пришла, чтобы мы еще раз посмотрели друг на друга. В последний раз.

Она принадлежала к первобытному миру, и обычаи, по которым она жила, тоже были первобытные. Она привыкла принимать жизнь такой, как она есть, и считала человеческие жертвоприношения в порядке вещей. Силы, которые управляли сменой ночи и дня, разливом вод и морозами, силы, которые заставляли распускаться почки и желтеть листья, — эти силы бывали порой разгневаны, и нужны были жертвы, чтобы склонить их к милосердию. Их воля проявлялась по-разному: человек тонул во время половодья, проваливался сквозь предательский лед, погибал в мертвой хватке медведя или изнурительная болезнь настигала его у собственного очага — и он кашлял, выплевывая кусочки легких, пока жизнь не уходила вместе с последним дыханием. Иногда же боги соглашались принять человеческую жизнь в жертву, а шаман умел угадывать их желания и никогда не ошибался в выборе. Все было просто. Разными путями приходила смерть, но в конце концов все сводилось к одному — к велению непостижимых и всемогущих сил.

Но Хичкок принадлежал к другому, более развитому миру. Обычаи этого мира не отличались ни такой простотой, ни такой непреложностью. Поэтому Хичкок сказал:

— Нет, Сипсу, это неправильно. Ты молода и полна жизни. Ваш колдун болван, он сделал плохой выбор. Этому не бывать.

Она улыбнулась и ответила:

— Жизнь жестока. Когда-то она создала нас: одного с белой кожей, а другого — с красной. Затем она сделала так, что пути наши сошлись, а теперь они расходятся вновь. И мы не в силах изменить это. Однажды, когда боги тоже были разгневаны, твои братья пришли к нам в деревню. Их было трое — сильные белые люди. Они тогда сказали, как ты: «Этому не бывать!» Но они погибли, все трое, а это все-таки совершилось.

Хичкок кивнул ей в знак того, что он понял, потом обернулся к товарищам и, повысив голос, сказал:

— Слышите, ребята? Там, в поселке, видно, все с ума посходили. Они собираются убить Сипсу. Что вы на это скажете?

Хоз и Верц переглянулись и промолчали. Зигмунд опустил голову и гладил овчарку, прижимавшуюся к его ногам. Он привез ее издалека и очень заботился о ней. Секрет был в том, что, когда он уезжал на Север, собаку подарила ему на прощание та самая девушка, о которой он часто думал и чей портрет в маленьком медальоне, спрятанном у него на груди, вдохновлял его песни.

— Ну, что же вы скажете? — повторил Хичкок.

— Может, это еще и не так, — не сразу ответил Хоз, — может, Сипсу преувеличивает.

— Я не об этом вас спрашиваю! — Хичкок видел их явное нежелание отвечать, и кровь бросилась ему в лицо от гнева. — Я спрашиваю: если окажется, что это так, можем мы это допустить? Что мы тогда сделаем?

— По-моему, нечего нам вмешиваться, — заговорил Верц. — Даже если все это так, сделать мы ничего не можем. У них так принято, так велит их религия; и это совсем не наше дело. Нам бы намыть побольше золотого песку и поскорее выбраться из этой проклятой дыры. Здесь могут жить только дикие звери. И эти краснокожие — тоже зверье и ничего больше. Нет, с нашей стороны это был бы крайне опрометчивый шаг.

— Я тоже так думаю, — поддержал его Хоз. — Нас тут четверо, а до Юкона триста миль, и ближе ни одного белого человека не встретишь. Так что же мы можем сделать против полусотни индейцев? Если мы поссоримся с ними, нам придется убираться отсюда, а станем драться — нас попросту уничтожат. Кроме того, мы ведь напали на жилу, и, черт возьми, я, например, не собираюсь ее бросать.

— Правильно! — отозвался Верц.

Хичкок нетерпеливо обернулся к Зигмунду, который напевал вполголоса:

Через год, через год, как созреет виноград,  
Ворочусь я в край родной.

— Что ж, Хичкок, — проговорил он наконец, — я согласен с остальными. Если индейцы — а их там верных полсотни — решили убить ее, так что же мы-то можем сделать? Навалятся все разом, и нас как не бывало. А что толку? Девчонка все равно останется у них в руках. Нет, идти против местных обычаев можно, только когда сила на твоей стороне.

— Но сила-то ведь на нашей стороне, — прервал его Хичкок. — Четверо белых стоят четырехсот индейцев. И надо же подумать о девушке.

Зигмунд задумчиво погладил собаку.

— А я и думаю о девушке. Глаза у нее голубые, как летнее небо, и смеющиеся, как море. И волосы светлые, как у меня, и заплетены они в толстые косы. Она ждет меня там, в солнечной стране. Она ждет давно, и теперь, когда цель моя уже близка, я не хочу рисковать.

— А я бы на твоём месте не мог спокойно смотреть в ее голубые глаза; мне бы все время мерещились черные глаза той, которая погибла из-за моей трусости, — язвительно сказал Хичкок.

Великодушный и справедливый по натуре, он привык поступать бескорыстно, не вдаваясь в рассуждения и не задумываясь о последствиях.

Зигмунд покачал головой.

— Ты сумасшедший, Хичкок, но я из-за тебя глупостей делать не стану. Надо рассуждать трезво и считаться с фактами. Я сюда не развлекаться приехал. А самое главное — все равно наше вмешательство ничему не поможет. Если все, что она говорит, правда, — ну что ж,

остается только пожалеть ее. Таков обычай племени, а что тут оказались мы — это чистая случайность. Они делали так тысячу лет назад, и сделают теперь, и будут делать и впредь, до скончания веков. Это люди чуждого нам мира, да и девушка тоже. Нет, я решительно на стороне Верца и Хоза, и...

Собаки зарычали и сбились в кучу. Зигмунд прервал свою речь и прислушался: из темноты доносилось поскрипывание множества лыж. В освещенном круге у костра показалось несколько одетых в шкуры индейцев — высокие, решительные, безмолвные. Их тени зловеще плясали на снегу. Один из них, шаман, обращаясь к Сипсу, проговорил что-то гортанным голосом. Его лицо было грубо размалевано, на плечи накинута волчья шкура, открытая пасть скалила зубы над его лбом. Остальные хранили молчание. Молчали и золотонскатели. Сипсу поднялась и надела лыжи.

— Прощай же, друг! — сказала она Хичкоку.

Но человек, сидевший рядом с ней на нартах, не пошевелился. Он даже не поднял головы, когда индейцы один за другим стали исчезать в темноте.

В отличие от многих мужчин, приехавших в те края, Хичкок никогда не испытывал желания завязать близкие отношения с женщинами Севера. Он всюду чувствовал себя как дома и одинаково относился ко всем людям, так что взгляды его не были бы помехой, если бы подобное желание у него возникло. Но до сих пор оно просто не возникало. А Сипсу? Он любил болтать с ней у костра, но относился к ней не как мужчина к женщине, а скорее как взрослый к ребенку; это было естественно для человека его склада хотя бы потому, что их дружба немного скрашивала однообразие этой безрадостной жизни. Однако, несмотря на то, что он был до мозга костей янки и вырос в Новой Англии, в нем текла горячая кровь и некоторое рыцарство было ему не чуждо. Деловая сторона жизни порой казалась ему лишённой смысла и противоречила самым глубоким устремлениям его души.

Он сидел молча, опустив голову, чувствуя, что в нем пробуждается какая-то стихийная сила, более могучая, чем он сам, великая сила его предков. Время от времени Хоз и Верц искоса поглядывали на него с легким, но все же заметным беспокойством. Зигмунду тоже было не по себе. Все они знали, что Хичкок очень сильный человек. В этом они не однажды имели случай убедиться за время их совместной жизни, полной всяких опасностей. Потому они теперь с любопытством и некоторым страхом ждали, что он станет делать.

Но он все молчал. Время шло, и костер уже почти догорел. Верц потянулся, зевнул и сказал, что, пожалуй, пора и спать. Тогда Хичкок встал и выпрямился во весь рост.

— Будьте вы прокляты, жалкие трусы! Я вас больше знать не хочу! — Он произнес это спокойно, но в каждом слове чувствовалась сила и непреклонная воля. — Довольно! Давайте рассчитаемся. Можете это сделать, как вам будет удобнее. Мне принадлежит четвертая доля в заявке. Это указано в наших контрактах. Мы намыли унций тридцать золота. Давайте сюда весы, и мы его разделим. Ты,



Зигмунд, отмерь мне четвертую часть всех припасов. Четыре собаки моп. Но мне нужно еще столько же. За них я оставляю свою долю снаряжения и инструментов. Кроме того, добавлю свои семь унций золота и ружье с патронами. Идет?

Трое мужчин отошли в сторону. Пошептавшись между собой, они вернулись. Зигмунд заговорил от лица всех:

— Вот что. Хичкок, мы поделимся с тобой честно. Ты получишь одну четвертую часть, ни больше и ни меньше,—и делай с ней что хочешь. А собаки нам и самим нужны. Поэтому можешь взять только четырех. Что касается твоей доли в снаряжении и инструментах, то нужны они тебе — бери, не нужны — оставь. Это уж твое дело.

— Значит, все по букве закона,— усмехнулся Хичкок. — Ну что ж, я согласен. И давайте поскорее. Я тут ни одной лишней минуты оставаться не желаю. Мне противно смотреть на вас.

Больше не было произнесено ни слова. После того как раздел совершился, Хичкок уложил на нарты свои скромные пожитки, отобрал и запряг четырех собак. Он не притронулся к снаряжению, зато бросил на нарты полдюжины собачьих постромок и вызывающе поглядел на своих товарищей, ожидая возражений с их стороны. Но они только пожали плечами и потом молча смотрели ему вслед, пока он не скрылся в лесу.

По глубокому снегу полз человек. Справа и слева от него чернели крытые оленьими шкурами вигвамы индейцев. Порой то тут, то там голодные собаки принимались выть или озлобленно рычали друг на друга. Одна из них приблизилась к ползущему человеку. Он замер. Собака подошла ближе, понюхала воздух и осторожно сделала еще несколько шагов, пока ее нос не коснулся странного предмета, которого не было здесь до наступления темноты. Тогда Хичкок, ибо это был он, внезапно приподнялся; мгновение — и его рука, с которой он заранее снял рукавицу, стиснула мохнатое горло собаки. И смерть наступила в этой стальной хватке. Когда человек пополз дальше, собака осталась на снегу под звездами со сломанной шеей.

Хичкок дополз до вигвама вождя. Он долго лежал на снегу, прислушиваясь к голосам и стараясь определить, где именно находится Сипсу. Очевидно, там находилось много людей, и, судя по доносившемуся шуму, все они были в большом волнении.

Наконец он различил голос девушки и, обогнув вигвам, оказался рядом с ней, так что их разделяла лишь тонкая оленья шкура. Разгребая снег, Хичкок постепенно подсунил под нее голову и плечи. Когда он почувствовал теплый воздух жилища, то приостановился и стал ждать. Он ничего не видел и боялся пошевеливаться. Слева от него, очевидно, находилась кипа шкур. Он почувствовал это по запаху, но все же для большей уверенности осторожно ощупал ее. Его лица слегка коснулся край чьей-то меховой одежды. Он был почти уверен, что это Сипсу, но все-таки ему хотелось, чтобы она еще раз заговорила.

Он слышал, как вождь и шаман о чем-то горячо спорили, а где-то в углу плакал голодный ребенок. Хичкок повернулся на бок и осторожно приподнял голову, все так же слегка касаясь лицом меховой одежды. Он прислушался к дыханию. Это было дыхание женщины. И он решил рискнуть.

Осторожно, но довольно крепко он прижался к ней и почувствовал, как она вздрогнула. Он замер в ожидании. Чья-то рука скользнула по его голове, ощупала курчавые волосы, затем тихонько повернула его лицо вверх — и в следующее мгновение он встретился глазами с Сипсу.

Она была совершенно спокойна. Непринужденно изменив позу, она облокотилась на кипу шкур и поправила свою одежду так, что совершенно скрыла его. Затем, и снова как бы случайно, она склонилась над ним, опустила голову, и ухо ее слегка прижалось к его губам.

— Как только выберешь подходящую минуту, — прошептал он, — уходи из поселка, иди в направлении ветра прямо к тому месту, где ручей делает поворот. Там, у сосен, будут мои собаки и нарты, готовые для дороги. Сегодня ночью мы отправимся в путь — к Юкону. Мы должны будем ехать очень быстро, поэтому хватай первых попавшихся собак и тащи их к ручью.

Сипсу отрицательно покачала головой, но ее глаза радостно заблестели, — она была горда тем, что этот человек пришел сюда ради нее. Подобно всем женщинам своего народа, она считала, что ее судьба — покоряться мужчинам. Хичкок властно повторил: «Ты придешь!» И хотя она не ответила, он знал, что его воля для нее — закон.

— О постромках не беспокойся, — добавил он. — И поторапливайся. День прогоняет ночь, и время не ждет.

Спустя полчаса Хичкок стоял у своих нарт и пытался согреться, притопывая ногами и хлопая себя по бедрам. И тут он увидел Сипсу: она тащила за собой двух упирающихся собак, при виде которых собаки Хичкока пришли в воинственное настроение, и ему пришлось пустить в ход рукоятку бича, чтобы их утихомирить. Поселок находился с наветренной стороны, и малейший звук мог обнаружить их присутствие.

— Запрягай их ближе к нартам, — приказал он, когда она набросила постромки на приведенных собак. — Мои должны быть впереди.

Но когда она сделала это, выпряженные собаки Хичкока накинулись на чужаков, и, хотя Хичкок попытался усмирить их прикладом ружья, поднялся шум и, нарушая тишину ночи, разнесся по сияющему поселку.

— Ну, теперь собак у нас будет больше чем достаточно, — мрачно заметил он и достал привязанный к нартам тонор. — Запрягай тех, которых я буду швырять тебе, да хорошенько присматривай за упряжкой.

Он сделал несколько шагов вперед и занял позицию между двух сосен. Из поселка доносился лай собак, он ждал их приближения. Вскоре на тусклой снежной равнине показались быстро растущее темное пятно. Это была собака. Она шла большими ровными прыжками и, подвывая по-волчьи, вела всю свору. Хичкок притаился в тени. Как

только собака поравнялась с ним, он быстрым движением схватил ее передние лапы, и она, перевернувшись через голову, уткнулась в снег. Затем он нанес ей точно рассчитанный удар пониже уха и бросил ее Сипсу. Пока она надсвала на собаку упряжь, Хичкок, вооруженный топором, сдерживал натиск всей своры, — клубок косматых тел с горящими глазами и сверкающими зубами бесновался у самых его ног. Сипсу работала быстро. Как только с первой собакой было покончено, Хичкок рванулся вперед, схватил и оглушил еще одну и тоже бросил ее девушке. Это повторилось трижды. Когда в упряжке оказался десяток рычащих псов, он крикнул: «Довольно!»

Из поселка уже спешила толпа. Вперед бежал молодой индеец. Он врезался в стаю собак и стал колотить их направо и налево, стараясь пробраться к тому месту, где стоял Хичкок. Но тот взмахнул прикладом ружья — и молодой индеец упал на колени, а затем опрокинулся навзничь. Бежавший сзади шаман видел это.

Хичкок приказал Сипсу трогаться. Едва она крикнула «Чук!», как обезумевшие собаки рванулись вперед, и Сипсу с трудом удержалась на нартах. Очевидно, боги были сердиты на шамана, ибо именно он оказался в эту минуту на дороге. Вожак наступил ему на лыжи, шаман упал, и вся упряжка вместе с нартами пронеслась по нему. Но он быстро вскочил на ноги, и эта ночь могла бы кончиться иначе, если бы Сипсу длинным бичом не нанесла ему удар по лицу. Он все еще стоял посреди дороги, покачиваясь от боли, когда на него налетел Хичкок, бежавший за нартами. В результате этого столкновения познания первобытного теолога относительно силы кулака белого человека значительно пополнились. Поэтому, когда он вернулся в жилище вождя и принялся ораторствовать в совете, он был очень зол на всех белых людей.

— Ну, лентяи, вставайте! Пора! Завтрак будет готов прежде, чем вы успеете надеть ваши мокасины.

Дэйв Верц откинул медвежью шкуру, приподнялся и зевнул. Хоз потянулся, обнаружил, что отлежал руку, и стал сонно растирать ее.

— Интересно, где Хичкок провел эту ночь? — спросил он, доставая свои мокасины. За ночь они задеревенели, и он, осторожно ступая в носках по снегу, направился к костру, чтобы оттаять обувь. — Слава богу, что он ушел. Хотя, надо признаться, работник он был отличный.

— Да. Только уж очень любил все по-своему поворачивать. В этом его беда. А Сипсу жалко. Она, что, ему действительно так нравилась?

— Не думаю. Для него тут все дело в принципе. Он считал, что это неправильно, — ну, и, конечно же, неправильно, только это еще не причина нам вмешиваться и всем отправиться на тот свет раньше времени.

— Да, принципы — вещь неплохая, но все хорошо в свое время; когда отправляешься на Аляску, то принципы лучше оставлять дома. А? Правильно я говорю? — Верц присоединился к своему товарищу и тоже стал отогревать у костра мокасины. — Ты как считаешь: мы должны были вмешаться?

Зигмунд отрицательно покачал головой. Он был очень занят: коричневая пена грозилась перелиться через край кофейника, и пора уже было переверачивать сало на сковородке. Кроме того, он думал о девушке со смеющимися, как море, глазами и тихонько напевал.

Его товарищи с улыбкой перемигнулись и замолчали. Хотя было уже около семи, до рассвета оставалось еще не меньше трех часов. Северное сияние погасло, и в ночной темноте лагерь представлял собой островок света; фигуры трех людей отчетливо вырисовывались на фоне костра. Воспользовавшись наступившим молчанием, Зигмунд повысил голос и запел последний куплет своей старой песни:

Через год, через год, как созреет виноград...

Оглушительный ружейный залп разорвал тишину ночи. Коз охнул, сделал движение, словно пытался выпрямиться, и тяжело осел на землю. Верц, уронив голову, опрокинулся на бок, потом захрипел, и кровь черной струей хлынула у него из горла. А золотоволосый Зигмунд с неоконченной песней на губах взмахнул руками и упал поперек костра.

Зрачки шамана потемнели от злости, и настроение у него было не из лучших. Он поссорился с вождем из-за ружья Верца и потребовал из мешка с бобами больше, чем ему полагалось. Кроме того, он забрал себе медвежью шкуру, что вызвало ропот среди остальных мужчин племени. В довершение всего он вздумал было убить собаку Зигмунда — ту, что подарила девушка с Юга, — но собаке удалось убежать, а он свалился в шурф и, задев за чан, вывихнул плечо. Когда лагерь был полностью разграблен, индейцы вернулись в свои жилища, и ликованию женщин не было конца. Вскоре в их краях появилось стадо лосей, и охотников посетила удача. Слава шамана еще больше возросла, стали даже поговаривать, что он советуется с богами.

Когда все ушли, овчарка вернулась в разоренный лагерь, и всю ночь и весь следующий день она выла, оплакивая умерших. Потом она исчезла. Но прошло немного лет, и индейцы-охотники стали замечать, что у лесных волков на шерсти появились необычные светлые пятна, каких они не видели до той поры ни у одного волка.

## ЗАКОН ЖИЗНИ

Старый Коскуш жадно прислушивался. Его зрение давно угасло, но слух оставался по-прежнему острым, улавливая малейший звук, а мерцающее под высохшим лбом сознание было безучастным к грядущему. А, это произвольный голос Сит-Кум-То-Ха; она с криками бьет собак, надевая на них упряжь. Сит-Кум-То-Ха — дочь его дочери, но она слишком занята, чтобы попусту тратить время на дряхлого деда, одиноко сидящего на снегу, всеми забытого и беспомощного. Пора сниматься со стоянки. Предстоит далекий путь, а короткая ночь

не хочет помедлить. Жизнь зовет ее, зовут заботы, которых требует жизнь, а не смерть. А он так близок теперь к смерти.

Мысль эта на минуту ужаснула старика, и он протянул руку, нащупывая дрожащими пальцами небольшую кучку хвороста возле себя. Убедившись, что хворост здесь, он снова спрятал руку под изношенный мех и опять стал вслушиваться.

Сухое потрескивание полузамерзшей оленьей кожи сказало ему, что вигвам вождя уже убран и теперь его уминают и скатывают в удобный тюк. Вождь приходился ему сыном, он был рослый и сильный, глава племени и могучий охотник. Вот его голос, понукающий медлительных женщин, которые собирают пожитки. Старый Коскуш напряг слух. В последний раз он слышит этот голос. Сложен вигвам Джихоу и вигвам Тускена! Семь, восемь, десять... Остался, верно, только вигвам шамана. Вот теперь принялись и за него. Коскуш слышал бормотание шамана, укладывающего свой вигвам на нарты. Захныкал ребенок; женщина стала утешать его, напевая что-то тихим гортанным голосом. Это маленький Ку-Ти, подумал старик, капризный ребенок и слабый здоровьем. Может быть, он скоро умрет, и тогда в мерзлой земле тундры выжгут яму и набросают сверху камней для защиты от росамах. А впрочем, не все ли равно? В лучшем случае проживет еще несколько лет и будет ходить чаще с пустым желудком, чем с полным. А в конце концов смерть все равно дождет его — вечно голодная, самая голодная из всех.

Что там такое? А, это мужчины увязывают нарты и туго затягивают ремни. Он слушал, — он, который скоро ничего не будет слышать. Удары бича со свистом сыпались на собак. Слышишь, завыли! Как им ненавистен трудный путь! Уходят! Нарты за нартами медленно скользят в тишину. Ушли. Они исчезли из его жизни, и он один встретит последний, тяжкий час. Нет, вот захрустел снег под мокасинами. Рядом стоял человек; на его голову тихо легла рука. Как добр к нему сын! Он вспомнил других стариков, их сыновья уходили вместе с племенем. Его сын не таков. Старик унесся мыслями в прошлое, но голос молодого человека вернул его к действительности.

— Тебе хорошо? — спросил сын.

И старик ответил:

— Да, мне хорошо.

— Около тебя есть хворост, — продолжал молодой, — костер горит ярко. Утро серое, мороз спадает. Скоро пойдет снег. Вот он уже идет.

— Да, он уже идет.

— Люди спешат. Их тюки тяжелы, а животы подтянуло от голода. Путь далек, и они идут быстро. Я уйду. Тебе хорошо?

— Мне хорошо. Я словно осенний лист, который еле держится на ветке. Первое дуновение ветра — и я упаду. Мой голос стал как у старухи. Мои глаза больше не показывают дорогу ногам, а ноги отяжелели, и я устал. Все хорошо.

Довольный Коскуш склонил голову и сидел так, пока не замер вдали жалобный скрип снега; теперь он знал, что сын уже не услышит его призыва. И тогда рука его поспешно протянулась за хворостом. Только эта вязанка отделяла его от зияющей перед ним вечно-

сти. Охалка сухих сучьев была мерой его жизни. Один за другим сучья будут поддерживать огонь, и так же, шаг за шагом, будет подползать к нему смерть. Когда последняя ветка отдаст свое тепло, мороз примется за дело. Сперва сдадутся ноги, потом руки, и под конец оцепенеет тело. Голова его упадет на колени, и он успокоится. Это легко. Умереть суждено всем.

Коскуш не жаловался. Такова жизнь, и она справедлива. Он родился и жил близко к земле, и ее закон для него не нов. Это закон всех живых существ. Природа немилостива к отдельным живым существам. Ее внимание направлено на виды, расы. На большие обобщения примитивный ум старого Коскуша был не способен, но это он усвоил твердо. Примеры этому он видел повсюду в жизни. Дерево наливается соками, распускаются зеленые почки, падает желтый лист — и круг завершен. Но каждому живому существу природа ставит задачу. Не выполнив ее, оно умрет. Выполнит — все равно умрет. Природа безучастна: покорных ей много, но вечность суждена не покорным, а покорности. Племя Коскуша очень старо. Старик, которых он помнил, еще когда был мальчиком, помнили стариков до себя. Следовательно, племя живет, оно олицетворяет покорность всех своих предков, самые могилы которых уже давно забыты. Умершие не в счет; они только единицы. Они ушли, как тучи с летнего неба. И он тоже уйдет. Природа безучастна. Она поставила жизни одну задачу, дала один закон. Задача жизни — продолжение рода, закон ее — смерть. Девушка — существо, на которое приятно посмотреть. Она сильная, у нее высокая грудь, упругая походка, блестящие глаза. Но задача этой девушки еще впереди. Блеск в ее глазах разгорается, походка становится быстрее, она то смела с юношами, то робка и заражает их своим беспокойством. И она хорошеет день ото дня: и наконец какой-нибудь охотник берет ее в свое жилище, чтобы она работала и стряпала на него и стала матерью его детей. Но с рождением первенца красота начинает покидать женщину, ее походка становится тяжелой и медленной, глаза тускнеют и меркнут, и одни лишь маленькие дети с радостью прижимаются к морщинистой щеке старухи, сидящей у костра. Ее задача выполнена. И при первой угрозе голода или при первом длинном переходе ее оставят, как оставили его, — на снегу, подле маленькой охалки хвороста. Таков закон жизни.

Коскуш осторожно положил в огонь сухую ветку и вернулся к своим размышлениям. Так бывает повсюду и во всем. Комары исчезают при первых заморозках. Маленькая белка уноляет умирать в чашу. С годами заяц тяжелеет и не может с прежней быстротой ускакать от врага. Даже медведь слепнет к старости, становится неуклюжим, и в конце концов свора вилгивых собак одолевает его. Коскуш веномнил, как он сам бросил своего огна в верховьях Клаудайка, — это было той зимой, когда к ним пришел миссионер со своими молитвенниками и ящиком лекарств. Не раз обливался Коскуш губы при воспоминании об этом ящике, но сейчас у него во рту уже не было слюны. В особенности веномнивался ему «болеутоитель». Но миссионер был обузой для племени, он не приносил дичи, а сам ел много, и охотники

ворчали на него. В конце концов он простудился на реке около Мэю, а потом собаки разбросали камни и подрались из-за его костей.

Коскуш снова подложил хворосту в костер и еще глубже погрузился в мысли о прошлом. Во время Великого Голода старики жалась к огню и роняли с уст туманные предания старины о том, как Юкон целых три зимы мчался, свободный от льда, а потом стоял замерзший три лета. В этот голод Коскуш потерял свою мать. Летом не было хода лосося, и племя с нетерпением дожидалось зимы и оленей. Зима наступила, но олени не пришли вместе с ней. Такое никогда не бывало даже на памяти стариков. Олени не пришли, и это был седьмой голодный год. Зайцы не плодились, а от собак остались только кожа да кости. И дети плакали и умирали в долгой зимней тьме, умирали женщины и старики, и из каждых десяти человек только один дожил до весны и возвращения солнца. Да, вот это был голод!

Но он видел и времена изобилия, когда мяса было столько, что оно портилось и разжиревшие собаки совсем обленелись, — времена, когда мужчины смотрели на убегающую дичь и не убивали ее, а женщины были плодовиты, и в вигвамах возились и ползали мальчишки и девочки. Мужчины стали тогда заносчивы и чуть что вспоминали прежние ссоры. Они перевалили через горы на юг, чтобы истребить племя пелли, и на запад, чтобы полюбоваться на потухшие огни племени танана. Старик вспомнил, что еще мальчиком он видел в год изобилия, как волки задрали лося. Зинг-Ха лежал тогда вместе с ним на снегу, — Зинг-Ха, который стал потом искусным охотником и кончил тем, что провалился в полынью на Юконе. Ему удалось выбраться из нее только до половинны — так его и нашли через месяц примерзшим ко льду.

Так вот — лось. Он и Зинг-Ха пошли в тот день поиграть в охоту, подражая своим отцам. На замерзшей реке они наткнулись на свежий след лосося и на следы гнавшихся за ним волков.

— Старый, — сказал Зинг-Ха, умевший лучше разбирать следы. — Старый. Отбилса от стада. Волки отрезали его от братьев и теперь не выпустят.

Так оно и было. Таков волчий обычай. Днем и ночью, без отдыха, они будут с рычаньем преследовать его по пятам, щелкать зубами у самой его морды и не отстанут от него до конша. Кровь закипела у обоих мальчигов. Конец охоты — на это стоит посмотреть.

Сгорая от нетерпения, они шли все дальше и дальше, и даже он, Коскуш, не обладавший острым зрением и навиками следопыта, мог бы идти вперед с закрытыми глазами — так четок был след. Он был совсем свежий, и они на каждом шагу читали только что написанную мрачную трагедию погони. Вот здесь лось остановился. Во все стороны на расстоянии в три человеческих роста снег был истоптан и взрыт. Посредине глубокие отпечатки разлтых копыт лосося, а вокруг более легкие следы волков. Некоторые, пока их собратья бросались на жертву, видимо, отдыхали, лежа на снегу. Отпечатки их туловищ были так ясны, словно это происходило всего лишь минуту тому назад. Один волк попался под ноги обезумевшей жертве и был затоптан насмерть. Куча костей, чисто обглоданных, подтверждала это.

Они снова замедлили ход своих лыж. Вот здесь тоже происходила отчаянная борьба. Дважды опрокидывали лося наземь — как свидетельствовал снег, — и дважды он сбрасывал своих противников и снова поднимался на ноги. Он уже давно выполнил свою задачу, но жизнь была дорога ему. Зинг-Ха сказал: «Никогда не бывало, чтобы раз опрокинутый лось снова встал на ноги». Но этот встал.

Когда потом они рассказывали об этом шаману, он счел это чудом и каким-то предзнаменованием.

Наконец они подошли к тому месту, где лось хотел подняться на берег и скрыться в лесу. Но враги насели на него сзади, и он стал на дыбы и опрокинулся навзничь, придавив двух из них. Они так и остались лежать в снегу, не тронутые своими собратьями, ибо погоня близилась к концу. Еще два места битвы мелькнули мимо, одно вслед за другим. Теперь след покраснел от крови и плавный шаг крупного зверя стал неровным и спотыкающимся. И вот они услышали первые звуки битвы — не громогласный хор охоты, а короткий отрывистый лай, говоривший о близости волчьих зубов к бокам лося. Держась против ветра, Зинг-Ха полз на животе по снегу, а за ним полз Коскуш, — тот, кому предстояло с годами стать вождем своего племени. Они отвели в сторону ветви молодой ели и выглянули из-за них. И увидели самый конец битвы.

Зрелище это, подобно всем впечатлениям юности, до сих пор было еще свежо в памяти Коскуша, и конец погони стал перед его потускневшим взором так же ярко, как в те далекие времена. Коскуш изумился этому, ибо в последующие дни, будучи вождем мужей и главой совета, он совершил много деяний — даже если не говорить о чужом белом человеке, которого он убил ножом в рукопашной схватке, — и имя его стало проклятием в устах людей племени пелли.

Долго еще Коскуш размышлял о днях своей юности, и наконец костер стал потухать, и мороз усилился. На этот раз он подбросил в огонь сразу две ветки, и теми, что остались, точно измерил свою власть над смертью. Если бы Сит-Кум-То-Ха подумала о деде и собрала охапку побольше, часы его жизни продлились бы. Разве это так трудно? Но ведь Сит-Кум-То-Ха всегда была беззаботная, а с тех пор как Бобр, сын сына Зинг-Ха, впервые бросил на нее взгляд, она совсем перестала чтить своих предков. А впрочем, не все ли равно? Разве он в дни своей резвой юности поступал по-иному?

С минуту Коскуш вдушивался в тишину. Может быть, сердце его сына смягчится и он вернется назад с собаками и возьмет своего старика отца вместе со всем племенем туда, где много оленей с тучными от жира боками?

Коскуш напряг слух, его мозг на мигновение приостановил свою напряженную работу. Ни звука — тишина. Посреди полного молчания слышно лишь его дыхание. Какое одиночество! Чу! Что это? Дрожь пошла у него по телу. Знакомый протяжный вой прорезал безмолвие. Он раздавался где-то близко. И перед незрячими глазами Коскуша предстало видение: лось, старый самец, с истерзанными, окровавленными боками и вздернутой гривой, гнет книгу большие ветвистые рога и отбивается ими из последних сил. Он видел мелькающие



серые тела, горящие глаза, клыки, слюну, стекающую с языков. И он видел, как круг неумолимо сжимается все тесней и тесней, мало-помалу сливаясь в черное пятно посреди истоптанного снега.

Холодная морда ткнулась ему в щеку, и от этого прикосновения мысли его перенеслись в настоящее. Он протянул руку к огню и вытащил головешку. Уступая наследственному страху перед человеком, зверь отступил с протяжным воем, обращенным к собратьям. И они тут же ответили ему, и брызжущие слюной волчьи пасти кольцом сомкнулись вокруг костра. Старик прислушался, потом взмахнул головешкой, и фыркание сразу перешло в рычание; звери не хотели отступать. Вот один подался грудью вперед, подтягивая за туловищем и задние лапы, потом второй, третий; но ни один не отступил назад. Зачем цепляться за жизнь? — спросил Коскуш самого себя и уронил пылающую головню на снег. Она зашипела и потухла. Волки тревожно зарычали, но не двигались с места. Снова Коскуш увидел последнюю битву старого лося и тяжело опустил голову на колени. В конце концов не все ли равно? Разве не таков закон жизни?

## КИШ, СЫН КИША

— И вот я даю шесть одеял, двойных и теплых; шесть пил, больших и крепких; шесть удзюновских ножей, острых и длинных; два челнока работы Могума, великого мастера вещей; десять собак, сильных и выносливых в упряжке, и три ружья; курок одного сломан, но это хорошее ружье, и его еще можно починить.

Киш замолчал и оглядел круг пытливых, сосредоточенных лиц. Наступило время великой рыбной ловли, и он просил у Гноба в жены дочь его, Су-Су. Это было у миссии святого Георгия на Юконе, куда собрались все племена, жившие за сотни миль. Они пришли с севера, юга, востока и запада, даже из Тоцикаката и с далекой Тананы.

— Слушай, о Гноб! Ты вождь племени танана, а я Киш, сын Киша, вождь тлунгетов. Поэтому, когда чрево твоей дочери выносит мое семя, между нашими племенами наступит дружба, великая дружба, и танана и тлунгеты будут кровными братьями на долгие времена. Я сказал и сделаю то, что сказал. А что скажешь об этом ты, о Гноб?

Гноб важно кивнул головой. Ни одна мысль не отражалась на его обезображенном, изрытом морщинами лице, но глаза сверкнули, как угли, в узких прорезях век, когда он сказал высоким, надтреснутым голосом:

— Но это еще не все.

— Что же еще? — спросил Киш. — Разве не настоящую цену предлагаю я? Разве в племени танана была когда-нибудь девушка, за которую давали бы так много? Назови мне ее.

Насмешливый шепот пробежал по кругу, и Киш понял, что он опозорен в глазах всех.

— Нет, нет, мой добрый Киш, ты не понял меня. — И Гноб, успокаивая его, поднял руку. — Цена хорошая. Это настоящая цена.

Я согласен даже на сломанный курок. Но это еще не все. А человек каков?

— Да, да, каков человек? — злобно подхватил весь круг.

— Говорят, — опять задребезжал пронзительный голос Гноба, — говорят, что Киш не ходит путями отцов. Говорят, что он блуждает во мраке в поисках чужих богов и что он стал трусом.

Лицо Киша потемнело.

— Это ложь! — крикнул он. — Киш никого не боится.

— Говорят, — продолжал старый Гноб, — что он прислушивается к речам белого человека из Большого Дома, что он преклоняет голову перед богом белого человека, что бог белого человека не любит крови.

Киш опустил глаза, и руки его судорожно сжались. В кругу насмешливо захохотали, а знахарь и верховный жрец племени, шаман Мадван, зашипел что-то на ухо Гнобу. Потом он нырнул из освещенного пространства вокруг костра в темноту, вывел оттуда стройного мальчика и поставил его лицом к лицу с Кишем, а Кишу вложил в руку нож.

Гноб наклонился вперед.

— Киш! О Киш! Осмелишься ли ты убить человека? Смотри! Это мой раб Киц-Ну. Подними на него руку, о Киш, подними на него свою сильную руку!

Киц-Ну дрожал, ожидая удара. Киш смотрел на мальчика, и в мыслях у него пронеслись возвышенные поучения мистера Брауна, и он ясно увидел перед собой пламя, полыхающее в аду мистера Брауна. Нож упал на землю. Мальчик вздохнул и вышел из освещенного круга, и колени у него дрожали. У ног Гноба лежал огромный пес, который скалил клыки, готовый броситься на мальчика. Но шаман оттолкнул животное ногой, и это навело Гноба на новую мысль.

— Слушай, о Киш! Что бы ты сделал, если б с тобой поустунили вот так? — И с этими словами Гноб поднес Белому Клыкку кусок вяленой рыбы, но, когда собака потянулась за подачкой, он ударил ее по носу палкой. — И после этого, о Киш, поустунил бы ты вот так?

Припав к земле, Белый Клык лизал руку Гноба.

— Слушай! — Гноб встал, опираясь на руку Мадвана. — Я очень стар; и потому, что я очень стар, я скажу тебе вот что: твой отец Киш был великий человек, и он любил слушать, как поет в бою тетива, а мои глаза видели, как он метал копьё и как головы его врагов слетали с плеч. Но ты не таков. С тех пор как ты, отрекшись от Воропа, поклоняешься Волку, ты стал бояться крови и хочешь, чтобы и народ твой боялся ее. Это плохо. Когда я был молод, как Киц-Ну, ни одного белого человека не было во всей нашей стране. Но они пришли, эти белые люди, один за другим, и теперь их много. Это — неугомонное племя. Насытившись, они не хотят спокойно отдыхать у костра, не думая о том, откуда возьмется мясо завтра. Над ними тяготеет проклятие, они обречены вечно трудиться.

Киш был поражен. Он смутно вспомнил рассказ мистера Брауна о каком-то Адаме, жившем давным-давно. Значит, мистер Браун говорил правду.

— Белые люди путешествуют повсюду и накладывают руки на все, что видят, а видят они многое. Их становится все больше и больше; и, если мы будем бездействовать, они захватят всю нашу страну, и в ней не останется места для племен Ворона. Вот почему мы должны бороться с ними, пока ни одного из них не останется в живых. Тогда нам будут принадлежать все пути и все земли, и, может быть, наши дети и дети наших детей станут жить в довольстве и разжиреют. И когда настанет время Волку и Ворону меряться силами, будет великая битва, но Киш не пойдет сражаться вместе со всеми и не поведет за собой свое племя. Вот почему мне не годится отдавать ему дочь в жены. Так говорю я, Гноб, вождь племени танана.

— Но белые люди великодушны и могущественны, — ответил Киш. — Белые люди научили нас многому. Белые люди дали нам одеяла, ножи и ружья, которых мы не умели делать. Я помню, как мы жили до их прихода. Я еще не родился тогда, но мне рассказывал об этом отец. На охоте нам приходилось близко подползать к лосям, чтобы вонзить в них копьё. Теперь у нас есть ружье белого человека, и мы убиваем зверя на таком расстоянии, на каком не слышно даже крика ребенка. Мы ели рыбу, мясо и ягоды — больше нечего было есть, — и мы ели все без соли. Найдется ли среди вас хоть один, кто захочет теперь есть рыбу и мясо без соли?

Эти слова убедили бы многих, если б Мадван не вскочил с места, прежде чем Киш кончил говорить.

— Ответь мне сначала на один вопрос, Киш. Белый человек из Большого Дома говорит тебе, что убивать нельзя. Но разве мы не знаем, что белые люди убивают? Разве мы забыли великую битву на Коюкуке или великую битву у Нуклукайто, где трое белых убили двадцать человек из племени тощикакатов? И неужели ты думаешь, что мы забыли тех троих из племени тана-нау, которых убил белый человек Мэклатрот? Скажи мне, о Киш, почему шаман Браун учит тебя, что убивать нельзя, а все его братья убивают?

— Нет, нет, нам не нужно твоего ответа, — пропыхал Гноб, пока Киш мучительно думал, как ответить на этот трудный вопрос. — Все очень просто. Твой добрый Браун хочет крепко держать Ворона, пока другие будут ошипывать его. — Голос Гноба зазвучал громче. — Но пока останется хоть один человек из племени танана, готовый нанести удар, или хоть одна девушка, способная родить мальчика, перья Ворона будут целы.

Гноб обернулся к высокому, крепкому юноше, сидящему у костра.

— А что скажешь ты, Макадук, брат Су-Су?

Макадук поднялся. Длинный шрам пересекал его лицо, и верхняя губа у него кривилась в постоянной усмешке, которая так не визжалась со свиреным блеском его глаз.

— Сегодня, — начал он, хитро избегая ответа, — я проходил мимо хижины торговца Мэклатрота. И в дверях я увидел ребенка, который улыбался солнцу. Ребенок посмотрел на меня глазами Мэклатрота и испугался. К нему подбежала мать и стала его успокаивать. Его мать — Зиска, женщина из племени тлуингетов.

Слова его заглушил рев ярости, но Макамук заставил всех замолчать, театрально подняв руку и показывая на Киша пальцем.

— Так вот как! Вы, тлунгеты, отдаете своих женщин и приходите к нам, к танана. Но наши женщины нужны нам самим, Киш, потому что мы должны вырастить мужчин, много мужчин, к тому дню, когда Ворон схватится с Волком.

Среди возгласов одобрения раздался пронзительный голос Гноба:

— А что скажешь ты, Носсабок, любимый брат Су-Су?

Носсабок был высокий и стройный юноша-индеец с тонким, орлиным носом и высоким лбом, но одно веко у него подергивалось, словно он многозначительно подмигивал. И сейчас, когда юноша поднялся, веко дернулось и закрыло глаз. Но на этот раз никто не засмеялся, глядя на Носсабока. Лица у всех были серьезные.

— Я тоже проходил мимо хижины торговца Мэклрота,— зажурчал его нежный, почти девичий голос, так похожий на голос сестры,— и я видел индейцев. Они обливались потом, и ноги дрожали от усталости. Говорю вам: я видел индейцев; они стонали под тяжестью бревен, из которых торговец Мэклрот строит себе склад. И собственными глазами я видел, как они кололи дрова, которыми шаман Браун будет топить свой Большой Дом в долгие морозные ночи. Это женская работа, танана никогда не будут ее делать. Мы готовы породниться с мужчинами, но тлунгеты не мужчины, а бабы!

Наступило глубокое молчание. Все устремили глаза на Киша. Он внимательным взглядом обвел людей, сидящих в кругу.

— Так,— сказал он бесстрастно.— Так,— снова повторил он. Потом повернулся и, не сказав больше ни слова, скрылся в темноте.

Пробираясь среди ползающих по земле детей и злобно рычащих собак, Киш прошел все становище из конца в конец и увидел женщину, которая сидела за работой у костра. Она плела лесу из волокон, содранных с коры дикой лозы. Киш долго следил, как ее проворные руки приводили в порядок спутанную массу волокон. Приятно было смотреть, как эта девушка, крепкая, с высокой грудью и крутыми бедрами, созданными для материнства, склоняется над работой. Ее бронзовое лицо отливало золотом в мерцающем свете костра, волосы были цвета воронова крыла, а глаза блестели, словно самоцветы.

— О Су-Су! — наконец сказал он. — Ты когда-то ласково смотрела на меня, и те дни были совсем недавно...

— Я смотрела на тебя ласково, потому что ты был вождем тлунгетов,— быстро ответила она,— потому что ты был такой большой и сильный.

— А теперь?

— Но это было ведь давно, тогда, когда мы занимались рыбной ловлей,— поспешно добавила Су-Су, — до того, как шаман Браун научил тебя дурному и повел тебя по чужому пути.

— Но я же говорил тебе, что...

Она подняла руку, и этот жест сразу напомнил Кишу ее отца.

— Я знаю, какие слова готовы слететь с твоих уст, о Киш! И я отвечаю тебе. Так повелось, что рыба в воде и звери в лесу рождают

себе подобных. И это хорошо. Так повелось и у женщин. Они должны рождать себе подобных, и даже девушка, пока она еще девушка, чувствует муки материнства и боль в груди, чувствует, как маленькие ручонки обвиваются вокруг ее шеи. И когда это чувство одолевает ее, тогда она тайно выбирает себе мужчину, который сможет быть отцом ее детей. Так чувствовала и я, когда смотрела на тебя и видела, какой ты большой и сильный. Я знала, что ты охотник и воин, способный добывать для меня пищу, когда я буду есть за двоих, и защищать меня, когда буду бессильна. Но это было до того, как шаман Браун пришел в нашу страну и научил тебя...

— Но это неправда, Су-Су! Я слышал от него только добрые слова...

— Что нельзя убивать? Я знала, что ты это скажешь. Тогда рождай таких, как ты сам, таких, кто не убивает, но не приходи с этим к танана, ибо сказано, что скоро наступит время, когда Ворон схватится с Волком. Не мне знать, когда это будет, это — дело мужчин; но я должна родить к этому времени воинов, и это я знаю.

— Су-Су,— снова заговорил Киш,— выслушай меня...

— Мужчина побил бы меня палкой и заставил бы слушать себя,— с презрительным смехом сказала Су-Су.— А ты... вот, возьми! — Она сунула ему в руки пучок волокон.— Я не могу отдать Кишу себя, но вот это пусть он возьмет. Это ему подходит. Это — женское дело.

Киш отшвырнул пучок, и кровь бросилась ему в лицо, и потемнела его бронзовая кожа.

— И еще я скажу тебе,— продолжала Су-Су.— Есть старый обычай, которого не чуждался ни твой отец, ни мой. С того, кто пал в бою, победитель снимает скальп. Это очень хорошо. Но ты, который отрекся от Ворона, должен сделать больше: ты должен принести мне не скальпы, а головы — две головы, и тогда я дам тебе не пучок волокон, а расшитый бисером пояс, и ножи, и длинный русский нож. Тогда я снова ласково посмотрю на тебя, и все будет хорошо.

— Так,— задумчиво сказал Киш.— Так...

Потом повернулся и исчез в темноте.

— Нет. Киш! — крикнула она ему вслед.— Не две головы, а по крайней мере три!

Но Киш не изменял своей новой вере: жил безупречно и заставлял людей своего племени следовать заповедям, которым учил его священник Джексон Браун. Все время, пока продолжалась рыбная ловля, он не обращал внимания на людей танана, не слушал ни оскорблений, ни насмешек женщин других племен. После лова Гноб со своим племенем, запасшись вяленой и копченой рыбой, отправился на охоту в верховья реки Танана. Киш смотрел, как они собирались в путь, но не пропустил ни одной службы в миссии, где он постоянно молился и пел в хоре густым, могучим басом.

Преподобного Джексона Брауна приводил в восторг этот густой бас, и он считал Киша самым надежным из всех обращенных. Однако Мэклрот сомневался в этом; он не верил в обращение язычников и не считал нужным скрывать свое мнение. Но мистер Браун был человек широких взглядов, и однажды долгой осенней ночью он с таким жа-

ром доказывал свою правоту, что в конце концов торговец в отчаянии воскликнул:

— Провалиться мне на этом месте, Браун, но если Киш продержится еще два года, я тоже стану ревностным христианином!

Не желая упускать такой случай, мистер Браун скрепил договор мужественным рукопожатием, и теперь от поведения Киша зависело, куда отправится после смерти душа Мэклрота.

Однажды, когда на землю уже лег первый снег, в миссию святого Георгия пришла весть. Человек из племени тапана, приехавший за патронами, рассказал, что Су-Су обратила свой взор на отважного молодого охотника Ни-Ку, который положил большой выкуп за нее у очага старого Гиоба. Как раз в это время его преподобие Джексон Браун встретил Киша на лесной тропе, ведущей к реке. В упряжке Киша шли лучшие его собаки, на нартах лежала новая большая пара лыж.

— Куда ты держишь путь, о Киш? Не на охоту ли? — спросил мистер Браун, подражая речи индейцев.

Киш несколько мгновений пристально смотрел ему в глаза, потом тронул собак. Но, пройдя несколько шагов, он обернулся, снова устремил внимательный взгляд на миссионера и ответил:

— Нет, я держу путь прямо в ад!

На небольшой поляне, глубоко зарывшись в снег, словно пытаюсь спастись от безотрадного одиночества, ютились три жалких вигвама. Дремучий лес подступал к ним со всех сторон. Над ними, скрывая ясное голубое небо, нависала тусклая, туманная завеса, обещающая снег. Ни ветра, ни звука — ничего, кроме снега и Белого Безмолвия. Даже обычной суеты не было на этой стоянке, ибо охотникам удалось выследить стадо оленей карibu и охота была удачной. И вот после долгого поста пришло изобилие, и охотники крепко спали среди бела дня в своих вигвамах из оленьих шкур.

У костра перед одним из вигвамов стояли пять пар лыж, и у костра сидела Су-Су. Капюшон беличьей парки был крепко завязан вокруг шеи, но руки проворно работали иглой с продернутой в нее желей, на поясе последние замысловатые узоры на кожаный пояс, отделанный ярко-красной тканью.

Где-то позади вигвамов раздался пронзительный собачий лай и тотчас же стих. В вигваме захрипел и застонал во сне ее отец. «Дурной сон, — подумала она и улыбнулась. — Отец стареет, не следовало давать ему эту последнюю лопатку, он и так много съел».

Она нашла еще одну бусину, закрепила жилу узлом и подобрала хворосту в огонь. Потом долго смотрела на костер и вдруг подняла голову, услышав на жестком снегу скрип мокасинов.

Перед ней, слегка сгибаясь под тяжестью пошн, стоял Киш. Поша была завернута в дубленую оленью кожу. Он небрежно сбросил ее на снег и сел у костра. Долгое время они молча смотрели друг на друга.

— Ты прошел долгий путь, о Киш,— наконец сказала Су-Су,— долгий путь от миссии святого Георгия на Юконе.

— Да,— рассеянно ответил Киш, разглядывая пояс и прикидывая на глаз его размер.— А где же нож? — спросил он.

— Вот.— Она вынула нож из-под паркы, и обнаженное лезвие сверкнуло при свете огня.— Хороший нож.

— Дай мне! — повелительным тоном сказал Киш.

— Нет, о Киш,— засмеялась Су-Су.— Может быть, не тебе суждено носить его.

— Дай мне! — повторил он тем же голосом.— Мне суждено носить его.

Су-Су кокетливо повела глазами на оленью шкуру и увидела, что снег под ней медленно краснеет.

— Это кровь, Киш? — спросила она.

— Да, это кровь. Дай же мне пояс и длинный русский нож.

И Су-Су вдруг стало страшно, а вместе с тем радостное волнение охватило ее, когда Киш вырвал у нее из рук пояс. Она нежно посмотрела на него и почувствовала боль в груди и прикосновение маленьких ручек, обнимающих ее за шею.

— Пояс сделан для худого человека,— мрачно сказал Киш, втягивая живот и застегивая пряжку на первую прорезь.

Су-Су улыбнулась, и глаза ее стали еще ласковее. Опять она почувствовала, как нежные ручки обнимают ее за шею. Киш был красивый, а пояс, конечно, слишком тесен: ведь он сделан для более худого человека. Но не все ли равно? Она может вышить еще много поясов.

— А кровь? — спросила она, загораясь надеждой.— Кровь, Киш? Ведь это... это... головы?

— Да.

— Должно быть, они только что сняты, а то кровь замерзла бы.

— Сейчас не холодно, а кровь свежая, совсем свежая...

— О Киш! — Лицо ее дышало радостью.— И ты принес их мне?

— Да, тебе.

Он схватил оленью шкуру за край, потрянул ее, и головы покатались на снег.

— Три? — в испуге прошептал он.— Нет, по меньшей мере четыре.

Су-Су застыла от ужаса. Вот они перед ней: тонкое лицо Ни-Ку, старое, морщинистое лицо Гноба, Макамук, вздернувший, словно в усмешке, верхнюю губу, и, наконец, Носсабок, как всегда, многозначительно подмигивающий. Вот они перед ней, освещенные пламенем костра, и вокруг каждой из них расплзлось пятно алого цвета.

Растаявший у огня снежный наст осел под головой Гноба, и, наклонившись, как живая, она покатилась к ногам Су-Су. Но девушка сидела не шелохнувшись, Киш тоже сидел не двигаясь; его глаза не мигая, в упор смотрели на нее.

Где-то в лесу сосна уронила на землю тяжелый ком снега, и эхо глухо прокатилось по ущелью. Но они по-прежнему сидели молча. Короткий день быстро угасал, и тьма уже надвигалась на стоянку,

когда Белый Клык подбежал к костру. Он выжидательно остановился — не прогонят ли его, потом подошел ближе. Ноздри у Белого Клыка дрогнули, шерсть на спине встала дыбом. Он безошибочно пошел на запах и, остановившись у головы своего хозяина, осторожно обнюхал ее и лизнул лоб длинным красным языком. Затем лег на землю, поднял морду к первой тускло загоревшейся на небе звезде и протяжно, по-волчьи завыл.

Тогда Су-Су пришла в себя. Она взглянула на Киша, который обнажил русский нож и пристально смотрел на нее. Лицо Киша было твердо и решительно, и в нем Су-Су прочла свою судьбу. Отбросив капюшон парки, она открыла шею и поднялась. Долгим, прощальным взглядом окинула опушку леса, мерцающие звезды в небе, стоянку, лыжи в снегу — последним долгим взглядом окинула все, чем она жила. Легкий ветерок откинул в сторону прядь ее волос, и с глубоким вздохом она повернула голову и подставила ветру открытое лицо.

Потом Су-Су подумала о детях, которые уже никогда не родятся у нее, подошла к Кишу и сказала:

— Я готова!

## ИСТОРИЯ ДЖИС-УК

Бывают жертвы и жертвы. Но сущность жертвы всегда одна. Ее парадокс в том, что человек отказывается от самого дорогого во имя чего-то еще более дорогого. И так было всегда. Так было, когда Авель принес от первородных стада своего и от тука их. Первородные стада его и тук их были ему дороже всего на свете, а все же он отдал их, чтобы сохранить хорошие отношения с богом. Так было, когда Авраам возложил сына своего Исаака на жертвенник. Он любил Исаака, но бога он почему-то любил еще больше. Может быть, впрочем, он просто его боялся. Но, как бы то ни было, с тех пор несколько миллиардов людей уверовали, что Авраам возлюбил господа и жаждал служить ему.

А поскольку решено, что любовь — это служение, и поскольку жертвовать — значит служить, то из этого следует, что Джис-Ук, претая темнокожая девушка, любила великой любовью. Джис-Ук умела читать лишь приметы погоды да следы дичи; она была несведуща в священной истории и никогда не слышала ни об Авеле, ни об Аврааме. Заботы добрых сестер Святого креста миновали ее, и никто не рассказал ей о моавитянке Руфи, которая пожертвовала даже своим богом ради чужой женщины из далекой страны. Джис-Ук знала только один вид жертвы — под угрозой дубины, как собака жертвует украденной костью. И все же, когда настало время, она сумела подняться до паретвенных высот белой расы и принести понетине королевскую жертву.

Вот рассказ о судьбе Джис-Ук, а также о судьбах Нийла Боннера, Китти Боннер и двух детей Нийла Боннера.

Хотя кожа у Джис-Ук была темная, она не была ни индианкой, ни эскимоской, ни цинчуткой. В устных преданиях упоминается имя



Сколкза, индейца-тойата с Юкона, который в дни своей юности до-  
брался до селения иннуитов в Великой Дельте, где встретил женщи-  
ну, чье имя было Оллилли. Мать женщины Оллилли была эскимоска, а  
отец — иннуит. И от Сколкза и Оллилли родилась Хали, наполовину  
тойатка, на четверть иннуитка и на четверть эскимоска. А Хали была  
бабушкой Джис-Ук.

Хали, в которой смешалась кровь трех племен, не боялась даль-  
нейших смешений и сочеталась с русским торговцем пушниной по имени  
Шпак, известным также под прозвищем Жирный. Шпак здесь на-  
зван русским за отсутствием более точного термина: его отец, русский  
каторжник, бежал с ртутных рудников в Северную Сибирь, где он  
познал Зимбу, женщину из племени Оленя, и она стала матерью Шпа-  
ка, деда Джис-Ук.

Если бы Шпака в детстве не захватили Люди Моря, которые вла-  
чат жалкое существование на берегах Ледовитого океана, он не стал  
бы дедом Джис-Ук, и рассказывать было бы не о чем. Но Люди Моря  
его захватили, и он бежал от них на Камчатку, а оттуда на норвежском  
китобойном судне добрался до Балтийского моря. Затем Шпак ока-  
зался в Петербурге, и не прошло и нескольких лет, как он отправился  
на восток той же тяжелой дорогой, которую за полстолетия до этого  
прошел в кандалах его отец. Только Шпак ехал как свободный чело-  
век, служащий Русской меховой компании. Исполняя свои обязанно-  
сти, он забирался все дальше и дальше на восток и наконец перепра-  
вился через Берингово море в Русскую Америку, где в Пастилке,  
у Великой Дельты Юкона, стал мужем Хали, бабушки Джис-Ук. От  
этого союза произошла девочка Тюксен.

По распоряжению Компании Шпак отправился в лодке на несколь-  
ко сотен миль вверх по Юкону, к посту Нулато. Он взял с собой Хали  
и девочку Тюксен. Это было в 1850 году, а именно в 1850 году на  
Нулато напали индейцы и стерли его с лица земли. Так погибли Шпак  
и Хали. В эту ужасную ночь Тюксен исчезла. Тойаты и по сей день  
клянутся в своей непричастности к этому нападению, но, как бы то  
ни было, остается фактом, что девочка Тюксен выросла среди них.

Тюксен дважды выходила замуж, но детей у нее не было. Поэто-  
му другие женщины качали головами, и не нашлось третьего тойата,  
который захотел бы жениться на бесплодной вдове. Но в это время на  
много сотен миль выше по реке в Форте Юкон жил человек по имени  
Спайк О'Брайен. Форт Юкон принадлежал Компании Гудзонова за-  
лива, а Спайк О'Брайен был одним из ее служащих. Служил он хоро-  
шо, но пришел к заключению, что служба плоха, в подтверждение  
чего со временем дезертировал. Потребовался бы год, чтобы от поста  
к посту добраться до Йоркской фактории на Гудзоновом заливе. Кро-  
ме того, посты принадлежали Компании, и О'Брайен знал, что на  
этом пути ему не избежать ее когтей. Оставалась единственная доро-  
га — вниз по Юкону. Правда, до сих пор ни один белый еще не спу-  
скался по Юкону, ни один белый не знал, выласт ли Юкон в Ледови-  
тый океан или в Берингово море, но Спайк О'Брайен был реальном,  
и опасность всегда была для него неотразимой приманкой.

Спустя несколько недель, довольно оборванный, весьма голодный и едва живой от лихорадки, он выбросил свое каноэ на отмель у деревни тойатов и тут же потерял сознание. Отлеживаясь там и набираясь сил, он увидел Тюксен, и она понравилась ему. Отец Шпака дождался до глубокой старости среди сибирского племени Оленя, и О'Брайси мог бы так же состариться среди тойатов, но в его сердце жила жажда приключений, и она гнала его все дальше и дальше. Он уже проделал путь от Йоркской фактории до Форты Юкон, а теперь он мог добраться от Форты Юкон до моря и завоевать лавры человека, первым открывшего сухопутный Северо-Западный проход. Поэтому он отплыл вниз по реке, завоевал эти лавры и остался неизвестным и невоспетым. Впоследствии он был содержателем матросской харчевни в Сан-Франциско и прослыл отчаянным вралем, потому что рассказывал истинную правду. А у Тюксен, бесплодной Тюксен, родился ребенок. Это и была Джис-Ук. Ее родословная прослежена здесь так далеко для того, чтобы показать, что она не была ни индианкой, ни эскимоской, ни иннуиткой, ни кем-нибудь еще, а также чтобы показать, что пути поколений неисповедимы, и что все мы — только игра бесконечных причудливых сочетаний.

И вот Джис-Ук, в жилах которой текла кровь многих племен, выросла замечательной красавицей. Красота ее была необычной и настолько восточной, что могла бы сбить с толку любого этнолога. Джис-Ук была гибка и грациозна. Бесспорно кельтским в ней было только живое воображение. Правда, быть может, именно горячая кельтская кровь сделала ее лицо менее смуглым, а тело более светлым, но, быть может, этим она была обязана Шпаку Жирному, который унаследовал цвет кожи своих славянских предков. Особенно хороши были огромные черные сияющие глаза Джис-Ук, глаза полукровки, миндалевидные и чувственные, — знак столкновения темных и светлых рас. И, наконец, сознание того, что в ней течет кровь белых, порождало в Джис-Ук своеобразное честолюбие. В остальном же, в привычках, в отношении к жизни, она была самой настоящей индианкой-тойаткой.

Как-то зимой, когда Джис-Ук была еще совсем молода, в ее жизни появился Нийл Боннер. Появился он в ее жизни, как, впрочем, и вообще на Аляске, не совсем по своей воле. Пока его отец стриг купоны и выращивал розы, а мать предавалась светским развлечениям, Нийл Боннер сбился с пути. Он не был порожен от природы, но, когда человек сыт и ему нечего делать, его энергия ищет выхода, а Нийл Боннер был сыт и ему нечего было делать. И он расходовал свою энергию так бурно, что, когда наступила неизбежная катастрофа, его отец, Нийл Боннер-старший, вылез из роз и с изумлением уставился на своего отпрыска. Затем он направил свои стопы к старому другу и советчику по части роз и купонов, и они вместе решили судьбу Нийла Боннера-младшего. Ему следовало уехать и безупречным поведением искупить свои шалости, дабы со временем стать таким же полезным членом общества, как и они.

Принятое решение выполнить было нетрудно. Нийл-младший испытывал стыд и раскаяние, а старые друзья были видными акционерными

Компании Тихоокеанского побережья. Эта Компания, владевшая флотилиями речных и океанских пароходов, не только бороздила моря. Она также прибрала к рукам несколько сотен тысяч квадратных миль той территории, которая на географических картах обозначена белыми пятнами. Итак, Компания послала Нийла Боннера-младшего на Север, туда, где белые пятна, чтобы он работал на нее и стал со временем достойным сыном своего отца. «Пять лет простой жизни в близости к природе и в отдалении от соблазнов сделают из него человека», — изрек Нийл Боннер-старший и уполз в свои розы. Нийл-младший сжал зубы, упрямо выставил подбородок и взялся за дело. Он был хорошим работником и снискал расположение начальства. Нельзя сказать, чтобы работа ему особенно нравилась, но лишь она спасала его от безумия.

В течение первого года он призывал смерть. В течение второго он слал проклятия богу. А когда наступил третий, он то призывал смерть, то проклинал бога и, запутавшись в своих чувствах, поссорился с лицом, власть имущим. Из ссоры он вышел победителем, но за лицом, власть имущим, осталось последнее слово, и это слово послало Нийла Боннера в такую глушь, по сравнению с которой его прежнее место казалось раем. Нийл уехал без жалоб, так как Север успел сделать из него человека.

Кое-где на белых пятнах карты попадаются крохотные кружки, вроде буквы «о», а около них виднеются названия — например, «Форт Гамильтон», «Пост Танана», «Двадцатая Миля», и может показаться, что белые пятна усеяны городами и деревнями. Но это только кажется. Двадцатая Миля, которая похожа на все остальные фактории, представляет собой бревенчатое строение величиной с бакалейную лавку, где верх сдается жильцам. На заднем дворе — кладовая на высоком горизонте и даже дальше. Рядом нет никакого жилья, разве томаты разобьют иногда зимний лагерь милях в двух ниже по Юкону. Вот какова Двадцатая Миля, одно из бесчисленных шупалец Компании Тихоокеанского побережья! Здесь агент Компании и его помощник торгуются с индейцами из-за мехов и выманивают золотой песок у случайно забредших золотоискателей. Здесь агент Компании и его помощник всю зиму ждут весны, а когда весна приходит, они, проклиная все на свете, перебираются на крышу, пока Юкон моет помещение. И вот сюда, на четвертый год своего пребывания на Севере, приехал Нийл Боннер, чтобы взять дела в свои руки.

Он никого не лишил места. Прежний агент покончил с собой — «из-за тяжелых условий», как сообщил его помощник. Правда, у той-атских костров говорили другое. Этот помощник был сутулый человек со впалой грудью и впалыми щеками, чуть прикрытыми редкой черной бородой. Он часто кашлял, словно туберкулез пожирал его легкие, и в его глазах горел лихорадочный огонь безумия, как это бывает у чахоточных в последней стадии. Звали его Пентли — Амос Пентли. Боннеру он не нравился, хотя ему было искренне жаль одинокого и отчаявшегося человека. Эти двое не поладили; а им особенно нужна была дружба: ведь предстояли холода, безмолвие и мрак долгой зимы.

В конце концов Боннер пришел к выводу, что Амос не совсем нормален, и решил его не трогать, взяв на себя всю работу, за исключением стряпни. Но Амос продолжал бросать на него злобные взгляды не пытаясь скрыть свою ненависть. Боннеру было тяжело: для него так много значили бы здесь улыбающееся лицо, бодрая шутка, дружба, рожденная общими невзгодами. И зима только началась, а Нийл Боннер уже понял, что с таким помощником у прежнего агента было достаточно причин, чтобы наложить на себя руки.

На Двдцатой Миле было очень одиноко. Унылая пустыня простиралась кругом до самого горизонта. Снег, или, вернее, иней, покрыл землю белым плащом, и все погрузилось в безмолвие смерти. Неделями стояла ясная, холодная погода, и термометр неизменно показывал сорок—пятьдесят градусов ниже нуля. Затем наступала перемена. Влага, медленно просачиваясь в атмосферу, собиралась в бесформенные свинцовые тучи. Теплело. Термометр поднимался до минус двадцати, и на землю падали твердые кристаллики, хрустевшие под ногами, как сахар или сухой песок. Затем снова устанавливалась ясная, холодная погода; а когда в воздухе накапливалось достаточно влаги, чтобы укрыть землю от холода, опять наступало потепление. И все. Не было никаких происшествий. Не было ни бурь, ни шума воды, ни треска ломающихся деревьев — ничего, кроме регулярного выпадения ледяных кристаллов. Пожалуй, самым значительным событием за эти долгие, тоскливые недели был подъем ртути до неслыханной высоты — пятнадцать ниже нуля. Потом, словно в отместку, землю охватил космический холод, ртуть замерзла, а спиртовой термометр две недели стоял на семидесяти. Наконец он лопнул, и неизвестно, насколько упала температура после этого. Другим явлением, монотонным в своей регулярности, было то, что ночи становились все длиннее и длиннее, пока день не превратился в короткий проблеск света, прорезавший мрак.

Нийл Боннер любил общество себе подобных. Самые его проступки, за которые он теперь нес покаяние, родились из его чрезмерной общительности. И вот на четвертом году своего изгнания он оказался в обществе — само это слово звучало здесь народной — угрюмого, молчаливого человека, в чьих глазах таилась беспричинная, но глубокая ненависть. И Боннер, которому дружеская беседа была нужна, как воздух, жил, словно призрак, терзаемый памятью о радостях прошлого существования. Днем лицо его было непроницаемо и губы сжаты, но зато ночью он ломал руки и катался по постели, рыдая, как ребенок. Часто он вспоминал лицо, власть имущее, и в долгие ночные часы слал ему проклятия. И еще он проклинал бога. Но бог понимает все, и в сердце его нет осуждения слабым смертным, богохульствующим на Аляске.

И вот сюда, на Двдцатую Милу, явилась Джие-Ук, чтобы кушить мук и бекона, бус и ярких тканей для рукоделия и чтобы с ее приходом, хотя об этом она сама не знала, одинокий человек на Двдцатой Миле стал еще более одиноким, чтобы ночью по сне он ловил в объятия пустоту. Ведь Нийл Боннер был только мужчиной. Когда Джие-Ук впервые пришла на склад, он глядел на нее, как умирающий

от жажды смотрит на прозрачный ключ. А она, в чьих жилах струилась кровь Спайка О'Брайена, улыбнулась ему не так, как темнокожие должны улыбаться людям царственных рас, но как женщина улыбается мужчине. Дальнейшее было неизбежным, но он не понимал этого, и чем сильнее его влекло к Джис-Ук, тем яростнее он боролся со своим влечением. А она? Она была Джис-Ук, настоящая индианка из племени тойатов, если не по рождению, то по воспитанию.

Она часто приходила в факторию за товарами и часто садилась у большой печки, болтая с Нийлом Боннером на ломаном английском языке. И он уже ожидал ее, и в те дни, когда она не приходила, скучал и не мог найти себе места. Иногда он вдруг задумывался о происходящем, и тогда Джис-Ук встречала холодную сдержанность, которая злила ее и сбивала с толку, хотя она была убеждена в неискренности его поведения. Но чаще Боннер не решался задумываться, и фактория оглашалась смехом и болтовней. Амос Пентли, задыхаясь, как рыба на песке, содрогаясь от глухого, могильного кашля, глядел на них и усмехался. Он, так хотевший жить, был обречен и терзался тем, что другие будут жить. Он ненавидел Боннера за то, что тот здоров и полон жизни, за то, что он так радуется приходу Джис-Ук. А самому Амосу стоило только подумать о девушке, как у него начинало бешено биться сердце и горлом шла кровь.

Джис-Ук была проста, мыслила прямолинейно и не привыкла разбираться в жизненных тонкостях. Для нее Амос Пентли был открытой книгой. Она предостерегла Боннера ясно и недвусмысленно, не тратя лишних слов, но он, привыкший к условностям цивилизации, не сумел правильно оценить положение и только посмеялся над ее страхами. Для него Амос был жалким больным, обреченным на смерть, а Боннер после перенесенных страданий научился прощать.

И вот однажды утром, во время сильных морозов, он встал из-за стола после завтрака и прошел на склад. Джис-Ук, порозовевшая с дороги, дожидалась там, чтобы купить мешок муки. Через несколько минут Нийл уже привязывал мешок к ее нартам. Нагибаясь, он почувствовал, что ему сводит шею, и его охватило тревожное предчувствие беды. Затянув последнюю петлю, он попытался выпрямиться, но сильная судорога швырнула его в снег. Голова его откинулась, спина выгнулась, руки и ноги неестественно вытянулись, и казалось, что сведенное судорогами тело разрывается на части. Не вскрикнув, без единого звука, Джис-Ук опустилась в снег рядом с ним, но он отчаянно стиснул ее руки, и, пока длились конвульсии, она ничего не могла сделать. Через несколько секунд припадок кончился, наступила глубокая слабость, на лбу Боннера выступили капли пота, губы покрылись пеной.

— Скорей! — хрипло прошептал он. — Скорей! В дом!

Он пополз было на четвереньках, но Джис-Ук подхватила его своими сильными руками, и с ее помощью ему удалось дойти до склада. Там опять начались конвульсии, она не смогла удержать его, и он в судорогах покатился по полу. Вошедший Амос Пентли с интересом смотрел на происходящее.

— О Амос! — вскричала Джис-Ук вне себя от страха и от сознания своей беспомощности. — Он умирай, а?

Но Амос только пожал плечами и продолжал наблюдать.

Тело Боннера обмякло, судороги прекратились, и на лице появилось облегчение.

— Скорей! — проскрежетал он. Губы его дергались от усилия преодолеть приближающийся припадок. — Скорей, Джис-Ук! Лекарство! Тащи меня! Тащи!

Она знала, что аптечка в глубине комнаты за печью, и поволокла туда за ноги бьющееся в конвульсиях тело. Припадок миновал, и Нийл, преодолевая слабость, с трудом открыл аптечку. Ему приходилось видеть, как в подобных же конвульсиях умирали собаки, и он знал, что надо делать. Он достал флакон хлоралгидрата, но слабые, негнувшиеся пальцы не могли вытащить пробку. Это сделала Джис-Ук, пока он снова корчился в судорогах. Очнувшись, он увидел перед собой открытый пузырек, а в больших черных глазах Джис-Ук прочел то, что всегда читают мужчины в глазах женщины-подруги. Он проглотил большую дозу наркотика и, когда миновал следующий припадок, с усилием приподнялся на локте.

— Слушай, Джис-Ук, — сказал он медленно, понимая, что времени терять нельзя, и все же боясь торопиться. — Делай, что я скажу. Остаешься тут, только не трогай меня. Меня нельзя трогать, но не отходи от меня. — У него начало сводить челюсти, лицо исказилось, но он, сглатывая слюну, пытался справиться с поднимающейся судорогой. — Не уходи и не выпускай Амоса. Понимаешь? Амос должен остаться здесь.

Она кивнула. Припадки следовали один за другим, но становились теперь все слабее и реже. Джис-Ук не отходила от Боннера, но, следуя его наставлениям, не решалась прикоснуться к нему. Амос вдруг забеспокоился и направился было к кухне, но угрожающий блеск в глазах девушки остановил его, и потом только тяжелое дыхание и глухой кашель напоминали о его присутствии.

Боннер спал. Тусклый свет недолгого дня погас. Под пристальным взглядом Джис-Ук Амос зажег керосиновые лампы. Надвигалась ночь. Небо в окне, выходявшем на север, расцветилось северным сиянием, затем игра огненных снохохов сменилась мраком. Прошло еще немного времени, и Нийл Боннер проснулся. Прежде всего он убедился, что Амос не ушел, потом улыбнулся Джис-Ук и встал. Тело его одеревенело, каждый мускул болел, и он криво улыбнулся, ощущывая и растирая поясницу. Затем его лицо приняло суровое и решительное выражение.

— Джис-Ук, — сказал он. — Возьми свечу. Иди на кухню. Там на столе еда: сухари, бобы и бекон. И еще кофе на печке. Принеси все это сюда, на прилавок. Принеси еще стакан, воду и виски. Бутылка на верхней полке в шкафу. Не забудь виски.

Выпив стакан чистого виски, Нийл начал внимательно проецировать содержимое аптечки, отставляя в сторону некоторые флаконы. Затем он взял остатки пищи и попытался произвести анализ. Когда-то в колледже ему приходилось работать в лаборатории, и он был

достаточно изобретателен, чтобы теперь, даже не имея под рукой всего необходимого, добиться своей цели. Характер судорог, которыми сопровождались припадки, упрощал задачу. Боннер знал, что ему следует искать. Исследование кофе не дало результатов, в бобах тоже ничего не было. Особенно тщательно Боннер занялся сухарями. Амос, понятия не имевший о химии, с любопытством наблюдал за его действиями, но Джис-Ук глубоко верила в мудрость белых и особенно в мудрость Нийла Боннера, а потому, зная, что она ничего не знает, смотрела на лицо Нийла, а не на его руки.

Исключая одну возможность за другой, Нийл перешел наконец к последней проверке. Подняв к свету узкий пузырек, который служил ему вместо пробирки, он глядел, как в растворе медленно осаждается соль. Он не произнес ни слова, хотя увидел то, что ожидал. Джис-Ук, не отрывавшая глаз от его лица, тоже что-то увидела. Как тигрица, она кинулась на Амоса и великолепным, сильным и гибким движением опрокинула его навзничь на свое колено. В свете лампы блеснул ее нож. Амос злобно хрипел, но, прежде чем лезвие опустилось, успел вмешаться Боннер:

— Умница, Джис-Ук. Но не надо. Пусти его.

Она покорилась с явной неохотой, и Амос тяжело упал на пол. Боннер толкнул его носком мокасина.

— Вставайте, Амос! — приказал он. — Вы должны сегодня же собраться в дорогу.

— Что это значит?.. — забормотал Амос в ярости.

— Это значит, что вы пытались убить меня, — ответил Нийл холодным, ровным тоном. — Это значит, что вы убили Бердзола, хотя в Компании и считают его самоубийцей. Меня вы травили стрихнином. Бог знает, чем вы прикончили его. Повесить вас я не могу: вы и так почти мертвец. Но на Двдцатой Миле нам двоим нет места, и вам придется уехать. До миссии Святого Креста двести миль. Если будете беречь силы — доберетесь. Я дам вам провизии, нарты и трех собак. Держать вас под замком здесь смысла нет: из здешних мест вам все равно не выбраться. Я оставляю вам один шанс. Вы на краю могилы. Ладно. Я ничего не сообщу Компании до весны. Вот вам срок, чтобы умереть. А теперь — живо!

— Ты ложись спать, — наставляла Джис-Ук, когда Амос растворился в ночи. — Ты больной еще, Нийл.

— А ты хорошая девушка, Джис-Ук! — ответил он. — И вот тебе моя рука. Но тебе пора домой.

— Я тебе не нравлюсь, — сказала она просто.

Он улыбнулся, помог ей надеть парку и проводил до двери.

— Слишком нравишься, Джис-Ук, — сказал он тихо. — Слишком!

Но когда покров арктической ночи еще плотнее окутал землю, Нийлу Боннеру пришлось убедиться, что в свое время он слишком мало ценил даже угрюмое лицо умирающего убийцы Амоса. На Двдцатой Миле воцарилось полное одиночество. «Ради бога, Прентис, пришлите мне кого-нибудь!» — написал он агенту Компании в Форт Гамильтон, находившийся в трехстах милях вверх по реке. Через

шесть недель посланный индеец вернулся с лаконичным ответом: «Дело дрянь. Отморозил обе ноги. Самому нужен. Прентис».

Еще хуже было то, что большинство тойатов ушло в глубь страны вслед за стадом карибу и Джис-Ук ушла с ними. Чем дальше она была, тем ближе казалась, и воображение Боннера постоянно рисовало ее то на стоянках, то в пути. Плохо быть одному. Часто он без шапки выбегал из тихого склада и грозил кулаком светлой полоске в южной части неба, означавшей день. А холодными, ясными ночами он выскакивал на мороз и вопил во всю силу легких, бросая вызов тишине, как будто она была живым существом и могла принять этот вызов. Иногда он кричал на спящих собак, пока они не начинали выть. Одногo косматого пса он поселил в доме, играя в нового помощника, присланного Прентисом. Он пытался приучить собаку спать ночью под одеялом и есть за столом, как человек. Но она, этот прирученный потомок волков, не желала подчиняться, пряталась по темным углам, рычала и укусила его за ногу, так что в конце концов он ее побил и изгнал.

Потом Нийлом Боннером овладела страсть к анимизации. Все силы природы превращались в живые существа и вступали в общение с ним. Он заново создавал первобытный пантеон, воздвиг алтарь солнцу и жег на нем свечное сало и свиной жир, а на неогороженном дворе, у кладовой на сваях, вылепил снежного черта и дразнил его, гримасничая, когда ртуть замерзала. Конечно, это была игра. Он снова и снова убеждал себя в этом, не зная, что безумие часто выражается в притворстве перед самим собой и в игре.

Однажды, в середине зимы, на Двадцатую Милю заехал отец Шампро — незунтский миссионер. Боннер накинулся на него, втащил в факторию, обнял и расплакался так, что священник сам заплакал из сочувствия. Затем Боннер безумно развеселился и устроил роскошный пир, клянясь, что не отпустит гостя. Но отец Шампро торопился к Соленой Воде по неотложным делам своего ордена и уехал на следующее утро, непутешествуемый угрозами Боннера, что его кровь падет на голову священника.

Он был уже близок к осуществлению этой угрозы, но тут после долгой охоты вернулся на зимнее становище тойаты. Меха было много, и на Двадцатой Миле закипела оживленная торговля. Джис-Ук приходила за бусами и яркими тканями, и Боннер постепенно вновь обретал себя. Целую неделю он боролся. Затем, как-то вечером, когда Джис-Ук собралась уходить, наступил конец. Она еще не забила, как ее отвергли, а в ней жила гордость Снайка О'Брайена — гордость, гнавшая его открыть сухопутный Северо-Западный проход.

— Я иду, — сказала она. — Доброй ночи, Нийл!

Но он догнал ее у двери.

— Не уходи, — сказал он.

И когда она повернула к нему вдруг просиявшее лицо, он медленно и торжественно наклонился, как будто совершая священнодействие, и поцеловал ее в губы. Тойаты не знают значения поцелуя в губы, но она поняла и была рада.



С приходом Джис-Ук жизнь сразу стала светлее. Джис-Ук была царственно счастлива, а с нею был счастлив и он. Простота ее мышления, ее наивное кокетство удивляли и восхищали утомленного цивилизацией человека, снизошедшего до нее. Она была не просто утешением его одиночества — ее непосредственность обновила его пресыщенную душу. Казалось, после долгих блужданий он склонил голову на колени матери-природы. Короче говоря, в Джис-Ук он нашел юность мира — юность, силу и радость.

И чтобы заполнить последний пробел в жизни Нийла, а также чтобы они с Джис-Ук не устали друг от друга, на Двадцатую Миллю явился Сэнди Макферсон, самый компанейский человек из всех, кто когда-либо, посвистывая, бежал за собаками или запевал у лагерного костра. Некий священник наткнулся на его стоянку, милях в двухстах выше по Юкону, как раз вовремя, чтобы прочесть успокоительную молитву над телом его товарища. Перед отъездом священник сказал:

— Сын мой, вы остаетесь теперь в одиночестве.

И Сэнди горестно кивнул.

— На Двадцатой Миле,— добавил священник,— есть одинокий человек. Вы нужны друг другу, сын мой.

Так случилось, что Сэнди стал желанным третьим в фактории, братом мужчине и женщине, обитавшим там. Он научил Боннера охотиться на лосей и волков, а взамен Боннер вытащил зачитанный, истрепанный томик, и вскоре замороженный Шекспиром Сэнди обрушивал на заупрямившихся собак ямбические пентаметры. Долгими вечерами мужчины играли в криббедж и спорили о вселенной, а Джис-Ук, уютно устроившись в кресле, штопала их носки и чинила мокасины.

Пришла весна. С юга вернулось солнце. Земля сменила аскетическое одеяние на легкомысленный девичий наряд. Повсюду смеялся свет, бурлила жизнь. Овечьим теплом дни становились все длиннее, а ночи — все короче, пока не исчезли совсем. Река сбросила ледяной панцирь, и пыхтение пароходов будило глушь. Шум, суматоха, новые лица, свежие новости. На Двадцатую Миллю приехал новый помощник, и Сэнди Макферсон ушел с компанией золотонкателей исследовать долину реки Коюкук. А Нийл Боннер получил газеты, журналы и письма. Джис-Ук наблюдала за ним в тревоге, так как знала, что это его солдземники говорят с ним из-за морей.

Известие о смерти отца не слишком потрясло Нийла. Почта принесла нежные слова прощения, продиктованные умирающим, и официальные письма Компании с любезным разрешением Боннеру передать факторию помощнику и уехать, когда ему заблагорассудится. Длинный юридический документ, присланный поверенным, содержал бесконечные перечни акций, ценных бумаг, земельных владений и прочего движимого и недвижимого имущества, переходившего к Боннеру по завещанию отца. Изящный листок с монограммой умолял милого Нийла посещать к безутешной и любящей матери.

Нийл Боннер умел решать быстро, и, когда у берега зафиркала «Красавица Юкона», направлявшаяся к Беринговому морю, он уехал;

уехал с древней ложью о скором возвращении, которая в его устах прозвучала молодо и искренне.

— Я вернусь, Джис-Ук, дорогая, прежде чем выпадет снег,— обещал он ей между последними поцелуями на сходнях.

И он не только обещал, но, как большинство мужчин в подобных обстоятельствах, он верил в то, что говорил. Он дал распоряжение Джону Томпсону, новому агенту, открыть неограниченный кредит его жене Джис-Ук. Оглянувшись в последний раз с палубы «Красавицы Юкона», он увидел, как дюжина рабочих таскает бревна, предназначенные для постройки самого удобного дома по всей реке — дома Джис-Ук, который станет и его, Нийла Боннера, домом еще до первого снега. Ибо он и в самом деле собирался вернуться. Джис-Ук была ему дорога, а Север ожидало золотое будущее. В это будущее он намеревался вложить деньги, унаследованные от отца. Его влекла честолюбивая мечта: он вернется и благодаря своему четырехлетнему опыту и дружеской поддержке Компании станет Сесилем Родсом Аляски. Он непременно вернется, как только приведет в порядок дела отца, которого почти не знал, и утешит мать, которую забыл.

Возвращение Нийла Боннера с Севера наделало много шума. Огонь запылал в очагах, были заколоты упитанные тельцы, и Нийл Боннер вкусил и нашел, что это хорошо. Он не только загорел и возмужал,— он вернулся другим человеком: сдержанным, серьезным и проникательным. Он изумил своих былых собутыльников, решительно отказавшись от участия в прежних забавах, и старый друг его отца, отныне признанный авторитет по исправлению легкомысленных юнцов, торжествуя потирал руки.

В течение четырех лет ум Нийла Боннера почти не получал свежих впечатлений, но в нем происходил своеобразный процесс отбора, очищения от всего пошлого и поверхностного. Боннер в юности жил, не оглядываясь, но потом, когда он очутился в глуши, у него было время, чтобы привести в порядок хаос накопленного опыта. Его прежние легковесные принципы развеялись по ветру, и на их месте возникли новые, более глубокие и обоснованные. По-новому оценил он и цивилизацию. Он узнал запах земли, он увидел жизнь во всей ее простоте, и это помогло ему понять внутренний смысл цивилизации, осознать ее слабость и ее силу. Его новая философия была проста: честная жизнь ведет к спасению; исполненный долг — оправдание жизни; человек должен жить честно и исполнять свой долг для того, чтобы трудиться; в труде — искупление; трудиться, добываясь жизни все более и более изобильной, значило следовать заветам природы и воле бога.

Нийл был сыном города. Обретенная им близость к земле и новое, мужественное, понимание человеческой натуры позволили ему глубже понять и полюбить цивилизацию. День за днем люди города делались все дороже и нужнее ему, а мир становился все обширнее. И день за днем Аляска уходила все дальше, становилась все менее реальной. А потом он встретил Китти Шарон — женщину его расы и круга; женщину, которая оперлась на его руку и завладела им настолько,

что он забыл и день, и час, и время года, когда на Юконе выпадает первый снег.

Джис-Ук переехала в великолепный новый дом и провела в мечтах три золотых летних месяца. Затем стремительная осень возвестила приближение зимы. Воздух стал холодным и резким, дни холодными и короткими. Река текла медленно, и заводи покрывались льдом. Все, что могло, перекочевало к югу, и на землю пала тишина. Закружились первые снежинки, и последний пароход отчаянно пробивался сквозь ледяное сало. Потом появился настоящий лед — льдины, ледяные поля. Юкон бежал вровень с берегами. Потом все замерло, река стала, и проблески дня затерялись во мраке.

Джон Томпсон, новый агент, смеялся, но Джис-Ук верила в задержки в пути: Нийл Боннер мог быть застигнут ледоставом в любом месте между Чилкутским перевалом и Сент-Майклом, — запоздавшие путешественники всегда застревали во льду, сменяли лодку на нарты и мчались вперед на собаках.

Но к Двадцатой Миле не примчалась ни одна упряжка. Джон Томпсон, плохо скрывая радость, сообщил Джис-Ук, что Боннер никогда не вернется, и грубо, без обиняков предложил себя. Джис-Ук рассмеялась ему в лицо и вернулась в свой новый дом. А в самый разгар зимы, в дни, когда умирает надежда и затихает жизнь, Джис-Ук узнала, что ее кредит прекращен. Этим она была обязана Томпсону, который, потирая руки, ходил взад и вперед по комнате, поглядывая на дом Джис-Ук и ждал. Ждать ему пришлось долго. Джис-Ук продала своих собак партии золотоискателей и стала платить за провизию наличными, а когда Томпсон отказался принимать от нее деньги, индейцы-тойаты покупали то, что ей было нужно, и ночью отвозили покупки к ней в дом.

В феврале по льду пришла первая почта, и Джон Томпсон прочел в отделе светских новостей сообщение пятимесячной давности о браке Нийла Боннера и Китти Шарон. Джис-Ук приоткрыла дверь, но не впустила Томпсона. Она выслушала то, что он пришел ей сказать, и гордо рассмеялась, — она не поверила. В марте, когда она была совсем одна, у нее родился сын. Этот крохотный огонек новой жизни преисполнил Джис-Ук восхищением и удивлением. А год спустя в этот же час Нийл Боннер сидел у другой кровати и восхищался другим огоньком жизни, вспыхнувшим на земле.

С земли сошел снег. Юкон освободился ото льда. Дни удлинились, потом снова стали короче. Деньги, вырученные за собак, кончились, и Джис-Ук вернулась к своему племени. Оч-Иш, удачливый охотник, предложил убивать дичь и ловить рыбу для нее и ее ребенка, если она выйдет за него замуж. То же предлагали и Имего, и Ха-Юю, и Уи-Нуч — смелые молодые охотники. Но Джис-Ук предпочла жить одна и сама добывать себе дичь и рыбу. Она шила мокасины, парки и рукавицы, теплые, прочные и красивые, расшитые бисером и украшенные пучками волос. Она продавала их золотоискателям, которых с каждым годом в стране становилось все больше и больше. Таким образом Джис-Ук смогла не только прокормить себя и ребенка, но и

откладывала деньги, и наступил день, когда «Красавица Юкона» увезла ее вниз по реке.

В Сент-Майкле она мыла посуду на кухне факторни. Служащие Компании недоумевали, кто эта красивая женщина с красивым ребенком, но они ни о чем не спрашивали, а она молчала. Перед самым закрытием навигации на Беринговом море Джис-Ук уехала на юг на случайно забредшей в Сент-Майкл шхуне охотников за котиками. Зимой она работала кухаркой в доме капитана Маркхейма на Уналяшке, а весной на шлюпе, груженном виски, отправилась еще дальше к югу, в Ситху. Позднее она появилась в Метлакатле, недалеко от святой Марии, расположенной в южной части Пенхендла. Там она работала на консервном заводе во время лова лосося. Когда наступила осень и рыбаки-сиваши собрались домой к проливу Пюджет, Джис-Ук с сыном устроилась на большое кедровое каноэ, где поместились уже две другие семьи. Вместе с ними Джис-Ук пробиралась сквозь лабиринты прибрежных островов Аляски и Канады. Наконец пролив Хуан-де-Фука остался позади, и Джис-Ук повела своего мальчугана за руку по мощеным улицам Снетла.

Там, на одном из перекрестков, где свистел ветер, она встретила Сэнди Макферсона. Он очень удивился, а когда выслушал ее рассказ, очень рассердился. Он рассердился бы еще больше, если бы знал о существовании Китти Шарон. Но о ней Джис-Ук не сказала ни слова: она не верила. Сэнди, который решил, что она попросту брошена, пытался отговорить ее от поездки в Сан-Франциско, где находилась резиденция Нийла Боннера. А не отговорив, взял на себя все хлопоты, купил ей билеты и посадил в вагон, улыбаясь ей на прощание и бормоча себе в бороду: «Подлость какая!»

В грохоте и лязге, днем и ночью, в непрерывной тряске от зари и до зари, то взлетая к зимним снегам, то ныряя в цветущие долины, огибая провалы, перепрыгивая пропасти, прорезая горы, Джис-Ук и ее мальчик неслись на юг. Но Джис-Ук не боялась стального коня, ее не оглушила могучая цивилизация соплеменников Нийла Боннера. Она только еще яснее почувствовала, каким чудом было то, что человек из этого богоподобного племени держал ее в своих объятиях. Не смутил ее и шумный хаос Сан-Франциско: суета пароходов, черный дым фабрик, грохот уличного движения. Она лишь осознала, как ничтожно убоги были и Двадцатая Миля, и тойатский поселок с вигвамами из оленьих шкур. Она смотрела на мальчишку, вцепившегося в ее руку, удивляясь тому, что такой человек был его отцом.

Расклатившись с извозчиком, запросившим с нее внятеро, Джис-Ук поднялась по каменным ступеням к парадной двери Нийла Боннера. Раскосый японец после долгого бесплодного разговора впустил ее и исчез. Она осталась в холле, который в простоте душевной приняла за комнату для гостей,— место, где хвастливо выставлены напоказ все сокровища хозяина. Стены и потолок были отделаны полированным красным деревом. Пол был гладким, как накатанный лед, и Джис-Ук, боясь поскользнуться, встала на одну из лежавших на нем шкур. В дальней стене зиял громадный камин. «Сколько, должно

быть, топлива берет!» — подумала она. Комнату заливал поток света, чуть смягченный цветными стеклами, а в глубине поблескивал мрамор статуй.

Но еще не то ей пришлось увидеть, когда раскосый слуга вернулся и повел ее в другую комнату, которую она не успела хорошенько рассмотреть, а потом в третью. Перед этими комнатами тускнела пышность холла. Казалось, в громадном доме нет конца подобным комнатам. Они были такие большие, такие высокие! В первый раз за все время ее охватило чувство благоговейного страха перед цивилизацией белых. Нийл, ее Нийл, жил в этом доме, дышал этим воздухом, спал здесь по ночам! То, что она видела, было красиво и приятно для глаз, но она чувствовала, что за всем этим скрываются мудрость и мощь. Здесь сила находила свое выражение в красоте, и эту силу она угадала сразу и безошибочно.

А затем в комнату вошла женщина, высокая, величественная, увенчанная короной сияющих, как солнце, волос. Движения ее были гармоничны, платье струилось, как песня, и она плыла навстречу Джис-Ук, как музыка над тихой водой. Джис-Ук сама была покорительницей сердец. Стоило только вспомнить Оч-Иша, и Имего, и Ха-Йо, и Уи-Нуча, не говоря уже о Нийле Боннере и Джоне Томпсоне и других белых, испытавших на себе ее власть. Но она увидела большие синие глаза идущей навстречу женщины, ее нежную, белую кожу, оценила ее, как может оценить мужчина, и почувствовала, что становится маленькой и ничтожной перед этой сияющей красотой.

— Вы хотели видеть моего мужа? — спросила женщина, и Джис-Ук изумилась звенящему серебру ее голоса. Эта женщина не кричала на рычащих волкоподобных собак, ее горло не привыкло к гортанной речи, не огрубело на ветру и морозе, в дыму лагерных костров.

— Нет, — медленно ответила Джис-Ук, старательно выбирая слова, чтобы показать свои познания в английском языке. — Я хочу видеть Нийла Боннера.

— Это мой муж, — улыбнулась женщина.

Так, значит, это была правда! Джон Томпсон не лгал в тот угрюмый февральский день, когда она гордо рассмеялась ему в лицо и захлопнула дверь. То же чувство, которое заставило ее когда-то опрокинуть Амоса Пентли к себе на колени и занести над ним нож, теперь неудержимо толкало ее броситься на эту женщину, повалить ее и вырвать жизнь из прекрасного тела. Мысли вихрем неслись в голове Джис-Ук, но она ничем себя не выдала, и Китти Боннер так и не узнала, как близка была она к смерти в эту минуту.

Джис-Ук кивнула в знак понимания, и Китти Боннер добавила, что Нийл должен вернуться с минуты на минуту. Потом они сели в удобные до неловкости кресла, и Китти попыталась занять свою необычную гостью разговором. Джис-Ук помогала ей, как могла.

— Вы встречались с моим мужем на Севере? — спросила Китти между прочим.

— Ага, я ему стираю, — ответила Джис-Ук. Ее английская речь начала стремительно ухудшаться.

— Это ваш мальчик? А у меня дочка.

Китти послала за своей девочкой; и, пока дети заводили знакомство, матери вели материнские разговоры и пили чай. Фарфор был такой тонкий, что Джис-Ук боялась раздавить свою чашку. В первый раз видела она такие изящные и хрупкие чашки. Мысленно она сравнила их с женщиной, разливавшей чай, и тут же невольно вспомнила деревянные и жестяные фляги тойатов, грубые глиняные кружки Двадцатой Милл и сравнила их с собой. В таких образах рисовалась Джис-Ук дилемма. Она признала себя побежденной.

Нашлась другая женщина, более достойная стать матерью детей Нийла. Как его племя превосходило ее племя, так женщины его племени превосходили ее. Они покоряли мужчин, как их мужчины покоряли мир. Джис-Ук взглянула на нежный румянец Китти Боннер и вспомнила свои обожженные солнцем щеки. Потом она перевела взгляд с темной руки на белую. Одну покрывали ссадины и мозоли от весла и рукоятки бича, а другая, не знавшая труда, была мягка и нежна, как рука новорожденного. И все-таки, несмотря на мягкость и внешнюю слабость этой женщины, Джис-Ук увидела в синих глазах ту же силу, которую она видела в глазах Нийла Боннера и в глазах соплеменников Нийла Боннера.

— Да это Джис-Ук! — сказал вошедший Нийл Боннер. Он сказал это спокойно, даже сердечно, пожимая ей обе руки, но в глазах его она увидела тревогу и поняла.

— Здравствуй, Нийл! — сказала она. — Как живешь?

— Хорошо, хорошо, Джис-Ук! — весело ответил он, тайком поглядывая на Китти и стараясь угадать, что произошло между ними. Но он знал свою жену и знал, что ничего не прочтет на ее лице, даже если случилось самое худшее.

— Ну, я очень рад тебя видеть, — продолжал он. — Что произошло? Ты нашла жилу? А когда ты приехала?

— О-о-а, я приехала сегодня, — ответила она, бессознательно подчеркивая гортанные звуки. — Я не нашла. Нийл. Знаешь канитан Маркхейм, Уналяшка? Я стряпай его дом долго-долго. Деньги копи и вот много. Я решаю: хорошо посмотреть земля белых. Очень красиво земля белых! Очень красиво! — прибавила она.

Нийла удивила ее речь. Он и Сэнди старательно учили ее говорить по-английски, и она оказалась способной ученицей. А теперь она говорила, как ее сородичи. Ее лицо было простодушным, невозмутимо простодушным, и по нему ни о чем нельзя было догадаться. Спокойствие жены тоже сбивало Боннера с толку. Что произошло? Что было сказано? Что понято без слов?

Пока он пытался разрешить эти вопросы, а Джис-Ук пыталась разрешить свою дилемму (никогда он не был так прекрасен!), наступило молчание.

— Подумать только, что вы встречали моего мужа на Аляске! — тихо сказала Китти Боннер.

Встречала! Джис-Ук не могла удержаться от взгляда на сына, которого она родила ему. Нийл машинально взглянул влед за ней туда, где у окна играли дети. Казалось, железный обруч сдавил его

голову, а сердце молотом застучало в груди. Его сын! Ему и в голову не приходило!

Маленькая Китти Боннер, синеглазая, розовощекая, похожая в своем воздушном платье на сказочного эльфа, кокетливо протягивала губки, стараясь поцеловать мальчика. А он, худой и гибкий, обветренный, загорелый, в меховой одежде и расшитых, украшенных кисточками муклуках, заметно износившихся в пути, оставался невозмутимым, несмотря на все ее уловки. Он держался напряженно и прямо, как держатся дети дикарей. Чужестранец в чужой стране, он не был ни смущен, ни испуган и напоминал дикого зверька, молчаливого и настороженного. Черные глаза его скользили по лицам, и чувствовалось, что он спокоен, пока все спокойно, но при малейшем признаке опасности он прыгнет и будет кусаться и царапаться, борясь за свою жизнь.

Контраст между детьми был огромен, но мальчик не вызывал жалости,— в этом потомке Шпака, О'Брайена и Боннера было слишком много силы. Его черты, медальные в своей почти классической строгости, таили мужество и энергию его отца, деда и Шпака, прозванного Жирным, который был захвачен Людьюми Моря и бежал на Камчатку.

Нийл Боннер старался побороть свое чувство, душил его и улыбался приветливой, добродушной улыбкой, которой встречают друзья.

— Твой мальчик, а, Джис-Ук? — сказал он и добавил, обращаясь к Китти: — Красивый паренек! Уверен, что он далеко пойдет, когда вырастет.

Китти кивнула.

— Как тебя зовут? — спросила она.

Юный дикарь пылливо оглядел ее, стараясь понять, зачем его об этом спрашивают.

— Нийл, — неторопливо ответил он, удовлетворенный результатами осмотра.

— Индеец говори, — вмешалась Джис-Ук, тут же изобретая новый язык. — Он, индеец, говори «ни-эл», то же самое — «сухарь». Был маленький, люби сухарь, проси сухарь, все говори: «ни-эл, ни-эл». А я скажи — так его звать. Вот и зовут Нийл.

Эта ложь Джис-Ук прозвучала чудесной музыкой в ушах Нийла Боннера. Вот чем объяснялось спокойствие Китти.

— А его отец? — спросила Китти. — Красивый человек, наверное?

— О-о-о-а, да, — был ответ. — Его отец красивый, да.

— Ты знал его, Нийл? — заинтересовалась Китти.

— Знал? Очень близко, — ответил Нийл. И перед его глазами встала угрюмая Двадцатая Миля и человек, окруженный безмолвием, наедине со своими мыслями.

Здесь можно было бы кончить историю Джис-Ук, но остается еще рассказать, как она увенчала свою великую жертву. Когда она вернулась на Север и вновь поселилась в своем большом доме, Джон Томпсон узнал, что Компания постарается в дальнейшем обойтись без его услуг. Новый агент, как и все его преемники, получил указание отпускать женщине по имени Джис-Ук любые товары и провизию

в том количестве, какое она пожелает, не требуя никакой оплаты. Кроме того, Компания стала выплачивать женщине по имени Джис-Ук ежегодную пенсию в размере пяти тысяч долларов.

Когда мальчик подрос, им занялся отец Шампро, и вскоре на имя Джис-Ук стали регулярно приходить письма из незуитского колледжа в Мэриленде. Позже эти письма приходили из Италии, а еще позже — из Франции. А потом на Аляску приехал некий отец Нийл, который принес много пользы родной стране и в конце концов, расширив поле своей деятельности, достиг высокого положения в ордене.

Джис-Ук была еще молода, когда она вернулась на Север, и мужчины по-прежнему заглядывались на нее. Но она жила честно, и о ней можно было услышать только хорошее. Некоторое время она пробыла у добрых сестер в миссии Святого креста. Там она научилась читать и писать и узнала кое-что о лечении болезней. А затем она вернулась в свой большой дом и собирала там девочек из той-атской деревни, чтобы показать им путь в жизни. Эту школу в доме, который Нийл Боннер построил для Джис-Ук, своей жены, нельзя назвать ни протестантской, ни католической; но миссионеры всех толков равно одобряют ее. Зимой и летом дверь ее всегда отперта, и утомленные золотонкатели и измученные путники сворачивают с дороги, чтобы отдохнуть и согреться у очага Джис-Ук. А Китти Боннер, которая живет на юге, в Штатах, одобряет интерес своего мужа к вопросам образования на Аляске и те солидные суммы, которые он жертвует на эти цели; и хотя она частенько посмеивается и дразнит его, в глубине души она еще больше им гордится.

## ЛИГА СТАРИКОВ

В Казармах судили человека, речь шла о его жизни и смерти. Это был старик индеец с реки Белая Рыба, впадающей в Юкон пониже озера Ла-Барж. Его дело взволновало весь Доусон, и не только Доусон, но и весь Юконский край на тысячу миль в обе стороны по течению. Пираты на море и грабители на земле, англосаксы издавна несли закон покоренным народам, и закон этот подчас был суров. Но тут, в деле Имбера, закон впервые показался и мягким, и снисходительным. Он не предусматривал такой кары, которая, с точки зрения простой арифметики, соответствовала бы совершенным преступлениям. Что преступник заслуживает высшей меры наказания, в этом не могло быть никаких сомнений; но, хотя такой мерой была смертная казнь, Имбер мог полатиться лишь одной своей жизнью, в то время как на его совести было множество жизней.

В самом деле, руки Имбера были обогреты кровью столько людей, что точно сосчитать его жертвы оказалось невозможно. Покуривая трубку на привале в пути или бездельничая у печки, жители края прикидывали, сколько же приблизительно людей загубил этот старик. Все, буквально все эти несчастные жертвы были белыми, — они гибли и поодиночке, и по двое, и целыми группами. Убийства были так бессмысленны и беспричинны, что долгое время они оставались загадкой



для королевской конной полиции, даже тогда, когда на реках стали добывать золото и правительство доминиона прислало сюда губернатора, чтобы заставить край платить за свое богатство.

Но еще большей загадкой казалось то, что Имбер сам пришел в Доусон, чтобы отдать себя в руки правосудия. Поздней весной, когда Юкон ревел и метался в своих ледяных оковах, старый индеец свернул с тропы, проложенной по льду, с трудом поднялся по береговому откосу и, растерянно мигая, остановился на главной улице. Все, кто видел его появление, заметили, что он был очень слаб. Пошатываясь, он добрался до кучи бревен и сел. Он сидел здесь весь день, пристально глядя на бесконечный поток проходивших мимо белых людей. Многие с любопытством оглядывались, чтобы еще раз посмотреть на него, а кой у кого этот старик сиваш со странным выражением лица вызывал даже громкие замечания. Впоследствии десятки людей вспоминали, что необыкновенный облик индейца поразил их, и они до конца дней гордились своей пронизательностью и чутьем на все необыкновенное.

Однако настоящим героем дня оказался Маленький Диккенсен. Маленький Диккенсен явился в эти края с радужными надеждами и с пачкой долларов в кармане; но вместе с содержимым кармана растаяли и надежды, и, чтобы заработать на обратный путь в Штаты, он занял должность счетовода в маклерской конторе «Холбрук и Мэйсон». Как раз напротив конторы «Холбрук и Мэйсон» и лежала куча бревен, на которой уселся Имбер. Диккенсен заметил его, глянув в окно, перед тем как отправиться завтракать, а позавтракав и вернувшись в контору, он опять глянул в окно: старый сиваш по-прежнему сидел на том же месте.

Диккенсен то и дело поглядывал в окно, — потом он тоже гордился своей пронизательностью и чутьем на необыкновенное. Маленький Диккенсен был склонен к романтике, и в неподвижном старом язычнике он увидел некое олицетворение народа сивашей, с непроницаемым спокойствием взирающего на полчища англосаксонских захватчиков.

Часы шли за часами, а Имбер сидел все в той же позе, ни разу не пошевелившись, и Диккенсен вспомнил, как однажды посреди главной улицы остановились нарты, на которых вот так же неподвижно сидел человек; мимо него взад и вперед сновали прохожие, и все думали, что человек просто отдыхает, а потом, когда его тронули, оказалось, что он мертв и уже успел окоченеть — замерз посреди уличной толчеи. Чтобы труп выпрямить — иначе он не влез бы в гроб, — его пришлось тащить к костру и оттаивать. Диккенсену передернуло при этом воспоминании.

Немного погодя Диккенсен вышел на улицу выкурить сигару и проветриться, и тут-то через минуту появилась Эмили Трэвис. Эмили Трэвис была особой изысканной, утонченной, хрупкой и одевалась она — будь это в Лондоне или в Клондайке — так, как подобало дочери горного инженера, обладателя миллионов. Маленький Диккенсен положил свою сигару на выступ окна и приподнял над головой шляпу.

Минут десять они спокойно болтали, но вдруг Эмили Трэвис посмотрела через плечо Диккенсена и испуганно вскрикнула. Диккенсен

поспешно оглянулся и сам вздрогнул от испуга. Имбер перешел улицу и, точно мрачная тень, стоял совсем близко, впившись неподвижными глазами в девушку.

— Чего тебе надо? — храбро спросил Маленький Диккенсен не-твердым голосом.

Имбер, проворчав что-то, подошел вплотную к Эмили Трэвис. Он внимательно оглядел ее всю, с головы до ног, как бы стараясь ничего не пропустить. Особый интерес у него вызвали шелковистые каштановые волосы девушки и румяные щеки, покрытые нежным пушком, точно крыло бабочки. Он обошел ее вокруг, не отрывая от нее оценивающего взгляда, словно изучал стати лошади или устройство лодки. Вдруг он увидел, как лучи заходящего солнца просвечивают сквозь розовое ухо девушки, и остановился, заинтересованный. Потом он снова принялся осматривать ее лицо и долго, пристально вглядывался в ее голубые глаза. Опять проворчав что-то, он положил ладонь на руку девушки чуть пониже плеча, а другой своей рукой согнул ее в локте. Отвращение и удивление отразилось на лице индейца, с презрительным ворчанием он отпустил руку Эмили. Затем издал какие-то гортанные звуки, повернулся к девушке спиной и что-то сказал Диккенсену.

Диккенсен не мог понять, что он говорил, и Эмили Трэвис засмеялась. Имбер, хмуря брови, обращался то к Диккенсену, то к девушке, но они лишь качали головами. Он уже хотел отойти от них, как девушка крикнула:

— Эй, Джимми! Идите сюда!

Джимми приближался с другой стороны улицы. Это был рослый неуклюжий индеец, одетый по обычаю белых людей, в огромной широкополой шляпе, какие носят короли Эльдорадо. Запнятая и словно давясь каждым звуком, он стал говорить с Имбером. Джимми был родом ситха; на языке племени, живущих в глубине страны, он знал лишь самые простые слова.

— Он от племени Белая Рыба, — сказал он Эмили Трэвис. — Я понимаю его язык не очень хорошо. Он хочет видеть главный белый человек.

— Губернатора, — подсказал Диккенсен.

Джимми обменялся с человеком из племени Белая Рыба еще несколькими словами, и лицо его приняло озабоченное и недоуменное выражение.

— Я думаю, ему надо капитан Александер, — заявил Джимми. — Он говорит, он убил белый человек, белый женщина, белый мальчик, убил много-много белый человек. Он хочет умирать.

— Вероятно, сумасшедший, — сказал Диккенсен.

— Это что есть? — спросил Джимми.

Диккенсен, будто протыкая себе череп, приставил ко лбу палец и с силой покрутил им.

— Может быть, может быть, — сказал Джимми, поворачиваясь к Имберу, все еще требовавшему главного белого человека.

Подошел полчище из королевской конной полиции (в Клондайке она обходилась без коней) и услышал, как Имбер повторил свою прось-

бу. Полисмен был здоровенный детина, широкий в плечах, с мощной грудью и стройными, крепкими ногами; как ни высок был Имбер, полисмен на полголовы был выше его. Глаза у него были холодные, серые, взгляд твердый, в осанке чувствовалась та особая уверенность в своей силе, которая идет от предков и освящена веками. Великолепная мужественность полисмена еще более выигрывала от его молодости — он был совсем еще мальчик, и румянец на его гладких щеках вспыхивал с такой же быстротой, как на щеках юной девушки.

Лишь на полисмена и смотрел теперь Имбер. Какой-то огонь сверкнул в глазах индейца, как только он заметил на подбородке юноши рубец от удара саблей. Своей высохшей рукой он прикоснулся к бедру полисмена и ласково провел по его мускулистой ноге. Костяшками пальцев он постучал по его широкой груди, потом ошупал плотные мышцы, покрывавшие плечи юноши, словно кираса. Вокруг них уже толпились любопытные прохожие — золотонскатели, жители гор, пионеры девственных земель — все сыны длинноногой, широкоплечей расы. Имбер переводил взгляд с одного на другого, потом что-то громко сказал на языке племени Белая Рыба.

— Что он говорит? — спросил Диккенсен.

— Он сказал — все эти люди как один, как эта полисмен, — перевел Джимми.

Маленький Диккенсен был мал ростом, и потому он пожалел, что задал такой вопрос в присутствии мисс Трэвис. Полисмен посочувствовал ему и решил прийти на помощь.

— А пожалуй, у него что-то есть на уме. Я отведу его к капитану. Скажи ему, Джимми, чтобы он шел со мной.

Джимми снова стал давиться, а Имбер заворчал, но вид у него был весьма довольный.

— Спросите-ка его, Джимми, что он говорил и что думал, когда взял меня за руку?

Это сказала Эмили Трэвис, и Джимми перевел вопрос и получил ответ:

— Он говорил, вы не трусливый.

При этих словах Эмили Трэвис не могла скрыть своего удовольствия.

— Он говорил, вы не *скукум*, совсем не сильный, такой нежный, как маленький ребенок. Он может разорвать вас руками на маленькие куски. Он очень смеялся, очень удивлялся, как вы можете родить такой большой, такой сильный мужчина, как эта полисмен.

Эмили Трэвис нашла в себе мужество не опустить глаз, но щеки ее зарделись. Маленький Диккенсен вспыхнул, как маков цвет, и совершенно смутился. Юное лицо полисмена покраснело до корней волос.

— Эй, ты, шагай, — сказал он резко, раздвигая плечом толпу.

Так Имбер попал в Казармы, где он добровольно и полностью признался во всем и откуда больше уже не вышел.

Имбер выглядел очень усталым. Он был стар и ни на что не надеялся, и это было написано на его лице. Он уныло сгорбился, глаза его потускнели; волосы у него должны были быть седыми, но солнце

и непогода так выжгли и вытравпили их, что они свисали бесцветными, безжизненными космами. К тому, что происходило вокруг, он не проявлял никакого интереса. Комната была битком набита золотоискателями и охотниками, и зловещие раскаты их низких голосов отдавались у Имбера в ушах, точно рокот моря под сводами береговых пещер.

Он сидел у окна, и его безразличный взгляд то и дело останавливался на расстилавшемся перед ним тоскливом пейзаже. Небо затянуло облаками, сыпалась сизая изморось. На Юконе началось половодье. Лед уже прошел, и река заливала город. По главной улице туда и сюда плыли в лодках никогда не знающие покоя люди. То одна, то другая лодка сворачивала с улицы на залитый водой плац перед Казармами; потом, подплыв ближе, скрывалась из виду, и Имбер слышал, как она с глухим стуком наталкивалась на бревенчатую стену, а люди через окно влезали в дом. Затем было слышно, как эти люди, хлюпая ногами по воде, проходили нижним этажом и поднимались по лестнице. Сняв шляпы, в мокрых морских сапогах, они входили в комнату и смешивались с ожидавшей суда толпой.

И пока все эти люди враждебно разглядывали его, довольные тем, что он понесет свое наказание, Имбер смотрел на них и думал об их обычаях и порядках, об их недремлющем Законе, который был, есть и будет до окончания веков — в хорошие времена и в плохие, в наводнение и в голод, невзирая на беды, и ужас, и смерть. Так казалось Имберу.

Какой-то человек постучал по столу; разговоры прекратились, наступила тишина. Имбер взглянул на того, кто стучал по столу.казалось, этот человек обладал властью, но Имбер почувствовал, что на чальником над всеми и даже над тем, кто постучал по столу, был другой, широкоплечий человек, сидевший за столом чуть подале. Из-за стола поднялся еще один человек, взял много тонких бумажных листов и стал их громко читать. Перед тем как начать новый лист, он откашливался, а закончив его, слюнявил пальцы. Имбер не понимал, что говорил этот человек, но все другие понимали, и видно было, что они сердятся. Иногда они очень сердились, а однажды кто-то выругал его, Имбера, коротким гневным словом, но человек за столом, постукав пальцем, приказал ослушнику замолчать.

Человек с бумагами читал бесконечно долго. Под его скучный, монотонный голос Имбер задремал, и, когда чтение кончилось, он спал глубоким сном. Кто-то окликнул его на языке племени Белая Рыба, он проснулся и без всякого удивления увидел перед собой лицо сына своей сестры — молодого индейца, который уже давно ушел из родных мест и жил среди белых людей.

— Ты, верно, не помнишь меня, — сказал тот вместо приветствия.  
— Нет, помню, — ответил Имбер. — Ты Хаукап, ты давно ушел от нас. Твоя мать умерла.

— Она была старая женщина, — сказал Хаукап.  
Имбер уже не слышал его ответа, но Хаукап потряс его за плечо и разбудил снова.

— Я скажу тебе, что читал этот человек, — он читал обо всех преступлениях, которые ты совершил и в которых, о глупец, ты признался

капитану Александру. Ты должен подумать и сказать, правда это все или неправда. Так тебе приказано.

Хаукан жил у миссионеров и научился у них читать и писать. Сейчас он держал в руках те самые тонкие листы бумаги, которые прочитал вслух человек за столом,— в них было записано все, что сказал Имбер с помощью Джимми на допросе у капитана Александра. Хаукан начал читать. Имбер послушал немного, на лице его выразилось изумление, и он резко прервал его:

— Это мои слова, Хаукан, но они идут с твоих губ, а твои уши не слышали их.

Хаукан самодовольно улыбнулся и пригладил расчесанные на пробор волосы.

— Нет, о Имбер, они идут с бумаги. Мои уши не слышали их. Слова идут с бумаги и через глаза попадают в мою голову, а потом мои губы передают их тебе. Вот откуда они идут.

— Вот откуда они идут. Значит, они на бумаге? — благоговейным шепотом спросил Имбер и пощупал бумагу, со страхом глядя на покрывавшие ее знаки. — Это великое колдовство, а ты, Хаукан, настоящий кудесник.

— Пустяки, пустяки,— небрежно сказал молодой человек, не скрывая своей гордости.

Он наугад взял один из листов бумаги и стал читать:

— «В тот год, еще до ледохода, появился старик с мальчиком, который хромал на одну ногу. Их я тоже убил, и старик сильно кричал...»

— Это правда,— прервал задыхающимся голосом Имбер. — Он долго кричал и бился, никак не хотел умирать. Но откуда ты это знаешь, Хаукан? Тебе, наверно, сказал начальник белых людей? Никто не видел, как я убил, а рассказывал я только начальнику.

Хаукан с досадой покачал головой.

— Разве я не сказал тебе, о глупец, что все это написано на бумаге?

Имбер внимательно разглядывал испещренный чернильными значками лист.

— Охотник смотрит на снег и говорит: вот тут вчера пробежал заяц, вот здесь, в зарослях ивняка, он присел и прислушался, а потом испугался чего-то и побежал; с этого места он повернул назад, тут побежал быстро-быстро и делал большие скачки, а тут вот еще быстрее бежала рысь; здесь, где ее следы ушли глубоко в снег, рысь сделала большой-большой прыжок, тут она настигла зайца и перевернулась на спину; дальше идут следы одной рыси, а зайца уже нет. Как охотник глядит на следы на снегу и говорит, что тут было то, а тут это, так и ты глядишь на бумагу и говоришь, что здесь то, а там это и что все это сделал старый Имбер?

— Да, это так,— ответил Хаукан. — А теперь слушай хорошенько и придержи свой бабий язык, пока тебе не прикажут говорить.

И Хаукан долго читал Имберу его показания, а тот молча сидел, уйдя в свои мысли. Когда Хаукан смолк, Имбер сказал ему:

— Все это мои слова, и верные слова, Хаукан, но я стал очень стар, и только теперь мне вспоминаются давно уже забытые дела, о которых надо знать начальнику. Слушай. Раз из-за Ледяных Гор пришел человек, у него были хитрые железные капканы: он охотился за бобрами на реке Белая Рыба. Я убил его. Потом были еще три человека на реке Белая Рыба, которые искали золото. Их я тоже убил и бросил росомахам. И еще у Файв Фингерз я убил человека,— он плыл на плоту, и у него было припасено много мяса.

Когда Имбер умолкал на минуту, припоминая, Хаукан переводил его слова, а клерк записывал. Публика довольно равнодушно внимала этим бесхитростным рассказам, из которых каждый представлял собою маленькую трагедию, до тех пор, пока Имбер не рассказал о человеке с рыжими волосами и косым глазом, которого он сразил стрелой издалека.

— Черт побери,— произнес один из слушателей в передних рядах, горе и гнев звучали в его голосе. У него были рыжие волосы.— Черт побери,— повторил он,— да это же мой брат Билл!

И пока шел суд, в комнате время от времени раздавалось гневное «черт побери»,— ни уговоры товарищей, ни замечания человека за столом не могли заставить рыжеволосого замолчать.

Голова Имбера опять склонилась на грудь, а глаза словно подернулись пеленой и перестали видеть окружающий мир. Он ушел в свои размышления, как может размышлять лишь старость о беспредельной тщете порывов юности.

Хаукан растолкал его снова.

— Встань, о Имбер. Тебе приказано сказать, почему ты совершил такие преступления и убил этих людей, а потом пришел сюда в поисках Закона.

Имбер с трудом поднялся на ноги и, шатаясь от слабости, заговорил низким, чуть дрожащим голосом, но Хаукан остановил его.

— Этот старик совсем помешался,— обратился он по-английски к широколобому человеку.— Он, как ребенок, ведет глупые речи.

— Мы хотим выслушать его глупые речи,— заявил широколобый человек.— Мы хотим выслушать их до конца, слово за словом. Ясно тебе?

Хаукану было ясно. Имбер сверкнул глазами— он догадался, о чем говорил сын его сестры с начальником белых людей. И он начал свою исповедь— необычайную историю темнокожего патриота, которая заслуживала того, чтобы ее начертали на бронзовых скрижалях для будущих поколений. Толпа затихла, как замороженная, а широколобый судья, подперев голову рукой, слушал будто самую душу индейца, душу всей его расы. В тишине звучала лишь гортанная речь Имбера, прерываемая резким голосом переводчика, да время от времени раздавался, подобно господнему колоколу, удивленный возглас рыжеволосого: «Черт побери!»

— Я Имбер, из племени Белая Рыба,— переводил слова старика Хаукан; дикарь проснулся в нем, и полет цивилизации, привитой миссионерским воспитанием, сразу рассеялся, как только ухо его уловило в речи Имбера знакомый ритм и распев.— Мой отец был

Отсбаок, могучий воин. Когда я был маленьким мальчиком, теплое солнце грело нашу землю и радость согревала сердца. Люди не гнались за тем, чего не знали, не слушали чужих голосов, обычаи отцов были их обычаями. Юноши с удовольствием глядели на девушек, а девушек тешили их взгляды. Женщины кормили грудью младенцев, и чресла их были отягчены обильным приплодом. Племя росло, и мужчины в те дни были мужчинами. Они были мужчинами в дни мира и изобилия, мужчинами оставались в дни войны и голода.

В те времена было больше рыбы в воде, чем ныне, и больше дичи в лесу. Наши собаки были волчьей породы, им было тепло под толстой шкурой, и они не боялись ни стужи, ни урагана. И мы сами были такими же, как собаки,— мы тоже не боялись ни стужи, ни урагана. А когда люди племени пелли пришли на нашу землю, мы убивали их, и они убивали нас. Ибо мы были мужчинами, мы, люди племени Белая Рыба; наши отцы и отцы наших отцов сражались с племенем пелли и установили границы нашей земли.

Я сказал: бесстрашны были наши собаки, бесстрашны были и мы сами. Но однажды пришел к нам первый белый человек. Он полз по снегу на четвереньках — вот так. Кожа его была туго натянута, под кожей торчали кости. Мы никогда не видали такого человека, и мы удивлялись и гадали, из какого он племени и откуда пришел. Он слаб был, очень слаб, как маленький ребенок, и мы дали ему место у очага, подстлали ему теплые шкуры и накормили его, как кормят маленьких детей.

С ним пришла собака величиной с трех наших собак, она была тоже очень слаба. Шерсть у этой собаки была короткая и плохо грела, а хвост обморожен, так что конец у него отвалился. Мы накормили эту странную собаку, обогрели ее у очага и отогнали наших собак, иначе те разорвали бы ее.

От оленьего мяса и вяленой лососины к человеку и собаке понемногу вернулись силы, а набравшись сил, они растолстели и осмелели. Человек стал говорить громким голосом и смеяться над стариками и юношами и дерзко смотрел на девушек. А его собака дралась с нашими собаками, и, хотя шерсть у нее была мягкая и короткая, однажды она загрызла трех наших собак.

Когда мы спрашивали этого человека, из какого он племени, он говорил: «У меня много братьев» — и смеялся нехорошим смехом. А когда он совсем окреп, он ушел от нас, и с ним ушла Нода, дочь вождя. Вскоре после этого у нас ошенилась одна сука. Никогда мы не видали таких щенков — они были большоголовые, с сильными челюстями, с короткой шерстью и совсем беспомощные. Мой отец Отсбаок был могучий воин; и я помню, что, когда он увидел этих беспомощных щенков, лицо его потемнело от гнева, он схватил камень — вот так, а потом так — и щенков не стало. А через два года после этого вернулась Нода и принесла на руках маленького мальчика.

Так оно и началось. Потом пришел второй белый человек с короткошерстными собаками, он ушел, а собак оставил. Но он увел шесть самых сильных наших собак, за которых дал Ку-Со-Ти, брату

моей матери, удивительный пистолет — шесть раз подряд и очень быстро стрелял этот пистолет. Ку-Со-Ти был горд таким пистолетом и смеялся над нашими луками и стрелами, он называл их женскими игрушками. С пистолетом в руке он пошел на медведя. Теперь все знают, что не годится идти на медведя с пистолетом, но откуда нам было знать это тогда? И откуда мог знать это Ку-Со-Ти? Он очень смело пошел на медведя и быстро выстрелил в него из пистолета шесть раз подряд, а медведь только зарычал и раздавил грудь Ку-Со-Ти, как будто это было яйцо, и, как будто мед из пчелиного гнезда, растекаясь на земле его мозг. Он был умелый охотник, а теперь некому стало убивать дичь для его скво и детей. И мы все горевали, и мы сказали так: «Что хорошо для белых людей, то для нас плохо». И это правда. Белых людей много, белые люди толстые, а нас из-за них стало мало, и мы отощали.

И пришел третий белый человек, у него было много-много всякой удивительной пищи и всякого добра. Он сторговал у нас в обмен на эти богатства двадцать самых сильных наших собак. Он увел за собой, сманив подарками и обещаниями, десять наших молодых охотников, и никто не мог сказать, куда они ушли. Говорят, они погибли в снегах Ледяных Гор, где не бывал ни один человек, или на Холмах Безмолвия — за красом земли. Так это или не так, но племя Белой Рыбы никогда не видало больше этих собак и молодых охотников.

Еще и еще приходили белые люди, приносили подарки и уводили с собой наших юношей. Иногда юноши возвращались назад, и мы слушали их удивительные рассказы о тяготах и опасностях, которые им пришлось испытать в далеких землях, что лежат за землей племени пелли, а иногда юноши и не возвращались. И мы сказали тогда: «Если белые люди ничего не боятся, так это потому, что их много, а нас, людей Белой Рыбы, мало, и наши юноши не должны больше уходить от нас». Но юноши все-таки уходили, уходили и девушки, и гнев наш рос.

Правда, мы ели муку и соленую свинину и очень любили чай; но если у нас недоставало чая, это было очень плохо, — мы становились скупы на беседу и скоры на гнев. Так, мы начали тосковать о вещах, которые белые люди привозили, чтобы торговать с нами. Торговать! Торговать! Мы только и думали, что о торговле! Однажды зимой мы отдали всю убитую дичь за часы, которые не шли, за тупые пилы и пистолеты без патронов. А потом наступил голод, у нас не было мяса, и четыре десятка людей умерло, не дождавшись весны.

«Теперь мы ослабели, — говорили мы, — племя пелли нападет на нас и захватит нашу землю». Но беда пришла не только к нам, пришла она и к племени пелли — там тоже люди ослабели и не могли обитать с нами.

Мой отец Отебаок, могучий воин, был тогда очень стар и очень удр. И он сказал вождю такие слова: «Посмотри, наши собаки шкура не годятся. У них уже нет густой шерсти, они утратили свою силу, они не могут ходить в упряжке и окоченевают от мороза. Давай бьем их, оставим одних только сук полчней породы, а их отвяжем и



отпустим на ночь в лес, чтобы они там спаридись с дикими волками. И у нас опять будут сильные собаки с теплой шкурой».

И вождь послушался этих слов, и скоро племя Белой Рыбы прославилось своими собаками, лучшими во всем краю. Но только собаками — не людьми. Лучшие наши юноши и девушки уходили от нас с белыми людьми неведомо куда по дальним тропам и рекам. Девушки возвращались, как возвратилась Нода, хворыми и состарившимися, или не возвращались вовсе. А если возвращались юноши, то они недолго сидели у наших очагов. В своих странствиях они научились дурным речам и дерзким замашкам, пили дьявольское питье и день и ночь играли в карты; и по первому зову белого человека они вновь уходили в неведомые страны. Они забыли о долге уважения к старшим, никому не оказывали почета, они глумились над нашими старыми обычаями и смеялись в лицо и вождю, и шаманам.

Я сказал, что мы, люди племени Белая Рыба, стали слабыми и немощными. Меха и теплые шкуры мы отдавали за табак, виски и одежду из тонкой бумажной ткани, в которой мы дрожали от холода. На нас напал кашель, болели мужчины и женщины, они кашляли и обливались потом всю ночь напролет, а охотники, выйдя в лес, харкали на снег кровью. То у одного, то у другого шла горлом кровь, и от этого люди быстро умирали. Детей женщины рождали редко, и дети рождались хилые и хворые. Белые люди принесли нам и другие непонятные болезни, о которых мы никогда не слыхали. Мне говорили, что эти болезни называются оспой и корью, — мы гибли от них, как гибнут в тихих протоках лососи, когда они осенью кончат метать икру и им больше незачем жить.

И вот самое удивительное: белые люди приносили нам смерть, все их обычаи вели к смерти, смертельно было дыхание их поздрей, а сами они не знали смерти. У них и виски, и табак, и собаки с короткой шерстью; у них множество болезней: и оспа, и корь, и кашель, и кровохарканье; у них белая кожа, и они боятся стужи и урагана; у них глупые пистолеты, стреляющие шесть раз подряд. И, несмотря на все свои болезни, они жиреют и процветают, они наложили свою тяжелую руку на весь мир и попирают все народы. А их женщины, нежные, как маленькие дети, такие хрупкие на вид и такие крепкие на самом деле, — матери больших и сильных мужчин. И выходит, что изнеженность, и болезни, и слабость оборачиваются силой, могуществом и властью. Белые люди либо боги, либо дьяволы — я не знаю. Да и что могу я знать, я, старый Имбер из племени Белая Рыба? Я знаю одно: их невозможно понять, этих белых людей, землепроходцев и воинов.

Я сказал, что дичи в лесах становилось меньше и меньше. Это правда, что ружье человека — очень хорошее ружье и бьет далеко, но какая польза в ружье, если нет дичи? Когда я был мальчиком, на земле племени Белая Рыба лось попадался на каждом холме, а сколько каждый год приходило оленей карibu — этого не сосчитать. Теперь же охотник может идти по тропе десять дней, и ни один лось не порадует его глаз, а оленей карibu, которых раньше было не со-

считать, теперь не стало вовсе. Я говорю: хоть ружье и бьет далеко, но мало от него пользы, если нечего бить.

И я, Имбер, думал об этом, видя, как погибает племя Белая Рыба, погибает племя пелли и все остальные племена края,— они погибали, как погибла в лесах дичь. Я долго думал. Я беседовал с шаманами и мудрыми стариками. Чтобы людской шум не мешал мне думать, я уходил из селения подальше в лес, а чтобы тяжесть желудка не давила на меня и не притупляла мое зрение и слух, я перестал есть мясо. Долго я просиживал в лесу, забывая о сне, мои глаза ожидали знака, а мои чуткие уши старались уловить слово, которое должно было все разрешить. Один я выходил темной ночью на берег реки, где стонал ветер и плакала вода,— там, среди деревьев, я хотел встретить тени старых мудрецов, умерших шаманов и просить у них совета.

И в конце концов мне явилось видение — отвратительные собаки с короткой шерстью,— и я понял, что мне делать. По мудрости Отсбаока, моего отца и могучего вонна, наши собаки сохранили в чистоте свою волчью породу, и у них были теплые шкуры и хватало силы для того, чтобы ходить в упряжке. И вот я вернулся в селение и сказал свое слово воинам. «Белые люди — это племя, очень большое племя,— сказал я. — В их земле не стало больше дичи, и они пришли на нашу землю, чтобы присвоить ее. Они сделали нас слабыми, и мы гибнем. Они очень жадные люди. И вот на нашей земле уже не стало дичи, и, если мы хотим жить, нам надо сделать с ними то же, что мы сделали с их собаками».

И я сказал еще много слов, я предлагал драться. А люди Белой Рыбы слушали меня, и один сказал одно, а другой другое, кое-кто говорил совсем глупые слова, и ни от одного воина не услышал я слов отваги и войны. Юноши были трусливы и слабы, как вода, но я заметил, что в глазах молчаливо сидящих стариков вспыхнул огонь. И вечером, когда селение уснуло, тайком я позвал стариков в лес и там снова беседовал с ними. И мы пришли к согласию, мы вспомнили дни нашей юности, дни изобилия, и радости, и солнца, когда наша земля была свободна. Мы назвали друг друга братьями, мы дали слово строго хранить тайну и великой клятвой поклялись очистить нашу землю от злого племени, которое пришло к нам. Теперь ясно, что это было глупо, но как мы могли это знать тогда — мы, старики племени Белая Рыба?

И чтобы подать пример другим и воодушевить их, я совершил первое убийство. Я залег на берегу Юкона и дождался там канюэ с белыми людьми. В нем сидели двое, и, когда они увидели, что я встал и поднял руку, они изменили направление и стали грести к берегу. Но как только человек, сидевший на носу, поднял голову, чтобы узнать, чего мне нужно от него, моя стрела пронеслась по воздуху и вошла ему прямо в горло, и он узнал тогда, чего мне от него нужно. Другой человек, тот, что сидел на корме и правил, не успел приложить к плечу ружье, как я пронзил его своим копьём, два коня у меня еще оставались.

«Это первые,—сказал я подошедшим ко мне старикам.— Немного погодя мы объединим всех стариков всех племен, а потом и тех юношей, у которых есть еще в руках сила, и дело пойдет быстрее».

Потом мы бросили убитых белых людей в реку. А их каноэ — это было очень хорошее каноэ — мы сожгли, сожгли и все вещи, какие были в каноэ. Но прежде мы осмотрели эти вещи, а они были в кожаных сумках, и нам пришлось их распарывать ножами. В сумках было очень много бумаг — вроде тех, которые ты читал, о Хаукан, — и все они покрыты знаками; мы дивились на эти знаки и не могли понять их. Теперь я стал мудрее и понимаю их: это, как ты сказал мне, слова человека...

Едва Хаукан перевел рассказ об убийстве двух человек в каноэ, как наполнявшая комнату толпа заволновалась и зажужжала.

— Это почта, которая пропала в девяносто первом году! — раздался чей-то голос. — Ее везли Питер Джеймс и Дилэни; их обоих в последний раз видел Мэттьюз у озера Ла-Барж.

Клерк усердно записывал, и к истории Севера прибавилась новая глава.

— Мне осталось сказать немного,—медленно произнес Имбер.— На бумаге есть все, что мы совершили. Мы, старики, мы не понимали, что делали. Храня тайну, мы убивали и убивали; мы убивали хитро, ибо прожитые годы научили нас делать свое дело не спеша, но быстро. Однажды пришли к нам белые люди, они глядели на нас сердитыми глазами и говорили нам бранные слова, шести нашим юношам они заковали руки в железо и увели их с собой. Тогда мы поняли, что мы должны убивать еще хитрее и еще больше. И мы, старики, один за другим уходили вверх и вниз по реке в неведомые края. Для такого дела требовалась смелость. Хотя мы были стары и уже ничего не боялись, все же страх перед далекими, чужими краями — великий страх для стариков.

Так мы убивали — не торопясь и с большой хитростью. Мы убивали и на Чилкуте, и у Дельты, на горных перевалах и на морском берегу — везде, где только разбивал свою стоянку или прокладывал тропу белый человек. Да, белые люди умирали, но для нас это было бесполезно. Они все приходили и приходили из-за гор, их становилось все больше и больше, а нас, стариков, оставалось все меньше. Я помню, у Оленьего перевала разбил стоянку один белый человек. Этот человек был очень маленького роста, и три наших старика напали на него, когда он спал. На следующий день я наткнулся и на этого белого, и на стариков. Из всех четверых еще дышал один лишь белый человек, и у него даже хватило силы, пока он не умер, изругать и проклясть меня.

Так вот и было: сегодня погибнет один старик, а завтра другой. Иногда, уже спустя много времени, к нам доходила весть о смерти кого-нибудь из наших, а иногда и не доходила. А старики других племен были слабы и трусливы и не хотели помогать нам. Итак, сегодня погибал один старик, завтра другой — и вот остался только я. Я, Имбер, из племени Белая Рыба. Мой отец был Отсбаок, могучий воин. Теперь уже нет племени Белая Рыба. Я последний старик этого

племени. А юноши и молодые женщины ушли с нашей земли — кто к племени пелли, кто к племени Лососей, а больше всего — к белым людям. Я очень стар и очень устал, я напрасно боролся с Законом, и ты прав, Хаукан, я пришел сюда в поисках Закона.

— Ты поистине глупец, о Имбер,— сказал Хаукан.

Но Имбер уже не слышал, погрузившись в свои видения. Широколобый судья тоже был погружен в видения: перед его взором величественно проходила вся его раса — закованная в сталь, одетая в броню, устанавливающая законы и определяющая судьбы других народов. Он видел зарю ее истории, встающую багровыми отсветами над темными лесами и простором угрюмых морей. Он видел, как эта заря разгорается кроваво-красным пламенем, переходя в торжественный, сияющий полдень, видел, как за склоном, тронутым тенью, уходят в ночь багряные, словно кровью пропитанные пески... И за всем этим ему мерещился Закон, могучий и беспощадный, непреложный и грозный, более сильный, чем те ничтожные человеческие существа, которые действуют его именем или погибают под его тяжестью,— более сильный, чем он, судья, чье сердце просило о снисхождении.

## ТЫСЯЧА ДЮЖИН

Дэвид Расмунсен отличался предприимчивостью и, как многие, даже менее заурядные люди, был одержим одной идеей. Вот почему, когда трубный глас Севера коснулся его ушей, он решил спекулировать яйцами и все свои силы посвятил этому предпринятию. Он произвел краткий и точный подсчет, и будущее записалось и засверкало перед ним всеми цветами радуги. В качестве рабочей гипотезы можно было допустить, что яйца в Доусоне будут стоить не дешевле пяти долларов за дюжину. Отсюда неопровержимо следовало, что на одной тысяче дюжин в Столице Золота можно будет заработать пять тысяч долларов.

С другой стороны, следовало учесть расходы, и он их учел, как человек осторожный, весьма практический и трезвый, неспособный увлекаться и действовать очертя голову. При цене пятнадцать центов за дюжину тысяча дюжин яиц обойдется в сто пятьдесят долларов — сущие пустяки по сравнению с громадной прибылью. А если предположить — только предположить — такую баснословную дороговизну, что на дорогу и провоз яиц уйдет восемьсот пятьдесят долларов, все же, после того как он продаст последнее яйцо и ссылет в мешок последнюю щепотку золотого песка, на руках у него останется чистых четыре тысячи.

— Понимаешь, Альяма,— высчитывал он велух, сидя с женой в уютной столовой, заваленной картами, правительственными отчетами и путеводителями по Аляске,— понимаешь ли, расходы по-настоящему начинаются только с Дайи, а на дорогу до Дайи за глаза хватит пятидесяти долларов, даже если ехать первым классом. Ну-с, от Дайи до озера Линдерман индейцы-почтальщики берут по двенадцати центов с фунта, то есть двенадцать долларов с сотни фунтов,

а с тысячи — сто двадцать долларов. У меня будет, скажем, полторы тысячи фунтов, это обойдется в сто восемьдесят долларов; прикинем что-нибудь для верности — ну, хотя бы в двести. Один приезжий из Клондайка заверял меня честным словом, что лодку на Линдермане можно купить за триста долларов. Он же говорил, что нетрудно подыскать двух пассажиров, по сто пятьдесят долларов с головы, — значит, лодка обойдется даром, а кроме того, они будут помогать в пути. Ну... вот и все. В Доусоне я выгружаю яйца прямо на берег. Ну-ка, сколько же это всего получается?

— Пятьдесят долларов от Сан-Франциско до Дайи, двести от Дайи до Линдермана, за лодку платят пассажиры — значит, всего двести пятьдесят, — быстро подсчитала жена.

— Да еще сто на одежду и снаряжение, — радостно подхватил муж, — значит, пятьсот остается про запас, на экстренные расходы. А какие же там могут быть экстренные расходы?

Альма пожалала плечами и подняла брови. Если просторы Севера могут поглотить человека и тысячу дюжин яиц, они смогут поглотить и все его достояние. Так она подумала, но не сказала ничего. Она слишком хорошо знала Дэвида Расмунсена и потому предпочла промолчать.

— Если даже положить вдвое больше времени — на случайные задержки, — то на всю поездку уйдет два месяца. Подумай только, Альма! Четыре тысячи в два месяца! Не чета какой-то несчастной сотне в месяц, что я теперь получаю. Мы отстроимся заново, попросторнее, с газом во всех комнатах, с видом на море; а коттедж я сдам и из этих денег буду платить налоги, страховку и за воду, да и на руках кое-что останется. А может, еще нападу на жилу и вернусь миллионером. Скажи-ка, Альма, как по-твоему, ведь подсчет самый умеренный?

И Альма могла по совести ответить, что да. А кроме того, разве не привез один ее родственник — правда, очень дальний, паршивая овца в семействе и лодырь каких мало, — разве не привез он с таинственного Севера на сто тысяч золотого песка, не говоря уж о половинном пае на ту яму, из которой его добывали?

Соседний бакалейщик очень удивился, когда Дэвид Расмунсен, его постоянный покупатель, стал взвешивать яйца на весах в конце прилавка. Но еще больше удивился сам Расмунсен, обнаружив, что дюжина яиц весит полтора фунта, — значит, тысяча дюжин будет весить полторы тысячи фунтов! На одежду, одеяла и посуду не останется ровно ничего, не говоря уж о провизии, которая понадобится на дорогу. Все его расчеты рухнули, и он уже собирался высчитать все сначала, как вдруг ему пришло в голову взвесить яйца по-мелче.

— Крупные они или мелкие, а дюжина есть дюжина, — весьма здраво заметил он про себя и, прикинув на весах дюжину мелких яиц, нашел, что они весят фунт с четвертью. Вскоре по городу Сан-Франциско забегали озабоченные посыльные, а комиссионные конторы и торговцы молочными продуктами были удивлены неожиданным спросом на яйца весом не более двадцати унций дюжина.

Расмунсен заложил свой маленький коттедж за тысячу долларов, отправил жену гостить к ее родным, бросил работу и уехал на Север. Чтобы не выходить из сметы, он решился на компромисс и взял билет во втором классе, где из-за наплыва пассажиров было хуже, чем на палубе, и поздним летом, бледный и ослабевший, высадился со своим грузом в Дайе. Однако твердость походки и аппетит вернулись к нему в самом скором времени. Первый же разговор с индейцами-носильщиками укрепил его физически и закалил морально. Они запросили по сорок центов с фунта за переход в двадцать восемь миль, и не успел Расмунсен перевести дух от изумления, как цена дошла до сорока трех. Наконец пятнадцать дюжих индейцев, договорившись по сорок пять центов, стянули ремнями его тюки, но тут же снова развязали их, потому что какой-то крез из Скагуэя в грязной рубахе и рваных штанах, который загнал своих лошадей на Белом перевале и теперь делал последнюю попытку добраться до Доусона через Чилкут, предложил им по сорок семь.

Но Расмунсен проявил выдержку и за пятьдесят центов нашел носильщиков, которые двумя днями позже доставили его товар в целости и сохранности к озеру Линдерман. Однако пятьдесят центов за фунт — это тысяча долларов за тонну, и, после того как полторы тысячи фунтов съели весь его запасный фонд, он долго сидел на мысу Тантала, день за днем глядя, как свежевывструганные лодки одна за другой отправляются в Доусон. Надо сказать, что весь лагерь, где стояли лодки, был охвачен тревогой. Люди работали, как бешеные, с утра до ночи, напрягая все силы, — конопатили, смолили, сколачивали в лихорадочной спешке, которая объяснялась очень просто. С каждым днем снеговая линия спускалась все ниже и ниже с оголенных вершин, ветер налетал порывами, неся с собой то изморозь, то мокрый, то сухой снег, а в тихих заводях и у берегов нарастал молодой лед и с каждым часом становился все толще. Каждое утро измученные работой люди смотрели на озеро, не начавшись ли ледостав. Ибо ледостав означал бы, что надеяться больше не на что, — а они надеялись, что, когда на озерах закроется навигация, они уже будут плыть вниз по быстрой реке.

Душа Расмунсена терзалась тем сильнее, что он обнаружил трех конкурентов по яичной части. Правда, один из них, корогенький немец, уже разорился внистую и, ни на что больше не рассчитывая, сам перетаскивал обратно последние тюки товара; зато у двух других лодки были почти готовы и они ежедневно молили бога торговли и коммерции задержать еще хоть на день железную руку зимы. Но эта железная рука уже славилась страну. Снежная пурга занесла Чилкут, люди замерзали насмерть, и Расмунсен не заметил, как отморозил себе пальцы на ногах. Подвернулся было случай устроиться пассажиром в лодке, шурша галькой, как раз отчаливала от берега, но надо было дать двести долларов, а денег у него не осталось.

— Я так думал, вы погодить немножко, — говорил ему до чокнишвед, который именно здесь нашел свой Клондайк и оказался достаточно умен, чтоб понять это, — совсем немножко погодить, и я вам сделаю очень хороший лодка, верный слово.

Положившись на это слово, Расмунсен вернулся к озеру Кратер и там повстречал двух газетных корреспондентов, багаж которых был раскидан по всему перевалу, от Каменного Дома до Счастливого Лагерь.

— Да,— сказал он значительно. — У меня тысяча дюжин яиц уже доставлена к озеру Линдерман, а сейчас там кончатся конопатить для меня лодку. И я считаю, что мне повезло. Сами знаете, лодки нынче нарасхват, их ни за какие деньги не достанешь.

Корреспонденты с криком и чуть ли не с дракой стали навязываться Расмунсену в попутчики, махали у него перед носом долларовыми бумажками и совали в руки золотые. Он не желал ничего слушать, однако в конце концов поддался на уговоры и нехотя согласился взять корреспондентов с собой за триста долларов с каждого. Деньги они ему заплатили вперед. И покуда оба строчили в свои газеты сообщения о добром самаритянине, везущем тысячу дюжин яиц, этот добрый самаритянин уже торопился к шведу на озеро Линдерман.

— Эй, вы! Давайте-ка сюда эту лодку,— приветствовал он шведа, позвякивая корреспондентскими золотыми и жадно оглядывая готовое суденышко.

Швед флегматично смотрел на него, качая головой.

— Сколько вам за нее должны уплатить? Триста? Ладно, вот вам четыреста. Берите.

Он совал деньги шведу, но тот только пятился от него.

— Я думаль, нет. Я говорил ему, лодка готовый, можно брать. Вы погодить немножко...

— Вот вам шестьсот. Хотите берите, хотите нет. Последний раз предлагаю. Скажите там, что вышла ошибка.

Швед заколебался и наконец сказал:

— Я думаль, да.— И после этого Расмунсен видел его только один раз— когда он, отчаянно коверкая язык, пытался объяснить другим заказчикам, какая вышла ошибка.

Немец сломал ногу, поскользнувшись на крутом горном склоне у Глубокого озера, и, распродав свой товар по доллару за дюжину, на вырученные деньги нанял индейцев-носильщиков нести себя обратно в Дайю. Но остальные два конкурента отирались следом за Расмунсеном в то же утро, когда он со своими попутчиками отчалил от берега.

— У вас сколько?— крикнул ему один из них, худенький и маленький янки из Новой Англии.

— Тысяча дюжин,— с гордостью ответил Расмунсен.

— Ого! А у меня восемь сотен. Давайте спорить, что я обгону вас.

Корреспонденты предлагали Расмунсену денег взаймы, но он отказался, и тогда янки заключил пари с последним из конкурентов, могучим сыном волны, море и сушу выдавшим, который обещал показать им настоящую работу, когда понадобится. И показал, поставив большой брезентовый парус, отчего носовая часть лодки то и дело зарывалась в воду при каждом порыве ветра. Он первым вышел

из озера Линдерман, но не пожелал идти волоком и посадил перегруженную лодку на камни среди kloкочущих порогов. Расмунсен и янки, у которого тоже было двое пассажиров, перетаскивали груз на плечах, а потом перевели лодки порожняком через опасное место у озера Беннет.

Беннет — это озеро в двадцать пять миль длиной, узкая и глубокая воронка в горах, игралище бурь. Расмунсен переночевал на песчаной косе в верховьях озера, где было много других людей и лодок, направлявшихся к северу наперекор арктической зиме. Поутру он услышал свист южного ветра, который, набравшись холода среди снежных вершин и оледенелых ущелий, был здесь ничуть не теплее северного. Однако погода выдалась ясная, и янки уже огибал крутой мыс на всех парусах. Лодка за лодкой отплывали от берега, и корреспонденты с воодушевлением взялись за дело.

— Мы его догоним у Оленьего перевала, — уверяли они Расмунсена, когда паруса были поставлены и «Альму» в первый раз обдало ледяными брызгами.

Расмунсен всю свою жизнь побаивался воды, но тут он вцепился в рулевое весло, стиснул зубы и словно окаменел. Его тысяча дюжин была здесь же в лодке, он видел ее перед собой, прикрытую багажом корреспондентов, и в то же время, неизвестно каким образом, он видел перед собой и маленький коттедж, и закладную на тысячу долларов.

Холод был жестокий. Время от времени Расмунсен вытаскивал рулевое весло и вставлял другое, а пассажиры сбивали с весла лед. Водяные брызги замерзали на лету, и косая нижняя рея быстро обросла бахромой сосулек. «Альма» билась среди высоких волн и трещала по всем швам, но, вместо того чтобы вычерпывать воду, корреспондентам приходилось рубить лед и бросать его за борт. Отступать было уже нельзя. Началось отчаянное состязание с зимой, и лодки одна за другой бешено мчались вперед.

— Мы не сможем остановиться даже ради спасения души! — крикнул один из корреспондентов, стуча зубами, но не от страха, а от холода.

— Правильно! Держи ближе к середине, старик! — подтвердил другой.

Расмунсен ответил бессмысленной улыбкой. Скованные морозом берега были словно в мыльной пене, и, чтобы уйти от крупных валов, только и оставалось держаться ближе к середине озера — больше не на что было надеяться. Спустить парус — значило дать волне нагнать и захлестнуть лодку. Время от времени они обгоняли другие суденышки, бившиеся среди камней, а одна лодка у них на глазах налетела на порог. Маленькая шлюпка позади, в которой сидело двое, перевернулась вверх дном.

— Гляди в оба, старик! — крикнул тот, что стучал зубами.

Расмунсен ответил улыбкой и еще крепче ухватился за руль колючими руками. Двадцать раз волна догоняла квадратную корму «Альмы» и выносила ее из-под ветра, так что парус начинал полое-



каяться, и каждый раз, напрягая все свои силы, Расмунсен снова выравнивал лодку. Улыбка теперь словно примерзла к его лицу, и встревоженные корреспонденты смотрели на него со страхом.

Они пролетели мимо одинокой скалы, торчавшей в ста ярдах от берега. С вершины, заливаемой волнами, кто-то окликнул их диким голосом, на мгновение пересилив шум бури. Но в следующий миг «Альма» уже пронеслась дальше, и скала осталась позади, чернея среди волнующейся пены.

— С янки покончено! А где же моряк? — крикнул один из пассажиров.

Расмунсен посмотрел через плечо и поискал глазами черный парус. С час назад этот парус вынырнул из серой мглы с наветренной стороны, и теперь Расмунсен то и дело оглядывался и видел, что парус все близится и растет. Моряк, должно быть, успел заделать пробоины и теперь наверстывал потерянное время.

— Смотрите, нагоняет!

Оба пассажира перестали скалывать лед и тоже следили за черным парусом. Двадцать миль озера Беннет остались позади — было где разгуляться буре, подбрасывая водяные горы к небесам. То низвергаясь в бездну, то взлетая ввысь, словно дух бури, моряк промчался мимо. Огромный парус, казалось, подхватывал лодку с гребней волн, отрывал ее от воды и с грохотом швырял в зияющие провалы между волнами.

— Волне его не догнать.

— Сейчас зароется и носом в воду!

В ту же минуту черный брезент накрыло высоким гребнем волны. Вторая и третья волна прокатилась над этим местом, но лодка больше не появлялась. «Альма» промчалась мимо. Всплыли обломки весел, доски от ящиков. Высунулась рука из воды, косматая голова мелькнула на поверхности, ярдах в двадцати от «Альмы».

На время все замолкли. Как только показался другой берег озера, волны стали захлестывать лодку с такой силой, что корреспонденты уже не скалывали лед, а энергично вычерпывали воду. Даже и это не помогало, и, посоветовавшись с Расмунсеном, они принялись за багаж. Мука, бекон, бобы, одеяла, керосинка, веревка — все, что только попадалось под руку, полетело за борт. Лодка сразу отозвалась на это, — она черпала меньше воды и легче шла вперед.

— Ну и хватит! — сурово прикрикнул Расмунсен, как только они добрались до верхнего ящика с яйцами.

— Как бы не так! К черту! — огрызнулся тот, что стучал зубами. Они оба пожертвовали всем своим багажом, кроме записных книжек, фотоаппарата и пластинок. Корреспондент нагнулся, ухватился за ящик с яйцами и начал вытаскивать его из-под веревок.

— Брось! Брось, тебе говорят!

Расмунсен умудрился как-то выхватить револьвер и целился, локтем придерживая руль. Корреспондент вскопал на банку; он стоял, пошатываясь, и его лицо исказила злобная и угрожающая гримаса.

— Боже мой!

Это крикнул второй корреспондент, бросившись ничком на дно лодки. «Альму», о которой Расмунсен почти забыл в эту минуту, подхватил и завертел водоворот. Парус заполоскался, рея со страшной силой рванулась вперед и столкнула первого корреспондента за борт, переломив ему позвоночник. Мачта с парусом тоже рухнула за борт. Волна хлынула в лодку, потерявшую направление, и Расмунсен бросился вычерпывать воду.

В следующие полчаса мимо них пролетело несколько лодок, и маленьких, и таких, как «Альма», но все они, гонимые страхом, могли только мчаться вперед. Наконец десятитонный барк, рискуя погибнуть сам, спустил паруса с наветренной стороны и, тяжело повернувшись, подошел к «Альме».

— Назад! Назад! — завопил Расмунсен.

Но низкий планшир его лодки уже терся со скрежетом о грузный барк, и оставшийся в живых корреспондент карабкался на высокий борт. Расмунсен, словно кошка, сидел над своей тысячей дюжин на носу «Альмы», онемевшими пальцами стараясь связать два конца.

— Ползай! — закричал ему с барка человек с рыжими баками.

— У меня здесь тысяча дюжин яиц, — крикнул он в ответ. — Возьмите меня на буксир! Я заплачу!

— Ползай! — кричали ему хором.

Высокая волна с белым гребнем встала над самым барком и, перелестнув через него, наполовину затопила «Альму». Люди махнули рукой и, выругав Расмунсена как следует, подняли парус. Расмунсен тоже выругался в ответ и опять принялся вычерпывать воду. Мачта с парусом еще держалась на фалах и действовала, как якорь, помогая лодке сопротивляться волнам и ветру.

Тремя часами позже, весь закован, выбившись из сил и борючись как помешанный, но не бросая вычерпывать воду, Расмунсен пристал к скованному льдом берегу близ Оленьего перевала. Правительственный курьер и метис-проводник вдвоем вывели его из полосы прибой, спасли весь его груз и вытащили «Альму» на берег. Эти люди сжали из Доусона в рыбацкой лодке, но задержались в пути из-за бури. Они приоткрыли Расмунсена на ночь в своей палатке. Наутро путники двинулись дальше, но Расмунсен предпочел задержаться со своей тысячей дюжин яиц. И после этого по всей стране пошла молва о человеке, который везет тысячу дюжин яиц. Золотоноскатели, добравшись до места накануне ледостава, принесли с собой слух о том, что он в пути. Поседевшим старожилкам с Сороковой Мили и из Серкла, ветеранам с железными челюстями и заскорузлыми от бобов желудками при одном звуке его имени смутно, как сквозь сон, вспоминались щиплята и свежая зелень. Дайя и Скагуэй живо интересовались им и расспрашивали о нем каждого путника, одолевшего перевалы, а Доусон — золотой Доусон, стосковавшийся по яичнице, — волновался, и тревожился, и жадно ловил каждый слух об этом человеке.

Ничего этого Расмунсен не знал. На другой день после крушения он починил «Альму» и двинулся дальше. Резкий восточный ветер с озера Тагш дул ему в лицо, но он взялся за весла и мужественно

греб, хотя лодку то и дело относило назад, да вдобавок ему приходилось скалывать лед с обмерзших весел. Как полагается, «Альму» выбросило на берег у Уинди-Арм; три раза подряд Расмунсена захлестывало волной на Тагише и прибывало к берегу, а на озере Марш его захватил ледостав. «Альму» затерло льдом, но яйца остались целы. Он волок их две мили по льду до берега и там устроил потайной склад, который местные старожилы показывали желающим и через несколько лет после этого.

Пять сотен миль обледенелой земли отделяли его от Доусона, а водный путь был закрыт. Но Расмунсен словно окаменел и пустился обратно через озеро пешком. Что ему пришлось вытерпеть во время пути — имея при себе только одеяло, топор да горсточку бобов, — не дано знать простому смертному. Понять это может лишь путешественник по Арктике. Достаточно сказать, что на Чилкуте его застала пурга, и врач в Овечьем Лагере отнял ему два пальца на ноге. Однако Расмунсен не сдался и после этого; до пролива Пюджет он мыл посуду на «Павоне», а оттуда до Сан-Франциско шуровал уголь на пассажирском пароходе.

Совсем одичавшим и опустившимся человеком ввалился он в банкирскую контору, волоча ногу по блестящему паркету, и попросил денег под вторую закладную. Его впалые щеки просвечивали сквозь редкую бороду, глаза ушли глубоко в орбиты и горели холодным огнем, руки огрубели от холода и тяжелой работы, под ногти черной каймой набилась грязь и угольная пыль. Он бормотал что-то невнятное про яйца, торосистый лед, ветры и течения, но, когда ему отказались дать больше тысячи, речь его потеряла всякую связность, и можно было разобрать только, что дело идет о собаках и корме для собак, а также о мокалинах, лыжах и зимних тропах. Ему дали полторы тысячи, то есть гораздо больше, чем можно было дать под его коттедж, и все вздохнули с облегчением, когда он, с трудом подписав свою фамилию, вышел из комнаты.

Спустя две недели Расмунсен перевалил через Чилкут с тремя упряжками, по пяти собак в каждой. Одну упряжку вел он сам, остальные — два индейца-погонщика. У озера Марш они разобрали тайник и погрузили яйца на нарты. Но тропа еще не была проложена. Расмунсен ступил на лед, и на его долю пришлось труд утапывать снег и пробиваться через ледяные заторы на реках. На привале он часто видел позади дым костров, поднимавшийся тонкой струйкой в чистом воздухе, и удивлялся, почему эти люди не стараются обогнать его. Он был новичком в этих местах и не понимал, в чем дело. Не понимал он и своих индейцев, когда они пытались объяснить ему. Даже с их точки зрения это был тяжкий труд, но когда по утрам они упирались и отказывались двинуться со стоянки, он заставлял их братья за дело, грозя револьвером.

Провалившись сквозь лед у порогов Белой Лошади, Расмунсен опять отморозил себе ногу, очень чувствительную к холоду после первого обмороживания, и индейцы думали, что он сляжет. Но он пожертвовал одним из одеял и, сделав из него огромных размеров мо-

касин, похожий на ведро, по-прежнему шел за передними нартами. Это был тяжелый труд, и индейцы научились уважать Расмунсена, хотя и постукивали по лбу пальцем, многозначительно качая головой, когда он не мог этого видеть. Однажды ночью они пытались бежать, однако свист пуль, зарывавшихся в снег, образумил их, и они вернулись угрюмые, но покорные. После этого они сговорились убить Расмунсена, но он спал чутко, словно кошка, и ни днем, ни ночью им не представлялось удобного случая. Не раз они пытались растолковать ему значение струйки дыма позади, но он ничего не понял и только стал относиться к ним еще подозрительней. А если они хмурились или отлынивали от работы, он быстро унимал их, показывая револьвер, который всегда был у него под рукой.

Так оно и шло — люди были непокорны, собаки одиночки, трудная дорога выматывала силы. Он боролся с людьми, которые хотели бросить его, боролся с собаками, отгоняя их от янц, боролся со льдом, с холодом, с болью в ноге, которая все не заживала. Как только рана затягивалась, кожа на ней трескалась от мороза, и под конец на ноге образовалась язва, в которую можно было вложить кулак. По утрам, когда он впервые ступал на эту ногу, голова у него кружилась от боли, он чуть не терял сознание, но потом в течение дня боль обычно утихала и возобновлялась только к ночи, когда он забирался под одеяло и пробовал уснуть. И все же этот человек, бывший счетовод, полжизни просидевший за конторкой, работал так, что индейцы не могли угнаться за ним; даже собаки и те выдыхались раньше. Сам он не сознавал даже, сколько ему приходилось работать и терпеть. Он был человеком одной идеи, и эта идея, однажды возникнув, поработила его. На поверхности его сознания был Доусон, в глубине — тысяча дюжин янц, а его «я» витало где-то на полдороге между тем и другим, стараясь свести их в одной блистающей точке. Этой точкой были пять тысяч долларов — завершение его идеи и отправной пункт для новой, в чем бы она ни заключалась. Во всем остальном он был просто автомат. Он даже не сознавал, что в мире есть что-нибудь иное, видел окружающее смутно, как сквозь стекло, и относился к нему безразлично. Его руки работали с точностью заводной машины, так же работала и голова. Выражение его лица стало настолько напряженным, что пугало даже индейцев, и они удивлялись непонятному белому человеку, который сделал их своими рабами и заставлял так неразумно тратить силы.

А потом, когда они подошли к озеру Ле-Барж, снова ударили морозы, и холод межпланетных пространств поранил верхушку нашей планеты с силой шестидесяти с лишним градусов ниже нуля. Шагая с раскрытым ртом, чтобы легче дышать, Расмунсен застудил легкие, и весь остаток пути его мучил сухой, отрывистый кашель, усилившийся от дыма костров и от непосильной работы. На Тридцатимильной реке он наткнулся на большие поляны, прикрытые предательскими ледяными мостиками и обведенные каймой молодого льда, тонкой и ненадежной. На этот молодой лед нельзя было вставать, и индейцы колебались, но Расмунсен грозил им револьвером и шел вперед, невзирая ни на что. Однако на ледяных мостиках, хотя и

прикрытых снегом, можно еще было принимать меры предосторожности. Они переходили эти мостики на лыжах, держа в руках длинные шесты, на случай, если подломится лед, и, выбравшись на ту сторону, звали собак. И как раз на таком мостике, где провал посредине был незаметен под снегом, погиб один из индейцев. Он провалился в воду мгновенно и бесследно, как нож в сметану, и течение сразу увело его под лед.

В ту же ночь при бледном лунном свете убежал второй индеец. Расмунсен напрасно тревожил тишину выстрелами из револьвера, которым он орудовал с большей быстротой, чем сноровкой. Спустя тридцать шесть часов этот индеец добрался до полицейского поста на реке Большой Лосось.

— Чудная человек! Как сказать — голова набекрень, — объяснял переводчик изумленному капитану. — А? Ну да, рехнулась, совсем рехнулась. Говорит: яйца, яйца... Все про яйца! Понятно? Скоро сюда придет.

Прошло несколько дней, и Расмунсен явился на пост на трех нартах, связанных вместе, и со всеми собаками, соединенными в одну упряжку. Это было очень неудобно, и в тех местах, где дорога была плохая, он переводил нарты поочередно, хотя ценою геркулесовых усилий ему иногда удавалось перевести их не расцепляя. Расмунсена, по-видимому, нисколько не взволновало, когда капитан сказал ему, что его индеец пошел в Доусон и теперь, вероятно, находится где-нибудь между Селкерком и рекой Стюарт. Вполне безучастно выслушал он и сообщение, что полиция накатала тропу до Пелли; он дошел до того, что с фаталистическим равнодушием принимал все, что посылали ему стихи, как добро, так и зло. Зато когда ему сказали, что в Доусоне жестоко голодают, он усмехнулся, запряг своих собак и тронулся дальше.

Лишь на следующей остановке разъяснилась загадка дыма. Как только до Большого Лосося дошла весть, что тропа проложена до Пелли, дымная цепочка перестала следовать за Расмунсеном, и, сидя у своего одинокого костра, он видел пеструю вереницу нарт, пронесившихся мимо. Первыми проехали курьер и метис, которые вытаскивали его из озера Бенпет, затем нарты с почтой для Серкла, а за ними потянулись в Клондайк разношерстные искатели счастья. Собаки и люди выглядели свежими, отдохнувшими, а Расмунсен и его псы измучились и исхудали так, что от них оставались лишь кожа да кости. Люди из дымной цепочки работали один день из трех, отдыхая и набирая силы до того времени, когда можно будет пуститься в путь по наезженной тропе, а Расмунсен рвался вперед, с трудом проглатывая дорогу, изнуря своих собак, выматывая из них последние силы.

Его самого сломить было невозможно. Эти сытые, отдохнувшие люди любезно благодарили его за то, что он для них так старался, — благодарили, широко ухмыляясь и нагло посмеиваясь над ним; он понял теперь, в чем дело, но ничего им не ответил и даже не озлобился. Это ничего не меняло. Идея — суть, которая лежала в ее осно-

ве, — оставалась все та же. Он здесь, и с ним тысяча дюжин, а там Доусон; значит, все остается по-прежнему.

У Малого Лосося ему не хватило корма для собак; он отдал им свою долю, а сам до Селкерка питался одними бобами, крупными темными бобами, очень питательными, но такими грубыми, что его перегибало пополам от болей в желудке. На дверях фактории в Селкерке висело объявление, что пароходы не ходят вверх по Юкону вот уже два года; поэтому и провизия сильно вздорожала. Агент Компании предложил ему меняться: чашку муки за каждое яйцо, но Расмунсен только покачал головой и поехал дальше. Где-то за факторией ему удалось купить для собак мороженую конскую шкуру: торговцы скотом с Чилкута прирезали лошадей, а отбросы подобрала индейцы. Он, Расмунсен, тоже попробовал жевать шкуру, но щетина колола язвы во рту, и боль была невыносимая.

Здесь, в Селкерке, он повстречал первых предвестников голодного исхода из Доусона; беглецов становилось все больше, они являли собой печальное зрелище.

— Нечего есть! — вот что повторяли они хором. — Нечего есть, приходится уходить. Все молят бога, чтобы хоть к весне стало полегче. Мука стоит полтора доллара фунт, и никто ее не продает.

— Яйца? — переспросил один из них. — По доллару штука, только их совсем нет.

Расмунсен сделал в уме быстрый подсчет.

— Двенадцать тысяч долларов, — сказал он вслух.

— Что? — не понял встречный.

— Ничего, — ответил Расмунсен и погнался за собаками дальше.

Когда он добрался до реки Стюарт, в семидесяти милях от Доусона, пять собак у него погибли, остальные валились с ног. Сам Расмунсен тоже впрягся в постромки и тянул из последних сил. Но даже и так он едва делал десять миль в день. Его скулы и нос, много раз обмороженные, почернели, покрылись струньями; на него было страшно смотреть. Большой палец, который мерз больше других, когда приходилось держаться за поворотный шест, тоже был отморожен и болел. Ногу, по-прежнему обутую в огромный мокасн, сводила какая-то странная боль. Последние бобы, давно уже разделенные на порции, кончились у Шестидесятой Мили, но Расмунсен упрямо отказывался дотронуться до яиц. Он не мог допустить даже мысли об этом, она казалась ему святотатством; и так, шатаясь и падая, он проделал весь путь до Индейской реки. Тут щедрость одного старожилки и свежее мясо только что убитого лосося прибавили сил ему и собакам; добравшись до Эйсли, он воспрянул духом, беглец из Доусона, оставивший город пять часов назад, сказал ему, что он получит за каждое яйцо не меньше доллара с четвертью.

С сильно бьющимся сердцем Расмунсен подходил к крутому берегу, где стояло здание доусоновских Канарм; колени у него подгибались. Собаки так обезпели, что пришлось дать им передыхать, и дожидаясь, пока они отдохнут, он от слабости присовокупил к шесту. Мимо проходили каково-то чужое плечо, выдвинутое наружу ступи, в толстой медвежьей шубе. Он с любознательным изумлением на

Расмунсена, остановился и оценивающим взглядом окинул собак и связанные постромками нарты.

— Что у вас? — спросил он.

— Яйца, — с трудом выговорил Расмунсен хриплым голосом, чуть громче шепота.

— Яйца! Ура! Ура! — Человек подпрыгнул, бешено завертелся и пустился в пляс. — Не может быть! Это все яйца?

— Да, все.

— Послушайте, вы, верно, Человек с Тысячей Дюжин? — Он обошел Расмунсена кругом и посмотрел на него с другой стороны. — Нет, в самом деле! Это вы и есть?

Расмунсен не был в этом вполне уверен, но ответил утвердительно, и человек в шубе несколько успокоился.

— Сколько же вы за них хотите? — осторожно спросил он.

Расмунсен осмелел.

— Полтора доллара, — сказал он.

— Заметано! — поспешно ответил человек. — Давайте мне дюжину!

— Я... я хочу сказать, полтора доллара за штуку, — нерешительно объяснил Расмунсен.

— Ну да, я слышал. Давайте две дюжины. Вот песок.

Человек вытащил объемистый мешочек с золотом, толстый, как колбаса, и небрежно постучал им о шест. Расмунсен ощутил странную дрожь под ложечкой, щекотанье в ноздрях и почти непобедимое желание сесть и расплакаться. Но вокруг уже начинала собираться толпа любопытных, и покупатели один за другим требовали яиц. Весов у Расмунсена не было, но человек в медвежьей шубе принес весы и услужливо отвешивал песок, пока Расмунсен отпускал товар. Скоро началась толкотня и давка, поднялся шум. Каждый хотел купить и каждый требовал, чтобы ему отпустили первому. И чем больше волновалась толпа, тем спокойнее становился Расмунсен. Тут что-нибудь да не так. Неспроста они покупают яйца нарасхват, за этим что-нибудь да кроется. Умнее было бы сначала выждать и узнать цену. Может быть, яйцо теперь стоит уже два доллара. Во всяком случае, полтора доллара он всегда получит.

— Конец! — объявил он, распродав сотни две яиц. — Больше не продаю. Устал. Мне еще надо найти хижины; вот тогда приходите, поговорим.

Толпа охнула, но человек в медвежьей шубе поддержал Расмунсена. Двадцать четыре штуки мороженных яиц со стуком перекатывались в его объемистых карманах, и ему не было никакого дела до того, будут сыты остальные или нет. Кроме того, он видел, что Расмунсен едва стоит на ногах.

— Есть хижина недалеко от «Монте-Карло», второй поворот, сейчас же за углом, — сказал он, — окно там из соловых бутылок. Хижина не моя, мне только поручили ее слать. Цена десять долларов в день, и это еще дешево. Сейчас же и въезжайте, я к вам зайду потом. Не забудьте: вместо окна — бутылки.

— Тра-ла-ла! — пропел он минутой позже. — Пойду к себе есть яичницу и мечтать о доме.

По дороге Расмунсен вспомнил, что голоден, и зашел в лавку Компании запастись кое-какой провизией, а потом в мясную — купить бифштекс и вяленой рыбы для собак. Он сразу нашел хижину и, не распрягая собак, развел огонь и поставил кипятить кофе.

— Полтора доллара за штуку... Тысяча дюжин... Восемнадцать тысяч долларов! — твердил он вполголоса, хлопоча возле печки.

Когда он бросил бифштекс на сковородку, дверь скрипнула. Расмунсен обернулся. Это был человек в медвежьей шубе. Он вошел очень решительно, видимо, с какой-то определенной целью, но, взглянув на Расмунсена, словно растерялся, и лицо его выразило смущение.

— Вот что, послушайте... — начал он и замаялся.

Расмунсен подумал, уж не пришел ли он за квартирной платой.

— Послушайте, черт возьми! А ведь яйца-то, знаете ли, тухлые!

Расмунсен зашатался. Его словно огрели по лбу дубиной. Стены перекосились и заходили перед ним ходуном. Он протянул вперед руку и ухватился за печку, чтобы не упасть. Резкая боль и запах горелого мяса привели его в чувство.

— Понимаю, — с трудом выговорил он, роясь в кармане. — Вы хотите получить деньги обратно?

— Не в деньгах дело, — ответил человек в медвежьей шубе, — а нет ли у вас других яиц, посвежее?

Расмунсен покачал головой.

— Возьмите деньги обратно.

Но тот отказывался, пятясь к дверям.

— Я лучше приду потом, когда вы разберете товар, и обменяю на другие.

Расмунсен вкатил в дом колоду и внес ящики с яйцами. Он принялся за дело очень спокойно. Взял топорик и стал рубить яйца пополам, одно за другим. Половинки он внимательно разглядывал и бросал на пол. Сначала он брал яйца на выбор из разных ящиков, потом стал рубить подряд. Куча на полу все росла. Кофе перекипел и убежал, бифштекс подгорел, и комната наполнилась чадом. Он рубил без отдыха, не разгибая спины, пока не опустел последний ящик.

Кто-то постучался в дверь, еще раз постучался и вошел.

— Что такое тут творится? — спросил гость, останавливаясь у порога и оглядывая комнату.

Разрубленные яйца начали оттаивать от печного жара, и с каждой минутой вонь становилась все сильнее и сильнее.

— Должно быть, на пароходе испортились, — заметил вошедший.

Расмунсен уставился на него пустыми глазами.

— Я Мэррей, Большой Джим Мэррей, меня тут все знают, — отрекомендовался гость. — Мне сказали, что у вас испортился товар, предлагаю вам двести долларов за всю партию. Это, конечно, не то, что рыба, но для собак годится.

Расмунсен словно окаменел. Он не пошевелился.

— Подите к черту! — сказал он без всякого выражения.



— Да вы подумайте. Цена хорошая за такую тухлятину, все-таки лучше, чем ничего. Две сотни. Ну, так как же?

— Подите к черту,—негромко повторил Расмунсен,—убирайтесь вон!

Мэррей взглянул на него со страхом, потом тихонько вышел, пятясь задом и не сводя с Расмунсена глаз.

Расмунсен вышел за ним и распряг собак. Побросав им всю рыбу, которую купил, он отвязал и намотал на руку постромки от нарт. Потом вошел в дом и запер за собой дверь. От обуглившегося бифштекса в комнате стоял едкий чад. Расмунсен стал на койку, переброем постромки через стропила и прикинул длину на глаз. Должно быть, ему показалось, что коротко,—он поставил на койку табурет и влез на него. Сделав на конце постромок петлю, он просунул в нее голову, а другой конец закрепил. Потом отшвырнул табурет ногой.

## ЛЮБОВЬ К ЖИЗНИ

Прихрамывая, они спускались к речке, и один раз тот, что шел впереди, зашатался, споткнувшись посреди каменной россыпи. Оба устали и выбились из сил, и лица их выражали терпеливую покорность—след долгих лишений. Плечи им оттягивали тяжелые тюки, стянутые ремнями. Каждый из них нес ружье. Оба шли сгорбившись, низко нагнув голову и не поднимая глаз.

— Хорошо бы иметь хоть два патрона из тех, что лежат у нас в тайнике,—сказал один.

Голос его звучал вяло, без всякого выражения. Он говорил равнодушно, и его спутник, только что ступивший в молочно-белую воду, пениющуюся по камням, ничего ему не ответил.

Второй тоже вошел в речку вслед за первым. Они не разулись, хотя вода была холодная, как лед,—такая холодная, что ноги у них и даже пальцы на ногах онемели от холода. Местами вода захлестывала колени, и оба они пошатывались, теряя опору.

Второй спутник поскользнулся на гладком валуне и чуть не упал, но удержался на ногах, громко вскрикнув от боли. Должно быть, у него закружилась голова,—он пошатнулся и замахал свободной рукой, словно хватаясь за воздух. Справившись с собой, он шагнул вперед, но снова пошатнулся и чуть не упал. Тогда он остановился и посмотрел на своего спутника: тот все так же шел вперед, даже не оглядываясь.

Целую минуту он стоял неподвижно, словно раздумывая, потом крикнул:

— Слушай, Билл, я вывихнул ногу!

Билл ковылял дальше по молочно-белой воде. Он ни разу не оглянулся. Второй смотрел ему вслед, и, хотя его лицо оставалось по-прежнему тупым, в глазах появилась тоска, словно у раненого оленя.

Билл уже выбрался на другой берег и плелся дальше. Тот, что стоял посреди речки, не сводил с него глаз. Губы у него так сильно

дрожали, что шевелились жесткие рыжие усы над ними. Он облизнул сухие губы кончиком языка.

— Билл! — крикнул он.

Это была отчаянная мольба человека, попавшего в беду, но Билл не повернул головы. Его товарищ долго следил, как он неуклюжей походкой, прихрамывая и спотыкаясь, взбирается по отлогому склону к волнистой линии горизонта, образованной гребнем невысокого холма. Следил до тех пор, пока Билл не скрылся из виду, перевалив за гребень. Тогда он отвернулся и медленно обвел взглядом тот круг вселенной, в котором он остался один после ухода Билла.

Над самым горизонтом тускло светило солнце, едва видимое сквозь мглу и густой туман, который лежал плотной пеленой, без видимых границ и очертаний. Опираясь на одну ногу всей своей тяжестью, путник достал часы. Было уже четыре. Последние недели две он сбился со счета; так как стоял конец июля или начало августа, то он знал, что солнце должно находиться на северо-западе. Он взглянул на юг, соображая, что где-то там, за этими мрачными холмами, лежит Большое Медвежье озеро и что в том же направлении проходит по канадской равнине страшный путь Полярного круга. Речка, посреди которой он стоял, была притоком реки Коппермайн, а Коппермайн течет также на север и впадает в залив Коронации, в Северный Ледовитый океан. Сам он никогда не бывал там, но видел однажды эти места на карте Компании Гудзонова залива.

Он снова окинул взглядом тот круг вселенной, в котором остался теперь один. Картина была невеселая. Низкие холмы замыкали горизонт однообразной волнистой линией. Ни деревьев, ни кустов, ни травы — ничего, кроме беспредельной и страшной пустыни, — и в его глазах появилось выражение страха.

— Билл! — прошептал он и повторил опять: — Билл!

Он присел на корточки посреди мутного ручья, словно бескрайняя пустыня подавляла его своей несокрушимой силой, угнетала своим страшным спокойствием. Он задрожал, словно в лихорадке, и его ружье с плеском упало в воду. Это заставило его опомниться. Он пересилил свой страх, собрался с духом и, опустив руку в воду, нашарил ружье, потом передвинул тюк ближе к левому плечу, чтобы тяжесть меньше давила на больную ногу, и медленно и осторожно пошел к берегу, морщась от боли.

Он шел не останавливаясь. Не обращая внимания на боль, с отчаянной решимостью, он торопливо взбирался на вершину холма, за гребнем которого скрылся Билл, — и сам он казался еще более смешным и неуклюжим, чем хромой, едваковылявший Билл. Но с гребня он увидел, что в неглубокой долине никого нет! На него снова напал страх, и, снова поборов его, он передвинул тюк еще дальше к левому плечу и, хромя, стал спускаться вниз.

Дно долины было болотистое, вода пропитывала густой мох, словно губку. На каждом шагу она брызгала из-под ног, и подошва с хлопанием отрывалась от влажного мха. Стараясь идти по следам Билла, путник перебирался от озерка к озерку, по камням, торчавшим во мху, как островки.

Оставшись один, он не сбился с пути. Он знал, что еще немного — и он подойдет к тому месту, где сухие пихты и ели, низенькие и чахлые, окружают маленькое озеро Титчиничилли, что на местном языке означает: «Страна Маленьких Палок». А в озеро впадает ручей, и вода в нем не мутная. По берегам ручья растет камыш — это он хорошо помнил, — но деревьев там нет, и он пойдет вверх по ручью до самого водораздела. От водораздела начинается другой ручей, текущий на запад; он спустится по нему до реки Диз и там найдет свой тайник под перевернутым челноком, заваленным камнями. В тайнике спрятаны патроны, крючки и лески для удочек и маленькая сеть — все нужное для того, чтобы добывать себе пропитание. А еще там есть мука — правда, немного, и кусок грудинки, и бобы.

Билл подождет его там, и они вдвоем спустятся по реке Диз до Большого Медвежьего озера, а потом переправятся через озеро и пойдут на юг, все на юг, пока не доберутся до реки Маккензи. На юг, все на юг, — а зима будет догонять их, и быстрину в реке затянет льдом, и дни станут холодней, — на юг, к какой-нибудь фактории Гудзонова залива, где растут высокие, мощные деревья и где сколько хочешь еды.

Вот о чем думал путник, с трудом пробираясь вперед. Но как ни трудно было ему идти, еще труднее было уверить себя в том, что Билл его не бросил, что Билл, конечно, ждет его у тайника. Он должен был так думать, иначе не было никакого смысла бороться дальше, — оставалось только лечь на землю и умереть. И пока тусклый диск солнца медленно скрывался на северо-западе, он успел рассчитать — и не один раз — каждый шаг того пути, который предстоит проделать им с Биллом, уходя на юг от наступающей зимы. Он снова и снова перебирал мысленно запасы пищи в своем тайнике и запасы на складе Компании Гудзонова залива. Он ничего не ел уже два дня, но еще дольше он не ел досыта. То и дело он нагибался, срывал бледные болотные ягоды, клал их в рот, жевал и проглатывал. Ягоды были водянистые и быстро таяли во рту, — оставалось только горькое жесткое семя. Он знал, что ими не насытишься, но все-таки терпеливо жевал, потому что надежда не хочет считаться с опытом.

В девять часов он ушиб большой палец ноги о камень, пошатнулся и упал от слабости и утомления. Довольно долго он лежал на боку не шевелясь; потом высвободился из ремней, ისловко приподнялся и сел. Еще не стемнело, и в сумеречном свете он стал шарить среди камней, собирая клочки сухого мха. Набрав целую охапку, он развел костер — тлеющий, дымный костер — и поставил на него котелок с водой.

Он распаковал тюк и прежде всего сосчитал, сколько у него спичек. Их было шестьдесят семь. Чтобы не ошибиться, он пересчитал три раза. Он разделил их на три кучки и каждую завернул в пергамент; один сверток он положил в пустой кيسет, другой — за подкладку изношенной шапки, а третий — за пазуху. Когда он проделал все это, ему вдруг стало страшно; он развернул все три свертка и снова пересчитал. Спичек было по-прежнему шестьдесят семь.

Он просушил мокрую обувь у костра. От мскасин остались одни лохмотья, сшитые из одеяла носки прохудились насквозь, и ноги у него были стертые до крови. Лодыжка сильно болела, и он осмотрел ее: она распухла, стала почти такой же толстой, как колено. Он оторвал длинную полосу от одного одеяла и крепко-накрепко перевязал лодыжку, оторвал еще несколько полос и обмотал ими ноги, заменив этим носки и мокасины, потом выпил кипятку, завел часы и лег, укрывшись одеялом.

Он спал как убитый. К полуночи стемнело, но ненадолго. Солнце взошло на северо-востоке — вернее, в той стороне начало светать, потому что солнце скрывалось за серыми тучами.

В шесть часов он проснулся, лежа на спине. Он посмотрел на серое небо и почувствовал, что голоден. Повернувшись и приподнявшись на локте, он услышал громкое фырканье и увидел большого оленя, который настороженно и с любопытством смотрел на него. Олень стоял от него шагах в пятидесяти, не больше, и ему сразу представился запах и вкус оленины, шипящей на сковородке. Он невольно схватил незаряженное ружье, прицелился и нажал курок. Олень всхрапнул и бросился прочь, стуча копытами по камням.

Он выругался, отшвырнул ружье и со стоном попытался встать на ноги. Это удалось ему с большим трудом и нескоро. Суставы у него словно заржавели, и согнуться или разогнуться стоило каждый раз большого усилия воли. Когда он наконец поднялся на ноги, ему понадобилась еще целая минута, чтобы выпрямиться и стать прямо, как полагается человеку.

Он взобрался на небольшой холмик и осмотрелся кругом. Ни деревьев, ни кустов — ничего, кроме серого моря мхов, где лишь изредка виднелись серые валуны, серые озерки и серые ручьи. Небо тоже было серое. Ни солнечного луча, ни проблеска солнца! Он потерял представление, где находится север, и забыл, с какой стороны он пришел вчера вечером. Но он не сбился с пути. Это он знал. Скоро он придет в Страну Маленьких Палок. Он знал, что она где-то налево, недалеко отсюда — быть может, за следующим пологим холмом.

Он вернулся, чтобы увязать свой тюк по-дорожному; проверил, целы ли его три свертка со спичками, но не стал их пересчитывать. Однако он остановился в раздумье над плоским, туго набитым мешочком из оленьей кожи. Мешочек был невелик, он мог поместиться между ладонями, но весил пятнадцать фунтов — столько же, сколько все остальное, — и это его тревожило. Наконец он отложил мешочек в сторону и стал свертывать тюк; потом взглянул на мешочек, быстро схватил его и вызывающе оглянулся по сторонам, словно пустыня хотела отнять у него золото. И когда он поднялся на ноги и пошел дальше, мешочек лежал в тюке у него за спиной.

Он свернул налево и пошел, время от времени останавливаясь и срывая болотные ягоды. Нога у него одеревенела, он стал хромать сильнее, но эта боль ничего не значила по сравнению с болью в желудке. Голод мучил его невыносимо. Боль все грызла и грызла его, и он уже не понимал, в какую сторону надо идти, чтобы добраться

до Страны Маленьких Палок. Ягоды не утоляли грызущей боли, от них только щипало язык и небо.

Когда он дошел до небольшой ложбины, навстречу ему с камней и кочек поднялись белые куропатки, шелестя крыльями и крича: кр, кр, кр... Он бросил в них камнем, но промахнулся. Потом, положив тук на землю, стал подкрадываться к ним ползком, как кошка подкрадывается к воробьям. Штаны у него порвались об острые камни, от колен тянулся кровавый след, но он не чувствовал этой боли,— голод заглушил ее. Он полз по мокрому мху; одежда его намочилась, тело зябло, но он не замечал ничего, так сильно терзал его голод. А белые куропатки все вспархивали вокруг него, и наконец это «кр, кр» стало казаться ему насмешкой; он выругал куропаток и начал громко передразнивать их крик.

Один раз он чуть не наткнулся на куропатку, которая, должно быть, спала. Он не видел ее, пока она не вспорхнула ему прямо в лицо из своего убежища среди камней. Как ни быстро вспорхнула куропатка, он успел схватить ее таким же быстрым движением — и в руке у него осталось три хвостовых пера. Глядя, как улетает куропатка, он чувствовал к ней такую ненависть, будто она причинила ему страшное зло. Потом он вернулся к своему туюку и взвалил его на спину.

К середине дня он дошел до болота, где дичи было больше. Слово дразня его, мимо прошло стадо оленей, голов в двадцать,— так близко, что их можно было подстрелить из ружья. Его охватило дикое желание бежать за ними, он был уверен, что догонит стадо. Навстречу ему попала черно-бурая лисица с куропаткой в зубах. Он закричал. Крик был страшен, но лисица, отскочив в испуге, все же не выпустила добычи.

Вечером он шел по берегу мутного от извести ручья, поросшего редким камышом. Крепко ухватившись за стебель камыша у самого корня, он выдернул что-то вроде луковицы, не крупнее обойного гвоздя. Луковица оказалась мягкой и аппетитно хрустела на зубах. Но волокна были жесткие, такие же водянистые, как ягоды, и не насыщали. Он сбросил свою поклажу и на четвереньках пополз в камыши, хрустя и чавкая, словно жвачное животное.

Он очень устал, и его часто тянуло лечь на землю и уснуть; но желание дойти до Страны Маленьких Палок, а еще больше голод не давали ему покоя. Он искал лягушек в озерах, копал руками землю в надежде найти червей, хотя знал, что так далеко на Севере не бывает ни червей, ни лягушек.

Он заглядывал в каждую лужу и наконец с наступлением сумерек увидел в такой луже одну-единственную рыбку величиной с пескаря. Он опустил в воду правую руку по самое плечо, но рыба от него ускользнула. Тогда он стал ловить ее обеими руками и поднял всю муть со дна. От волнения он оступился, упал в воду и вымок до пояса. Он так замутил воду, что рыбку нельзя было разглядеть, и ему пришлось дожидаться, пока муть оседет на дно.

Он опять принялся за ловлю и ловил, пока вода опять не замутилась. Больше ждать он не мог. Отвязав жестяное ведерко, он на-

чал вычерпывать воду. Сначала он вычерпывал с яростью, весь облился и выплескивал воду так близко к луже, что она стекала обратно. Потом стал черпать осторожнее, стараясь быть спокойным, хотя сердце у него сильно билось и руки дрожали. Через полчаса в луже почти не осталось воды. Со дна уже ничего нельзя было зачерпнуть. Но рыба исчезла. Он увидел незаметную расщелину среди камней, через которую рыбка проскользнула в соседнюю лужу, такую большую, что ее нельзя было вычерпать и за сутки. Если б он заметил эту щель раньше, он с самого начала заложил бы ее камнем, и рыба досталась бы ему.

В отчаянии он опустился на мокрую землю и заплакал. Сначала он плакал тихо, потом стал громко рыдать, будя безжалостную пустыню, которая окружала его; и долго еще он плакал без слез, сотрясаясь от рыданий.

Он развел костер и согрелся, выпив много кипятку, потом устроил себе ночлег на каменистом выступе, так же как и в прошлую ночь. Перед сном он проверил, не намокли ли спички, и завел часы. Одежда была сырая и холодные на ощупь. Вся нога горела от боли, как в огне. Но он чувствовал только голод, и ночью ему снились пиры, званые обеды и столы, заставленные едой.

Он проснулся озябший и больной. Солнца не было. Серые краски земли и неба стали темней и глубже. Дул резкий ветер, и первый снегопад выбелил холмы. Воздух словно сгустился и побелел, пока он разводил костер и кипятил воду. Это повалил мокрый снег большими влажными хлопьями. Сначала они таяли, едва коснувшись земли, но снег валил все гуще и гуще, застилая землю, и наконец весь собранный мох отсырел и костер погас.

Это было ему сигналом снова взвалить тюк на спину и брести вперед, неизвестно куда. Он уже не думал ни о Стране Маленьких Палок, ни о Билле, ни о тайнике у реки Диз. Им владело только одно желание: есть! Он помешался от голода. Ему было все равно, куда идти, лишь бы идти по ровному месту. Под мокрым снегом он ощутно искал водянистые ягоды, выдергивал стебли камыша с корнями. Но все это было пресно и не насыщало. Дальше ему повалась какая-то кислая на вкус травка, и он съел, сколько нашел, но этого было очень мало, потому что травка стлалась по земле и ее нелегко было найти под снегом.

В ту ночь у него не было ни костра, ни горячей воды, и он залез под одеяло и уснул тревожным от голода сном. Снег превратился в холодный дождь. Он то и дело просыпался, чувствуя, что дождь мочит ему лицо. Наступил день — серый день без солнца. Дождь перестал. Теперь чувство голода у путика приглушилось. Осталась тупая, ноющая боль в желудке, но это его не очень мучило. Мысли у него прояснились, и он опять думал о Стране Маленьких Палок и о своем тайнике у реки Диз.

Он разорвал остаток одеяла на полосы и обмотал стертые до крови ноги, потом перевязал большую ногу и приготовился к дневному переходу. Когда дело дошло до пока, он долго глядел на мешочек из оленьей кожи, но в конце концов захватил и его.

Дождь растопил снег, и только верхушки холмов оставались белыми. Проглянуло солнце, и путнику удалось определить стороны света, хотя теперь он знал, что сбился с пути. Должно быть, блуждая в эти последние дни, он отклонился слишком далеко влево. Теперь он свернул вправо, чтобы выйти на правильный путь.

Муки голода уже притупились, но он чувствовал, что ослаб. Ему приходилось часто останавливаться и отдыхать, собирая болотные ягоды и луковницы камыша. Язык у него распух, стал сухим, словно шерстистым, и во рту был горький вкус. А больше всего его донимало сердце. После нескольких минут пуги оно начинало безжалостно стучать, а потом словно подсакивало и мучительно трепетало, доводя его до удушья и головокружения, чуть не до обморока.

Около полудня он увидел двух пескарей в большой луже. Вычерпать воду было немыслимо, но теперь он стал спокойнее и ухитрился поймать их жестяным ведром. Они были с мизинец длиной, не больше, но ему не особенно хотелось есть. Боль в желудке все слабела, становилась все менее острой, как будто желудок дремал. Он съел рыбок сырыми, старательно их разжевывая, и это было чисто рассудочным действием. Есть ему не хотелось, но он знал, что это нужно, чтобы остаться в живых.

Вечером он поймал еще трех пескарей, двух съел, а третьего оставил на завтрак. Солнце высушило изредка попадавшие клочки мха, и он согрелся, вскипятив себе воды. В этот день он прошел не больше десяти миль, а на следующий, двигаясь только когда позволяло сердце,— не больше пяти. Но боли в желудке уже не беспокоили его; желудок словно уснул. Местность была ему теперь незнакома, олени попадались все чаще и волки тоже. Очень часто их вой доносился до него из пустынной дали, а один раз он видел трех волков, которые, крадучись, перебежали ему дорогу.

Еще одна ночь, и наутро, образумившись наконец, он развязал ремешок, стягивавший кожаный мешочек. Из него желтой струйкой посыпался крупный золотой песок и самородки. Он разделил золото пополам, одну половину спрятал на видном издалека выступе скалы, завернув в кусок одеяла, а другую всыпал обратно в мешок. Свое последнее одеяло он тоже пустил на обмотки для ног. Но ружье он все еще не бросал, потому что в тайнике у реки Диз лежали патроны.

День выдался туманный. В этот день в нем снова пробудился голод. Путник очень ослабел, и голова у него кружилась так, что по временам он ничего не видел. Теперь он постоянно спотыкался и падал, и однажды свалился прямо на гнездо куропатки. Там было четыре только что вылупившихся птенца, не старше одного дня; каждого хватило бы только на глоток; и он съел их с жадностью, запихивая в рот живыми: они хрустели у него на зубах, как яичная скорлупа. Куропатка-мать с громким криком летала вокруг него. Он хотел подшибить ее прикладом ружья, но она увернулась. Тогда он стал бросать в нее камнями и перебил ей крыло. Куропатка бросилась от него прочь, вспархивая и волоча перебитое крыло, но он не отставал.

Птенцы только раздражили его голод. Неуклюже подсакивая и припадая на больную ногу, он то бросал в куропатку камнями

и хрипло вскрикивал, то шел молча, угрюмо и терпеливо поднимаясь после каждого падения, и тер рукой глаза, чтобы отогнать головокружение, грозившее обмороком.

Погоня за куропаткой привела его в болотистую низину, и там он заметил человеческие следы на мокром мху. Следы были не его — это он видел. Должно быть, следы Билла. Но он не мог остановиться, потому что белая куропатка убегала все дальше. Сначала он поймаёт ее, а потом уже вернется и рассмотрит следы.

Он загнал куропатку, но и сам обессилел. Она лежала на боку, тяжело дыша, и он, тоже тяжело дыша, лежал в десяти шагах от нее, не в силах подползти ближе. А когда он отдохнул, она тоже собралась с силами и упорхнула от его жадно протянутой руки. Погоня началась снова. Но тут стемнело, и птица скрылась. Споткнувшись от усталости, он упал с тюком на спине и поранил себе щеку. Он долго не двигался, потом повернулся на бок, завел часы и пролежал так до утра.

Опять туман. Половину одеяла он израсходовал на обмотки. Следы Билла ему не удалось найти, но теперь это было неважно. Голод упорно гнал его вперед. Но что, если... если Билл тоже заблудился? К полудню он совсем выбился из сил. Он опять разделил золото, на этот раз просто высыпав половину на землю. К вечеру он выбросил и другую половину, оставив себе только обрывок одеяла, жестяное ведро и ружье.

Его начали мучить навязчивые мысли. Почему-то он был уверен, что у него остался один патрон, — ружье заряжено, он просто этого не заметил. И в то же время он знал, что в магазине нет патрона. Эта мысль неотвязно преследовала его. Он боролся с ней часами, потом осмотрел магазин и убедился, что никакого патрона в нем нет. Разочарование было так сильно, словно он и в самом деле ожидал найти там патрон.

Прошло около получаса, потом навязчивая мысль вернулась к нему снова. Он боролся с ней и не мог победить и, чтобы хоть чем-нибудь помочь себе, опять осмотрел ружье. По временам рассудок его мутился, и он продолжал брести дальше бессознательно, как автомат; странные мысли и нелепые представления точили его мозг, как черви. Но он быстро приходил в сознание, — муки голода постоянно возвращали его к действительности. Однажды его привело в себя зрелище, от которого он тут же едва не упал без чувств. Он покачнулся и зашатался, как пьяный, стараясь удержаться на ногах. Перед ним стояла лошадь. Лошадь! Он не верил своим глазам. Их завлакивал густой туман, пронизанный яркими точками света. Он стал яростно тереть глаза и, когда зрение прояснилось, увидел перед собой не лошадь, а большого бурого медведя. Зверь разглядывал его с недружелюбным любопытством.

Он уже вскинул было ружье, но быстро опомнился. Опустив ружье, он вытащил охотничий нож из нитых бисером ножен. Перед ним было мясо и — жизнь. Он провел большим пальцем по лезвию ножа. Лезвие было острое, и кончик тоже острый. Сейчас он бросится на медведя и убьет его. Но сердце заколотилось, словно предостерегая:



тук, тук, тук,— потом бешено подскочило кверху и дробно затрепетало; лоб сдавило, словно железным обручем, и в глазах потемнело.

Отчаянную храбрость смыло волной страха. Он так слаб — что будет, если медведь нападет на него? Он выпрямился во весь рост как можно внушительнее, выхватил нож и посмотрел медведю прямо в глаза. Зверь неуклюже шагнул вперед, поднялся на дыбы и зарычал. Если бы человек бросился бежать, медведь погнался бы за ним. Но человек не двинулся с места, осмелев от страха; он тоже зарычал, свирепо, как дикий зверь, выражая этим страх, который неразрывно связан с жизнью и тесно сплетается с ее самыми глубокими корнями.

Медведь отступил в сторону, угрожающе рыча, в испуге перед этим таинственным существом, которое стояло прямо и не боялось его. Но человек все не двигался. Он стоял как вкопанный, пока опасность не миновала, а потом, весь дрожа, словно в лихорадке, повалился на мокрый мох.

Собравшись с силами, он пошел дальше, терзаясь новым страхом. Это был уже не страх голодной смерти: теперь он боялся умереть насильственной смертью, прежде чем последнее стремление сохранить жизнь заглотнет в нем от голода. Кругом были волки. Со всех сторон в этой пустыне доносился их вой, и самый воздух вокруг дышал угрозой так неотступно, что он невольно поднял руки, отстраняя эту угрозу, словно полотнище колеблемой ветром палатки.

Волки по двое и по трое то и дело перебегали ему дорогу. Но они не подходили близко. Их было не так много; кроме того, они привыкли охотиться за оленями, которые не сопротивлялись им, а это странное животное ходило на двух ногах и, должно быть, царапалось и кусалось.

К вечеру он набрел на кости, разбросанные там, где волки настигли свою добычу. Час тому назад это был живой олененок, он резво бегал и мычал. Человек смотрел на кости, дочиста обглоданные, блестящие и розовые, оттого что в их клетках еще не угасла жизнь. Может быть, к концу дня от него останется не больше? Ведь такова жизнь, суетная и скоропреходящая. Только жизнь заставляет страдать. Умереть не больно. Умереть — уснуть. Смерть — это значит конец, покой. Почему же тогда ему не хочется умирать?

Но он не долго рассуждал. Вскоре он уже сидел на корточках, держа кость в зубах и высасывая из нее последние частицы жизни, которые еще окрашивали ее в розовый цвет. Сладкий вкус мяса, слышимый, неуловимый, как воспоминание, доводил его до бешенства. Он стиснул зубы крепче и стал грызть. Иногда ломалась кость, иногда его зубы. Потом он стал дробить кости камнем, размалывая их в кашу, и глотать с жадностью. Второпях он попадал себе по пальцам, и все-таки, несмотря на спешку, находил время удивляться, почему он не чувствует боли от ударов.

Наступили страшные дни дождей и снега. Он уже не помнил, когда останавливался на ночь и когда снова пускался в путь. Шел, не разбирая времени, и ночью, и днем, отдыхал там, где падал, и тащился вперед, когда угасавшая в нем жизнь всныживала и разго-

ралась ярче. Он больше не боролся, как борются люди. Это сама жизнь в нем не хотела гибнуть и гнала его вперед. Он не страдал больше. Нервы его притупились, словно оцепенели, в мозгу теснились странные видения, радужные сны.

Он не переставая сосал и жевал раздробленные кости, которые подобрал до последней крошки и унес с собой. Больше он уже не поднимался на холмы, не пересекал водоразделов, а брел по отлогому берегу большой реки, которая текла по широкой долине. Перед его глазами были только видения. Его душа и тело шли рядом, и все же порознь — такой тонкой стала нить, связывающая их.

Он пришел в сознание однажды утром, лежа на плоском камне. Ярко светило и пригревало солнце. Издали ему слышно было мычание оленят. Он смутно помнил дождь, ветер и снег, но сколько времени его преследовала непогода—два дня или две недели,—он не знал.

Долгое время он лежал неподвижно, и щедрое солнце лило на него свои лучи, напивая теплом его жалкое тело. «Хороший день»,— подумал он. Быть может, ему удастся определить направление по солнцу. Сделав мучительное усилие, он повернулся на бок. Там, внизу, текла широкая, медлительная река. Она была ему незнакома, и это его удивило. Он медленно следил за ее течением, смотрел, как она вьется среди голых, угрюмых холмов, еще более угрюмых и низких, чем те, которые он видел до сих пор. Медленно, равнодушно, без всякого интереса он проследил за течением незнакомой реки почти до самого горизонта и увидел, что она вливается в светлое блистающее море. И все же это его не взволновало. «Очень странно,— подумал он,— это или мираж, или видение, плод расстроенного воображения». Он еще более убедился в этом, когда увидел корабль, стоявший на якоре посреди блистающего моря. Он закрыл глаза на секунду и снова открыл их. Странно, что видение не исчезает! А впрочем, нет ничего странного. Он знал, что в сердце этой бесплодной земли нет ни моря, ни кораблей, так же как нет патронов в его незаряженном ружье.

Он услышал за своей спиной какое-то сопение — не то вздох, не то кашель. Очень медленно, преодолевая крайнюю слабость и оцепенение, он повернулся на другой бок. Поблизости он ничего не увидел и стал терпеливо ждать. Опять послышалось сопение и кашель, и между двумя островерхими камнями, не больше чем шагах в двадцати от себя, он увидел серую голову волка. Уши не торчали вверх, как это ему приходилось видеть у других волков, глаза помутнели и налились кровью, голова бессильно понурилась. Волк, верно, был болен: он все время чихал и кашлял.

«Вот это по крайней мере не кажется»,— подумал он и опять повернулся на другой бок, чтобы увидеть настоящий мир, не застланный теперь дымкой видений. Но море все так же сверкало в отдалении, и корабль был ясно виден. Быть может, это все-таки настоящее? Он закрыл глаза и стал думать — и в конце концов понял, в чем дело. Он шел на северо-восток, удаляясь от реки Диз, и попал в долину реки Коппермайн. Эта широкая, медлительная река и была Коппермайн. Это блистающее море — Ледовитый океан. Этот корабль —

китобойное судно, заплывшее далеко к востоку от устья реки Маккензи, оно стоит на якоре в заливе Коронации. Он вспомнил карту Компании Гудзонова залива, которую видел когда-то, и все стало ясно и понятно.

Он сел и начал думать о самых неотложных делах. Обмотки из одеяла совсем износились, и ноги у него были содраны до живого мяса. Последнее одеяло было израсходовано. Ружье и нож он потерял. Шапка тоже пропала и вместе с ней спички, спрятанные за подкладку, но спички в кисете за пазухой, завернутые в пергамент, остались целы и не отсырели. Он посмотрел на часы. Они все еще шли и показывали одиннадцать часов. Должно быть, он не забывал заводить их.

Он был спокоен и в полном сознании. Несмотря на страшную слабость, он не чувствовал никакой боли. Есть ему не хотелось. Мысль о еде была даже неприятна ему, и все, что он ни делал, делалось им по велению рассудка. Он оторвал штанины до колен и обвязал ими ступни. Ведерко он почему-то не бросил: надо будет выпить кипятку, прежде чем начать путь к кораблю — очень тяжелый, как он предвидел.

Все его движения были медленны. Он дрожал, как в параличе. Он хотел набрать сухого мха, но не смог подняться на ноги. Несколько раз он пробовал встать и в конце концов пополз на четвереньках. Один раз он подполз очень близко к больному волку. Зверь неохотно посторонился и облизнул морду, насилу двигая языком. Человек заметил, что язык был не здорового, красного цвета, а желтовато-бурый, покрытый полусохшей слизью.

Выпив кипятку, он почувствовал, что может подняться на ноги и даже идти, хотя силы его были почти на исходе. Ему приходилось отдыхать чуть не каждую минуту. Он шел слабыми, неверными шагами, и такими же слабыми, неверными шагами тащился за ним волк.

И в эту ночь, когда блистающее море скрылось во тьме, человек понял, что приблизился к нему не больше чем на четыре мили.

Ночью он все время слышал кашель больного волка, а иногда крики оленят. Вокруг была жизнь, но жизнь, полная сил и здоровья, а он понимал, что больной волк тащится по следам больного человека в надежде, что этот человек умрет первым. Утром, открыв глаза, он увидел, что волк смотрит на него тоскливо и жадно. Зверь, похожий на замороженную унылую собаку, стоял, понурив голову и поджав хвост. Он дрожал на холодном ветру и угрюмо оскаливал зубы, когда человек заговорил с ним голосом, упавшим до хриплого шепота.

Взошло яркое солнце, и все утро путник, спотыкаясь и падая, шел к кораблю на блистающем море. Погода стояла прекрасная. Это началось короткое бабье лето северных широт. Оно могло продержаться неделю, могло кончиться завтра или послезавтра.

После полудня он попал на след. Это был след другого человека, который не шел, а тащился на четвереньках. Он подумал, что это, возможно, след Билла, но подумал вяло и равнодушно. Ему было все равно. В сущности, он перестал что-либо чувствовать и волноваться. Он уже не ощущал боли. Желудок и нервы словно дремали. Однако

жизнь, еще теплившаяся в нем, гнала его вперед. Он очень устал, но жизнь в нем не хотела гибнуть; и потому, что она не хотела гибнуть, человек все еще ел болотные ягоды и пескарей, пил кипяток и следил за больным волком, не спуская с него глаз.

Он шел по следам другого человека, того, который тащился на четвереньках, и скоро увидел конец его пути: обглоданные кости на мокром мху, сохранившем следы волчьих лап. Он увидел туго набитый мешочек из оленьей кожи — такой же, какой был у него, — разорванный острыми зубами. Он поднял этот мешочек, хотя его ослабевшие пальцы не в силах были удержать такую тяжесть. Билл не бросил его до конца. Ха-ха! Он еще посмеется над Биллом. Он останется жив и возьмет мешочек на корабль, который стоит посреди блистающего моря. Он засмеялся хриплым, страшным смехом, похожим на карканье ворона, и больной волк вторил ему, уныло подвывая. Человек сразу замолчал. Как же он будет смеяться над Биллом, если это Билл, если эти бело-розовые, чистые кости — все, что осталось от Билла?

Он отвернулся. Да, Билл его бросил, но он не возьмет золота и не станет сосать кости Билла. А Билл стал бы, будь Билл на его месте, размышлял он, тащась дальше.

Он набрел на маленькое озерко. И, наклонившись над ним в поисках пескарей, отшатнулся, словно ужаленный. Он увидел свое лицо, отраженное в воде. Это отражение было так страшно, что пробудило даже его оцепеневшую душу. В озерке плавали три пескаря, но оно было велико, и он не мог вычерпать его до дна; он попробовал поймать рыб ведерком, но в конце концов бросил эту мысль. Он побоялся, что от усталости упадет в воду и утонет. По этой же причине он не отважился плыть по реке на бревне, хотя бревен было много на песчаных отмелях.

В этот день он сократил на три мили расстояние между собой и кораблем, а на следующий день — на две мили; теперь он полз на четвереньках, как Билл. К концу пятого дня до корабля все еще оставалось миль семь, а он теперь не мог пройти и мили в день. Бабье лето еще держалось, а он то полз на четвереньках, то падал без чувств, и по его следам все так же тащился больной волк, кашляя и чихая. Колени человека были содраны до живого мяса и ступни тоже, и хотя он оторвал две полосы от рубашки, чтобы обмотать их, красный след тянулся за ним по мху и камням. Оглянувшись как-то, он увидел, что волк с жадностью лижет этот кровавый след, и ясно представил себе, каков будет его конец, если он сам не убьет волка. И тогда началась самая жестокая борьба, какая только бывает в жизни: больной человек на четвереньках и больной волк, ковылявший за ним, — оба они, полумертвые, тащились через пустыню, подстерегая друг друга.

Будь то здоровый волк, человек не стал бы так сопротивляться, но ему было неприятно думать, что он попадет в утробу этой мерзкой твари, почти надали. Ему стало противно. У него снова начинался бред, сознание туманили галлюцинации, и светлые промежутки становились все короче и реже.

Однажды он пришел в чувство, услышав чье-то дыхание над самым ухом. Волк отпрыгнул назад, споткнулся и упал от слабости. Это было смешно, но человек не улыбнулся. Он даже не испугался. Страх уже не имел над ним власти. Но мысли его на минуту прояснились, и он лежал, раздумывая. До корабля оставалось теперь мили четыре, не больше. Он видел его совсем ясно, протирая затуманенные глаза, видел и лодочку с белым парусом, рассекавшую сверкающее море. Но ему не одолеть эти четыре мили. Он это знал и относился к этому спокойно. Он знал, что не проползет и полумили. И все-таки ему хотелось жить. Было бы глупо умереть после всего, что он перенес. Судьба требовала от него слишком многого. Даже умирая, он не покорялся смерти. Возможно, это было чистое безумие, но и в когтях смерти он бросал ей вызов и боролся с ней.

Он закрыл глаза и бесконечно бережно собрал все свои силы. Он крепился, стараясь не поддаваться чувству дурноты, затопившему, словно прилив, все его существо. Это чувство поднималось волной и мутило сознание. Временами он словно тонул, погружаясь в забытие и сляясь выплыть, но каким-то необъяснимым образом остатки воли помогали ему снова выбраться на поверхность.

Он лежал на спине неподвижно и слышал, как хрипкое дыхание волка приближается к нему. Оно ощущалось все ближе и ближе, время тянулось без конца, но человек не пошевелился ни разу. Вот дыхание слышно над самым ухом. Жесткий сухой язык царапнул его щеку, словно наждачной бумагой. Руки у него вскинулись кверху — по крайней мере он хотел их вскинуть, — пальцы согнулись, как когти, но схватили пустоту. Для быстрых и уверенных движений нужна сила, а силы у него не было.

Волк был терпелив, но и человек был терпелив не меньше. Полдня он лежал неподвижно, борясь с забытием и сторожа волка, который хотел его съест и которого он съел бы сам, если бы мог. Время от времени волна забытья захлестывала его, и он видел длинные сны; но все время, и во сне, и наяву, он ждал, что вот-вот услышит хрипкое дыхание и его лизнет шершавый язык.

Дыхания он не услышал, но проснулся оттого, что шершавый язык коснулся его руки. Человек ждал. Клыки слегка сдавили его руку, потом давление стало сильнее — волк из последних сил старался вонзить зубы в добычу, которую так долго подстерегал. Но и человек ждал долго, и его искусанная рука сжала волчью челюсть. И в то время как волк слабо отбивался, а рука так же слабо сжимала его челюсть, другая рука протянулась и схватила волка. Еще пять минут, и человек придавил волка всей своей тяжестью. Его рукам не хватало силы, чтобы задушить волка, но человек прижался лицом к волчьей шее, и его рот был полон шерсти. Прошло полчаса, и человек почувствовал, что в горло ему сочится теплая струйка. Это было мучительно, словно ему в желудок вливали расплавленный свинец, и только усилием воли он заставлял себя терпеть. Потом человек перекатился на спину и уснул.

На китобойном судне «Бедфорд» схало несколько человек из научной экспедиции. С палубы они заметили какое-то странное существо

на берегу. Оно ползло к морю, едва передвигаясь по песку. Ученые не могли понять, что это такое, и, как подобает естествоиспытателям, сели в шлюпку и поплыли к берегу. Они увидели живое существо, но вряд ли его можно было назвать человеком. Оно ничего не слышало, ничего не понимало и корчилося на песке, словно гигантский червяк. Ему почти не удавалось продвинуться вперед, но оно не отступало и, корчась и извиваясь, продвигалось вперед шагов на двадцать в час.

Через три недели, лежа на койке китобойного судна «Бедфорд», человек со слезами рассказывал, кто он такой и что ему пришлось вынести. Он бормотал что-то бессвязное о своей матери, о Южной Калифорнии, о домике среди цветов и апельсиновых деревьев.

Прошло несколько дней, и он уже сидел за столом вместе с учеными и капитаном в кают-компании корабля. Он радовался изобилию пищи, тревожно провожал взглядом каждый кусок, исчезающий в чужом рту, и его лицо выражало глубокое сожаление. Он был в здравом уме, но чувствовал ненависть ко всем сидевшим за столом. Его мучил страх, что еды не хватит. Он расспрашивал о запасах провизии повара, юнгу, самого капитана. Они без конца успокаивали его, но он никому не верил и тайком заглядывал в кладовую, чтобы убедиться собственными глазами.

Стали замечать, что он поправляется. Он толстел с каждым днем. Ученые качали головой и строили разные теории. Стали ограничивать его в еде, но он все раздавался в ширину, особенно в поясе.

Матросы посмеивались. Они знали, в чем дело. А когда ученые стали следить за ним, им тоже стало все ясно. После завтрака он прокрадывался на бак и, словно нищий, протягивал руку кому-нибудь из матросов. Тот ухмылялся и подавал ему кусок морского сухаря. Человек жадно хватал кусок, глядел на него, как скряга на золото, и прятал за пазуху. Такие же подачки, ухмыляясь, давали ему и другие матросы.

Ученые промолчали и оставили его в покое. Но они осмотрели потихоньку его койку. Она была набита сухарями. Матрац был полон сухарей. Во всех углах были сухари. Однако человек был в здравом уме. Он только принимал меры на случай голодовки — вот и все. Ученые сказали, что это должно пройти. И это действительно произошло, прежде чем «Бедфорд» стал на якорь в гавани Сан-Франциско.

## ОТСТУПНИК

Вот я на работу дневную иду.  
Господь, укрепи мои мышцы к труду.  
А если мне смерть суждена, я творца  
Молю дать работу свершить до конца,  
Аминь.

— Вставай сейчас же, Джонни, а то есть не дам!

Угроза не подействовала на мальчика. Он упорно не хотел просыпаться и цеплялся за сонное забытие. Руки его безуспешно пытались

сжаться в кулаки, и он наносил по воздуху слабые, беспорядочные удары. Удары предназначались матери, но она с привычной ловкостью уклонялась от них и настойчиво трясла его за плечо.

— Н-ну тебя!..

Сдавленный крик, начавшись в глубинах сна, быстро вырос в яростный вопль, потом замер и перешел в невнятное хныканье. Это был звериный крик, крик грешника в аду, полный бесконечного возмущения и муки.

Но мать словно не слышала его. Эта женщина с печальными глазами и усталым лицом привыкла к своим утренним обязанностям,— ведь так повторялось изо дня в день, всю ее жизнь. Она попыталась стянуть с мальчика одеяло, но он, перестав колотить кулаками, отчаянно вцепился в него. Сжавшись в комок на кровати, он завернулся в одеяло и не отдавал его. Тогда мать попробовала стащить всю постель на пол. Мальчик сопротивлялся. Она собралась с силами. Перевес был на ее стороне, и мальчик едва не свалился на пол, лишь бы не расстаться с одеялом; в нетопленной комнате зуб на зуб не попадал.

Он повис на краю кровати, и казалось, вот-вот упадет. Но в нем уже встрепенулось сознание. Он выпрямился, кое-как сохраняя равновесие, потом встал на ноги. Мать тотчас же схватила его за плечи и встряхнула. Снова он выбросил вперед кулаки, на этот раз с большей силой и меткостью. Глаза его открылись. Мать отпустила его — он проснулся.

— Ладно,— пробормотал он.

Мать взяла лампу и поспешно вышла, оставив его в темноте.

— Вычтут, тогда будешь знать! — бросила она, уходя.

Темнота ему не мешала. Надев брюки и куртку, он вышел на кухню. Поступь у него была очень грузная для такого худого, щуплого тела. Ноги тяжело волочились, и это казалось даже непонятным: уж очень они были костлявые и тонкие. Он придвинул к столу продавленный стул.

— Джонни! — резко окликнула мать.

Он так же резко поднялся и молча пошел к раковине. Она была грязная и сальная, из отверстия шел скверный запах. Он не замечал этого. Зловонная раковина была для него в порядке вещей, как и то, что в мыло вьелась грязь от кухонной посуды и оно плохо мылилось. Да он и не очень старался намылиться. Несколько пригоршней холодной воды из-под крана довершили умывание. Зубы он не чистил. Он даже никогда не видал зубной щетки и не знал, что есть на свете люди, способные на такую глупость, как чистка зубов.

— Хоть бы раз в день сам догадался помыться,— упрекнула мать.

Придерживая на кофейнике разбитую крышку, она налила две чашки кофе. Джонни не ответил на упрек, ведь это было вечной темой для раздоров и единственным, в чем мать была тверда, как камень: хоть раз в день он обязан умыться. Он утерся засаленным, рваным полотенцем, оставившим на его лице волокна.

— Уж очень мы далеко живем,— сказала мать, когда Джонни сел к столу.— Да ведь я ли не стараюсь! Сам знаешь. Зато тут простор-

но и на доллар дешевле, а доллар тоже на улице не валяется. Сам знаешь.

Джонни едва слушал. Все это говорилось уже много раз. Круг ее мыслей был ограничен, и она вечно возвращалась к тому, как неудобно им жить так далеко от фабрики.

— На доллар можно сколько еды купить,— заметил он рассудительно. — Я лучше пройду, да зато поем побольше.

Он торопливо, почти не жуя, глотал хлеб, запивая его горячим кофе. Так называлась у них горячая мутная жидкость, но Джонни считал, что кофе превосходный. Это была одна из немногих сохранившихся у него иллюзий. Настоящего кофе он никогда и не пробовал.

Кроме хлеба был еще кусочек холодной свинины. Мать налила сыну вторую чашку. Доедая хлеб, он зорко следил, не дадут ли еще. Мать поймала его вопросительный взгляд.

— Не жадничай,— сказала она. — Ты свою долю получил. А что младшим останется?

Джонни не ответил. Он вообще не отличался разговорчивостью. Но его голодный взгляд уже не выпрашивал добавки. Мальчик не жаловался, и эта покорность была так же страшна, как и школа, где он ей выучился. Он допил кофе, вытер рот рукой и уже собирался встать.

— Погоди-ка,— поспешно сказала мать. — Еще ломтик, пожалуй, можно отрезать, только не толстый.

Это была настоящая ловкость рук. Делая вид, будто отрезает ломоть от краюхи, мать убрала ее в ящик, ему же подсунула один из двух своих кусков. Она думала, что обманула сына, но он заметил проделанный фокус. Все же он без зазрения совести взял хлеб. Он рассуждал просто: мать вечно хворает, она все равно плохой едок.

Видя, что он жует сухой хлеб, мать потянулась через стол и отлила ему кофе из своей чашки.

— Что-то мутит меня от него,— пояснила она.

Отдаленный гудок, протяжный и пронзительный, заставил обоих вскочить. Мать взглянула на будильник, стоявший на полке. Стрелки показывали половину шестого. Фабричный люд еще только пробуждался от сна. Она накинула на плечи шаль и надела старую, бесформенную шляпку.

— Придется бегом,— сказала она, прикручивая фитиль в лампе и задувая огонь.

Они ошупью вышли и спустились по лестнице. На дворе было ясно, морозно, и Джонни поежился от холода. Звезды еще не начали бледнеть, и город был погружен во тьму. Джонни и его мать шли молча, тяжело волоча ноги. Им не хватало сил на то, чтобы отрывать подошвы от земли.

Минут через пятнадцать мать свернула вправо.

— Смотри не опоздай! — предупредила она на прощанье, и темнота поглотила ее.

Он не ответил и пошел своей дорогой. В фабричном квартале повсюду открывались двери, и скоро Джонни слился с толпой рабочих,



шагавших в темноте. Когда он входил в фабричные ворота, гудок раздался во второй раз. Джонни взглянул на восток. Из-за рваной линии крыш выползали бледные лучи. Это и был весь дневной свет, который доставался на его долю. Он повернулся к нему спиной и вместе со всеми вошел в цех.

Он занял свое место в длинном ряду станков. Перед ним, над ящиком с мелкими шпульками, быстро вращались шпульки более крупные. На них он наматывал джутовую нить с маленьких шпулек. Работа была несложная, требовалась только быстрота. Нить так стремительно перематывалась с маленьких шпулек на большие, что зевать было некогда.

Джонни работал машинально. Когда опорожнялась одна из маленьких шпулек, он, действуя левой рукой как тормозом, останавливал большую шпульку и одновременно большим и указательным пальцами ловил свободный конец нити. Правой рукой он в это время схватывал конец с новой маленькой шпульки. Все это делалось быстро и точно, обеими руками сразу. Затем молниеносным движением Джонни завязывал узел и отпускал шпульку. Вязать ткацкие узлы было просто. Он как-то похвастался, что мог бы делать это во сне. В сущности, так оно и было,—нередко Джонни всю долгую ночь вязал во сне бесконечные вереницы ткацких узлов.

Кое-кто из мальчиков отлынивал от дела, оставляя станок работать вхолостую и не заменяя мелкие шпульки, когда они кончались. Но мастер следил за этим. Однажды он поймал зазевавшегося соседа Джонни и надрал ему уши.

— Погляди на Джонни, вот как надо работать! — грозно сказал мастер.

Шпульки у Джонни вертелись вовсю, но его не порадовала похвала. Было время... но то было давно, очень давно. Ничего не отразилось на равнодушном лице мальчика, когда он услышал, что его ставят в пример. Он был образцовым рабочим и знал это сам. Ему часто говорили об этом. Похвала стала привычной и уже ничего для него не значила. Из образцового рабочего он превратился в образцовую машину. Если работа у него не ладилась, это — как и у станка — означало, что сырье плохое. Ошибиться было для него так же невозможно, как для усовершенствованного гвоздильного станка неточно штамповать гвозди.

И не удивительно. Всю свою жизнь он прожил в самом тесном общении с машинами. Машины, можно сказать, вошли в его плоть и кровь, во всяком случае они воспитывали его. Двенадцать лет назад в ткацком цеху этой же фабрики произошло некоторое смятение. У матери Джонни начались боли. Ее уложили на полу между скрежежущими станками. Позвали двух пожилых ткачих. Им помогал мастер. Через несколько минут в ткацкой стало на одну душу больше. Эта новая душа был Джонни — он родился под стук, треск и грохот ткацких станков и втянул с первым дыханием теплый, влажный воздух, полный хлопковой пыли. Он кашлял уже в те первые часы своей жизни, стараясь освободить легкие от пыли, и по той же причине кашлял и по сей день.

Мальчик, работавший рядом с Джонни, хныкал и шмыгал носом. Лицо его перекошилось от ненависти к мастеру, который то и дело с угрозой поглядывал на него издали; но пустых шпuleк уже не было. Мальчик выкрикивал страшные проклятия вертевшимся перед ним шпuleкам, но звук не шел дальше: грохот, стоявший в цеху, задерживал его и замыкал, как стеной.

А Джонни ни на что не обращал внимания. Он был равнодушен ко всему на свете. И потом — все приедается, а подобные происшествия он наблюдал много раз. Ему казалось столь же бесполезным перечить мастеру, как сопротивляться машине. Машинны устроены, чтобы действовать определенным образом и выполнять определенную работу. И мастер тоже.

Но около двенадцати часов в цеху стало беспокойно. Какими-то таинственными путями беспокойство немедленно передалось всем. Одноногий мальчонка, работавший по другую сторону от Джонни, быстро заковылял к порожней вагонетке, нырнул в нее и скрылся там вместе с костью. В цех входил управляющий в сопровождении неизвестного молодого человека. Незнакомец был хорошо одет, в крахмальной сорочке, — джентльмен, по понятиям Джонни, а кроме того — инспектор.

Проходя между станками, инспектор зорко поглядывал на мальчиков. Ему приходилось кричать во всю мочь, и лицо его нелепо искажалось от натуги. Быстрый взгляд инспектора заметил пустой станок возле Джонни, но он ничего не сказал. Джонни также обратил на себя его внимание; внезапно остановившись, он схватил Джонни за руку повыше локтя, потянул его от станка и сейчас же выпустил с возгласом удивления.

— Худошав немного, — хихикнул управляющий, беспокойно косясь на инспектора.

— Одни кости! — был ответ. — А посмотрите на его ноги! У мальчишки рахит, в начальной стадии, но несомненный. Его наверняка доконает эпилепсия, если раньше не прикончит туберкулез.

Джонни слушал, но не понимал, о чем идет речь. К тому же его не пугали будущие бедствия. В лице инспектора ему угрожало бедствие более близкое и страшное.

— Ну, мальчик, отвечай мне правду, — сказал, вернее прокричал, инспектор, наклоняясь к самому его уху. — Сколько тебе лет?

— Четырнадцать, — сказал Джонни, и солгал во всю силу своих легких. Он так громко солгал, что это вызвало у него сухой, отрывистый кашель, поднявший всю пыль, которая осела на его легких за утро.

— На вид все шестнадцать, — сказал управляющий.

— Или все шестьдесят, — отрезал инспектор.

— Он всегда был такой.

— А с каких пор? — быстро спросил инспектор.

— Уже несколько лет. И все не взрослеет.

— Не молодеет, я бы сказал. И все это время он проработал здесь?

— С перерывами. Но это было до введения нового закона,— поспешил добавить управляющий.

— А этот станок пустует? — спросил инспектор, указывая на незанятое место рядом с Джонни, где вихрем вертелись полусмотанные шпульки.

— Похоже на то,— управляющий знаком подозвал мастера и прокричал ему что-то на ухо, показывая на станок. — Пустует,— доложил он инспектору.

Они прошли дальше, а Джонни вернулся к работе, довольный тем, что беда миновала. Но одноному мальчику не повезло. Зоркий инспектор вытащил его из вагонетки. Губы мальчика дрожали, у него было лицо человека, сраженного страшным и непоправимым несчастьем. Мастер недоуменно развел руками, словно видел калеку впервые в жизни, а управляющий недовольно нахмурился.

— Я знаю этого мальчика,— сказал инспектор. — Ему двенадцать лет. За этот год я велел уволить его с трех фабрик. Ваша уже четвертая. — Он обернулся к одноному: — Ты ведь обещал мне, что будешь ходить в школу, дал честное слово!

Мальчик залился слезами.

— Извините, сэр, у нас уже умерло двоемаленьких. Дома есть нечего.

— А отчего ты так кашляешь? — грозно спросил инспектор, словно обвиняя его в тяжком преступлении.

И, точно оправдываясь, одноногий ответил:

— Это ничего. Я на прошлой неделе простудился, сэр, только и всего.

В конце концов инспектор увел мальчика из цеха, их сопровождал встревоженный и смущенный управляющий. После этого все вошло в обычную колею. Долгое утро и еще более долгий день кончились, и гудок возвестил о конце смены. Было уже темно, когда Джонни вышел из фабричных ворот. За это время солнце успело взойти по золотой лестнице небес, залить мир благодатным теплом, спуститься к западу и исчезнуть за рваной линией крыш.

Ужин был семейным сбором — только в этот час Джонни и сталкивался с младшими братьями и сестрами. Это было подлинным столкновением, ибо он был очень стар, а они оскорбительно молоды. Его раздражала эта чрезмерная и непостижимая молодость. Он не понимал ее. Его собственное детство осталось слишком далеко позади. Как брюзгливому старику, Джонни претило это буйное озорство, казавшееся ему отъявленной глупостью. Он молча хмурился над тарелкой, утешаясь мыслью, что и им скоро придется пойти на работу. Это их обломает, сделает степенными и солидными, как он сам. Так, подобно всем смертным, Джонни все мерил своей меркой.

За ужином мать снова и снова на разные лады твердила одно: уж она ли не старается... поэтому, когда окончилась скудная трапеза, Джонни с облегчением отодвинул свой стул и встал. Минуту он колебался: лечь ли спать или выйти на улицу — и наконец выбрал последнее. Но далеко он не пошел, а уселся на крыльце, ссутулив узкие

плечи, опершись локтями на колени и уткнувшись подбородком в ладони.

Он сидел и ни о чем не думал. Он просто отдыхал. Сознание его дремало. Его братья и сестры выбежали из дому и вместе с другими ребятами подняли шум и возню. Уличный фонарь бросал яркий свет на разыгравшихся детей. Они хорошо знали, что Джонни сердитый и всегда злится, но словно какой-то бесенок подстрекал их дразнить его. Они взялись за руки и, отбивая ногами такт, пели ему в лицо глупые и обидные песенки. Сначала Джонни огрызался и осыпал их ругательствами, которым научился у мастеров. Увидя, что это бесполезно, и вспомнив о своем достоинстве взрослого, он вновь погрузился в мрачное молчание.

Заводилой был десятилетний брат Вилли, второй после Джонни. Джонни не питал к нему особо нежных чувств: его жизнь была рано омрачена необходимостью постоянно уступать Вилли и приносить себя в жертву ради него. Джонни был убежден, что младший брат в большом долгу перед ним, но не чувствует благодарности. В те далекие времена, когда Джонни сам мог играть, необходимость нянчить Вилли украла у него большую часть его детства. Вилли был тогда младенцем, а мать, как и сейчас, целыми днями работала на фабрике. На Джонни ложились обязанности отца и матери.

Заботы и жертвы старшего брата, видимо, пошли Вилли впрок. Он был складный, крепко сбитый, ростом с Джонни и даже поплотнее его. Вся кровь одного словно перешла в жилы другого. И вся жизненная сила тоже. Джонни был истощенный, апатичный, вялый, а младший брат кипел избытком энергии.

Ребята распевали свою дразнилку все громче и громче. Вилли, приплясывая, сунулся ближе и показал язык. Внезапно Джонни левой рукой ухватил брата за шею, а кулаком правой стукнул его по носу. Кулачок был до жалости костлявый, но бил больно, об этом красноречиво свидетельствовал отчаянный вопль Вилли. Испуганные дети подняли визг, а Дженин, сестра Джонни и Вилли, кинулась в дом.

Джонни оттолкнул брата, свирепо лягнул его, потом сбил с ног и ткнул лицом в землю. Тут подоспела мать — воплощение тревоги и материнского гнева.

— А чего он пристаёт? — ответил Джонни на ее попреки. — Не видит разве, что я устал?

— Я с тебя ростом! — кричал Вилли в материнских объятиях, повернув к брату лицо, залитое слезами, грязью и кровью. — Я уже с тебя ростом, а скоро вырасту еще больше! Тогда я тебе задам! Вот увидишь.

— А ты бы работал, раз вырос такой большой, — огрызнулся Джонни. — Вот чего тебе не хватает: тебе работать пора. Пусть мать отдаст тебя на фабрику.

— Да ведь он еще мал, — запротестовала она. — Куда ему работать, такому малышу?

— Я был меньше, когда начинал.

Джонни уже открыл было рот, собираясь дальше излить свою

-обиду, но вдруг передумал. Он мрачно повернулся и вошел в дом. Дверь его комнаты была открыта, чтобы шло тепло из кухни. Раздеваясь в полутьме, он слышал, как мать разговаривала с соседкой. Мать плакала, и слова ее перемежались жалкими всхлипываниями.

— Не пойму, что делается с Джонни,— слышал он.— Никогда я его таким не видала. Тихий был, смиренный, как ангелочек. Да он и сейчас хороший,— поспешила она оправдать сына.— От работы не отлынивает, а работать, верно ведь, пошел слишком рано. Да разве я виновата? Уж я ли не стараюсь!

Тут послышались всхлипывания. А Джонни пробормотал, закрывая глаза:

— Вот именно, не отлыниваю.

На следующее утро мать снова вырвала его из цепких объятий сна. И снова — скудный завтрак, долгий путь в темноте и бледный проблеск утра, к которому он поворачивался спиной, входя в фабричные ворота. Еще один день из множества дней — и все они одинаковые.

Но и в жизни Джонни бывало разнообразие: когда его ставили на другую работу, или когда он заболел. В шесть лет он нянчил Вилли и других ребят. В семь пошел на фабрику наматывать шпульки. В восемь получил работу в другом месте. Новая работа была удивительно легкая. Надо было только сидеть с палочкой в руке и направлять поток ткани, шедший мимо. Поток этот струился из челюстей машины, поступал на горячий барабан и шел куда-то дальше. А Джонни все сидел на одном месте, под слепящим газовым рожком, не видя дневного света, и сам становился частью механизма.

На этой работе Джонни чувствовал себя счастливым, несмотря на влажную жару цеха, — тогда он был еще молод и мог мечтать и тешить себя иллюзиями. Чудесные мечты сплетал он, глядя, как дымящаяся ткань безостановочно плывет мимо. Но работа не требовала никакого движения, никакого умственного усилия, и он мечтал все меньше, а ум его тупел и цепенел. Зато он зарабатывал два доллара в неделю, а два доллара как раз составляли разницу между голодом и хроническим недоеданием.

Однако когда ему исполнилось девять, он потерял эту работу. Виной была корь. Поправившись, он поступил на стекольный завод. Здесь платили больше, а работа требовала умения. Работали сдельно, и чем проворней он был, тем больше получал. Тут было ради чего стараться, и Джонни стал замечательным работником.

Работа была несложная: привязывать стеклянные пробки к маленьким бутылочкам. На поясе Джонни висел пучок шпагата, а бутылки он зажимал между колен, чтобы работать обеими руками. От сидячего и наклонного положения его узкие плечи сутулились, а грудь была сжата в течение десяти часов подряд. Это было вредно для легких, но зато он перевязывал триста дюжин бутылок в день.

Управляющий очень им гордился и приводил посетителей поглядеть на него. За десять часов через руки Джонни проходило триста дюжин бутылок. Это означало, что он достиг совершенства машины. Ни одного лишнего движения! Каждый взмах его худих рук, каждое

движение худых пальцев было быстрым и точным. Такая работа требовала большого напряжения, и нервы Джонни начали сдавать. По ночам он вздрагивал во сне, а днем не мог ни отвлечься, ни отдохнуть. Он был все время взвинчен, и руки у него судорожно подергивались. Лицо его стало землистым, кашель усилился. Чахлый, слабогрудый, он в конце концов заболел воспалением легких и потерял работу на стекольном заводе.

И вот он вернулся на джутовую фабрику, с которой в свое время начал. Но здесь он мог рассчитывать на повышение. Он был хорошим рабочим. Со временем его переведут в крахмальный цех, а потом в ткацкую. Дальше останется лишь увеличивать производительность.

Машины работали теперь гораздо быстрее, а ум Джонни — медленнее. Он уже больше не мечтал, как бывало. А ведь однажды он даже влюбился. Это было, когда его поставили у потока ткани, сходящей с барабана, а предметом его любви была дочь управляющего. Она была взрослая девушка, и видел он ее только издали, каких-нибудь пять-шесть раз. Но это не имело значения. На поверхности ткани, которая текла мимо, Джонни рисовал светлое будущее: он совершал чудеса за станком, изобретал диковинные машины, становился искусным мастером и в конце концов заключал свою возлюбленную в объятия и скромно целовал в лоб.

Все это было в давние времена, когда он не был так стар и утомлен и еще мог любить. К тому же девушка вышла замуж и уехала, и чувство его притупилось. Но то было чудесное время, и он часто вспоминал его, как другие вспоминают времена, когда они верили в добрых фей. Сам Джонни никогда не верил ни в добрых фей, ни в Санта Клауса; но он свято верил в эти картины счастливого будущего, которыми его воображение расписывало дымящуюся ткань.

Джонни очень рано стал взрослым. В семь лет, когда ему выдали первую получку, началось его отрочество. У него появилось ощущение известной независимости, и отношения матери и сына изменились. Казалось, в качестве кормильца и работника он стал с нею на равную ногу. Взрослым в полном смысле слова он сделался в одиннадцать лет, — после того, как полгода проработал в ночной смене. Ни один ребенок не может работать в ночной смене и оставаться ребенком.

В жизни его насчитывалось несколько важных событий. Однажды мать купила немного калифорнийского чернослива. Два раза она делала заварной крем. Да, это были события. Он вспоминал о них с нежностью. Тогда же мать рассказала ему об одном диковинном кушанье — оно называлось «плавучий остров» — и пообещала когда-нибудь его сделать. «Это будет получше заварного крема», — говорила мать. Джонни годами ждал того дня, когда сядет к столу и будет есть «плавучий остров», пока надежда эта не отошла в область несбыточных мечтаний.

Как-то раз он нашел на улице двадцатипятицентовую монету. Это тоже было крупным, даже трагическим событием в его жизни. Он знал, как надо поступить, еще раньше, чем подобрал монету. Дома, как всегда, было нечего есть; домой ему и следовало принести ее, как

он приносил по субботам получку. Его долг был ему ясен, но у Джонни никогда не водилось карманных денег, и его мучила тоска по сладкому. Он изголодался по конфетам, которые доставались ему лишь по особо торжественным дням.

Он не пытался себя обманывать. Он знал, что совершает грех, и согрешил сознательно, когда устроил себе кутеж на пятнадцать центов. Десять он отложил на вторую оргию, но, не имея привычки хранить деньги, потерял их. Это несчастье случилось, когда угрызения совести жестоко терзали его, и оно представилось ему возмездием свыше. Он с ужасом ощутил близость грозного и гневного божества. Бог видел — и бог покарал, лишив его даже плодов содеянного греха.

Мысленно Джонни всегда оглядывался на это событие, как на единственное свое преступление, и всякий раз снова ощущал угрызения совести. Это был его грех, его тайна. В то же время ему не давали покоя сожаления. Он был недоволен тем, как потратил деньги. Можно было купить на них больше: знай он быстроту божьего возмездия, он обошел бы бога, потратив все двадцать пять центов сразу. В воображении он тысячу раз тратил эти двадцать пять центов, и с каждым разом все выгоднее.

Было еще одно воспоминание, далекое и туманное, но навеки втопанное в его душу безжалостными ногами отца. Это был скорей кошмар, чем память о действительном событии, — нечто вроде той атавистической памяти, которая заставляет человека падать во сне и восходит ко временам, когда предки его спали на деревьях.

Воспоминание это никогда не посещало Джонни при дневном свете. Оно являлось ночью, в тот момент, когда сознание его угасало, погружалось в сон. Он в испуге просыпался, и в первую мучительную минуту ему казалось, что он лежит поперек кровати, в ногах. На кровати — смутные очертания отца и матери. Он не мог вспомнить, как выглядел отец. От отца осталось только одно: у него были страшные, безжалостные ноги.

Ранние воспоминания сохранились в его мозгу, но более поздних не было. Все дни ходили друг на друга. Вчерашний день или прошлый год были равны тысячелетию — или минуте. Ничего никогда не случалось. Не было событий, отмечавших ход времени. Время не шло, оно стояло на месте. Двигались лишь неутомимые машины, — да и они никуда не шли, хотя движение их все ускорялось.

Когда ему минуло четырнадцать, он перешел в крахмальный цех. Это было громадным событием. Случилось, наконец, нечто такое, что помнится дольше, чем день получки. Наступила новая эра. Это было для Джонни как бы олимпиадой, началом летосчисления. «Когда я стал работать в крахмальном», или «до того», или «после того как я перешел в крахмальный» — этими словами он начинал чуть ли не каждую свою фразу.

Свое шестнадцатилетие Джонни отметил переходом в ткацкую, к ткацкому станку. Здесь снова было из-за чего стараться, так как платили сдельно. Он и тут отличился, ибо фабрика давно перепланировала его в идеальную машину. Через три месяца он работал на двух станках, а потом на трех и на четырех.

После двух лет, проведенных в этом цеху, он вырабатывал больше ярдов ткани, чем любой другой ткач, и вдвое больше, чем многие из его менее проворных товарищей. Он почти достиг предельной выработки — и семье теперь жилось лучше. Впрочем, нельзя сказать, чтоб его заработок превышал потребности семьи. Дети подрастали. Они больше ели. Они учились в школе, а учебники стоят денег. И почему-то чем быстрее Джонни работал, тем быстрее подымались цены. Повысилась даже квартирная плата, хотя дом все больше разваливался.

Джонни вырос, но от этого казался еще более тощим. Он становился все более нервным, угрюмым и раздражительным. Дети на горьком опыте научились сторониться старшего брата. Мать уважала его как кормильца семьи, но к этому уважению примешивался страх.

В жизни Джонни не было радостей. Дней он не видел. Ночи проходили в беспокойном забытьи. Остальное время он работал, и сознание его было сознанием машины. Вне этого была пустота. Он ни к чему не стремился и сохранил лишь одну иллюзию: что он пьет превосходный кофе. Это была рабочая скотина, не знающая духовной жизни. Но где-то глубоко в подсознании, неведомо для него, отмечался каждый час работы, каждое движение рук, каждое сокращение мускулов — и все это подготовило развязку, которая повергла в изумление и его самого, и весь его маленький мирок.

Однажды в начале лета Джонни вернулся с работы еще более усталым, чем обычно. За столом царил приподнятое настроение, но он этого не замечал. Он ел в угрюмом молчании, машинально уничтожая то, что перед ним стояло. Дети охали, ахали и причмокивали губами. Но он был глух ко всему.

— Да ты знаешь, что ты ешь? — не выдержала наконец мать.

Он отсутствующим взглядом посмотрел в тарелку, потом на мать.

— «Плавучий остров», — объявила она с торжеством.

— А-а, — сказал Джонни.

— «Плавучий остров»! — хором подхватили дети.

— А-а, — повторил он и после двух-трех ложек добавил: — Мне сегодня что-то не хочется есть. — Он положил ложку, отодвинул стул и устало поднялся. — Я, пожалуй, лягу.

Проходя через кухню, Джонни волочил ноги тяжелее обычного. Раздевание потребовало от него титанических усилий и показалось ему таким ненужным, что он заплакал от слабости и полез в постель, не сняв второго башмака. В голове у него словно росла какая-то опухоль, и от этого мозг немел, застывал... Его худые пальцы, казалось, стали толще запястий, а кончики их тоже немели и напухали. Нестерпимо болела поясница. Болели все кости. Болело все. А в мозгу начался стук, свист, грохот миллиона ткацких станков. Пространство заполнилось снующими челноками. Они металась взад и вперед, петляя среди звезд. Джонни работал на тысяче станков, и они все ускоряли ход — быстрее, быстрее, — а мозг его разматывался — быстрее, быстрее — и превращался в нить, которую тянула тысяча снующих челноков.

На другое утро он не вышел на работу. Он был слишком занят тысячей ткацких станков, стучавших в его голове. Мать ушла на фабрику, но прежде послала за доктором. Тяжелая форма гриппа, сказал



тот. Дженни ухаживала за братом и выполняла все предписания врача.

Болезнь протекала тяжело, и только через неделю Джонни смог одеться и с трудом проковылять по комнате. Еще неделя, сказал врач, и он вернется на работу. Мастер ткацкого цеха навестил его в воскресенье, в первый день, когда больному полегчало. Джонни — лучший ткач в цеху, сказал он матери. Место за ним сохранят. Может не приходиться до будущего понедельника.

— Ты бы хоть поблагодарил, Джонни,— встревоженно сказала мать. — Он так был плох, что до сих пор еще в себя не пришел,— виновато объяснила она гостю.

Джонни сидел сторбившись и пристально глядел в пол. Он оставался в этой позе еще долго после ухода мастера. На дворе было тепло, и после обеда он вышел посидеть на крыльце. Иногда губы его шевелились. Казалось, он был погружен в какие-то бесконечные вычисления.

На следующий день, когда солнце стало пригревать, он снова уселся на крыльце. В руках у него были карандаш и бумага, и он долго высчитывал что-то, сосредоточенно и с натугой.

— Что идет после миллионов? — спросил Джонни в полдень, когда Вилли вернулся из школы. — И как их считают?

К вечеру вычисления были закончены. Каждый день, уже без карандаша и бумаги, Джонни выходил на крыльцо. Он пристально смотрел на одинокое дерево, которое росло на другой стороне улицы. Он разглядывал это дерево часами, и оно особенно занимало его, когда ветер раскачивал ветви и ерошил листья. Всю эту неделю Джонни вел долгую беседу с самим собой. В воскресенье, все так же сидя на крыльце, он несколько раз громко рассмеялся, к великому смятению матери, которая уже много лет не слышала его смеха.

На следующее утро, в предзвездной тьме, она подошла к кровати, чтобы разбудить его. За неделю он успел выспаться и проснулся без труда. Он не сопротивлялся, не тянул на себя одеяло, как раньше, а лежал спокойно и спокойно сказал:

— Ни к чему это, мама.

— Опоздаешь,— сказала она, думая, что он еще не проснулся.

— Я не сплю, мама, но все равно— ни к чему это. Ты лучше уйди. Я не встану.

— Да ведь работу потеряешь! — вскрикнула она.

— Сказал, не встану,— повторил он каким-то чужим, равнодушным голосом.

В то утро мать сама не пошла на работу. Эта болезнь была похуже всех, какие она знала. Лихорадка и бред ее не удивили бы, но тут было помешательство. Она накрыла сына одеялом и послала Дженни за доктором.

Когда тот явился, Джонни мирно спал и так же мирно проснулся и дал пощупать свой пульс.

— Ничего особенного,— сказал доктор,— очень истощен, вот и все. Кожа да кости!

— Он у нас всегда был такой,— сказала мать.

— Теперь уйди, мама, дай мне поспать.

Джонни сказал это кротко и спокойно, так же спокойно повернулся на другой бок и заснул.

В десять часов он проснулся, встал и вышел на кухню. Мать с испугом посмотрела на него.

— Я уйду, мама,— объявил он. — Давай простимся.

Она закрыла лицо передником, опустила на стул и заплакала. Джонни терпеливо ждал.

— Так я и знала,— проговорила она сквозь слезы. — Да куда ж ты пойдешь? — и, отняв передник от лица, она подняла на Джонни измученные глаза, не выражавшие даже любопытства.

— Не знаю... куда-нибудь.

Перед внутренним взором Джонни ярким видением возникло дерево, которое росло на другой стороне улицы. Оно так запечатлелось в его сознании, что он мог увидеть его в любую минуту.

— А как же работа? — дрожащим голосом проговорила мать.

— Не буду я больше работать.

— Господи, Джонни! — заголосила она. — Что ты такое говоришь!

Это казалось ей святотатством. Слова Джонни потрясли ее, как потрясла бы материнское сердце хула на бога в устах сына.

— Да что на тебя нашло? — спросила она, делая слабую попытку проявить строгость.

— Цифры,— ответил он. — Цифры, только и всего. Я за эту неделю подсчитал — и просто сам удивился.

— Не пойму, при чем тут цифры? — всхлинула она.

Джонни терпеливо улыбнулся, и мать со страхом подумала: куда девалась его обычная раздражительность?

— Сейчас объясню,— сказал он. — Я вымотался. А от чего? От движений. Я их делал с тех самых пор, как родился. Я устал двигаться, хватит с меня. Помнишь, когда я работал на стекольном заводе? Я пропускал триста дюжин в день. На каждую бутылку десять движений, не меньше. Это будет тридцать шесть тысяч движений в день. В десять дней — триста шестьдесят тысяч. В месяц — миллион восемьдесят тысяч. Отбросим даже восемьдесят тысяч,— он сказал это с великодушным щедрого филантропа,— отбросим восемьдесят тысяч, и то останется миллион в месяц, двенадцать миллионов в год! За ткацким станком я делаю вдвое больше движений. Это будет двадцать пять миллионов в год, и мне кажется, я уже миллион лет их делаю. А эту неделю я совсем не двигался. За целый день ни одного движения. До чего ж хорошо было сидеть, просто сидеть и ничего не делать. Никогда мне не было счастья. Никогда у меня не было свободного времени. Все время двигайся. А какая в этом радость? Не буду я больше ничего делать. Буду сидеть да сидеть, отдыхать да отдыхать — все время отдыхать.

— А что будет с Вилли и ребятишками? — спросила она с отчаянием.

— Ну, конечно, Вилли и ребяташки... — повторил он.

Но в голосе его не было горечи. Он давно знал, какие честолюбивые мечты лелеяла мать в отношении второго сына, но уже не чувствовал обиды. Все теперь было ему безразлично. Даже это.

— Я знаю, мама, что ты задумала для Вилли: чтобы он окончил школу и стал бухгалтером. Да нет, хватит с меня. Придется ему работать.

— Я-то тебя растила,— заплакала она и опять подняла передник, но так и не донесла его до лица.

— Ты меня не растила,— сказал он кротко и грустно. — Я сам себя вырастил, мама, и его вырастил. Вилли крепче меня, плотнее и ростом выше. Я, должно быть, недоедал с малых лет. А пока он подрастал, я работал, добывал хлеб и для него тоже. Но с этим кончено. Пускай Вилли идет работать, как я, или пускай пропадает, мне все равно. Я устал. Я уйду... Что ж ты, не простишься со мной?

Ответа не было. Мать снова спрятала лицо в передник и заплакала. Джонни на миг остановился в дверях.

— Уж я ли не старалась... — всхлипывала мать.

Джонни вышел из дому и зашагал по улице. Слабая улыбка осветила его лицо, когда он взглянул на одинокое дерево.

— Теперь ничего не буду делать,— сказал он самому себе, негромко и нараспев. Потом задумчиво взглянул на небо и зажмурился — яркое солнце ослепило его.

Ему предстоял долгий путь, но он шел не спеша. Вот джутовая фабрика. До ушей его донесся заглушенный грохот ткацкого цеха, и он улыбнулся. Это была кроткая, тихая улыбка. Он ни к чему не чувствовал ненависти, даже к стучащим, скрежещущим машинам. В душе его не было горечи — одна лишь безграничная жажда покоя.

Чем дальше он шел, тем реже попадались дома и фабрики, тем шире раскрывались просторы полей. Наконец город остался позади, и Джонни вышел к тенистой аллее вдоль железнодорожного полотна. Он шел не как человек и не был похож на человека. Это была пародия на человека — замороженное, хилое существо, которое ковыляло, свесив руки, сгорбившись, как больная обезьяна, узкогрудая, нелепая, страшная.

Он миновал маленькую станцию и улегся на траву под деревом. Весь день он пролежал так. Иногда он дремал, и мускулы его подергивались во сне. А просыпаясь, он лежал без движения, следил за птицами или глядел в небо сквозь ветви над головой. Раза два он громко рассмеялся — непонятно чему.

Когда сумерки сгустились в ночную тьму, к станции с грохотом подошел товарный состав. Пока паровоз отводил часть вагонов на запасной путь, Джонни прокрался к поезду. Он открыл дверь пустого товарного вагона и неловко, с трудом залез туда. Потом закрыл за собой дверь. Паровоз дал свисток. Джонни лежал в темноте и улыбался.

Моргансон съел последний кусок бекона. Никогда в жизни он не баловал желудок. Желудок — это было нечто, мало принимавшееся в расчет и мало его беспокоившее, и еще меньше он сам беспокоился о нем. Но сейчас, после долгих лишений, кусочек бекона, вкусный, подсоленный, приятно утолял острую тоску желудка по вкусу.

Тоскливое голодное выражение не сходило с лица Моргансона, щеки у него втянулись, скулы торчали и казались слишком обтянутыми кожей. Бледно-голубые глаза смотрели беспокойно; в них застыл страх перед неизбежным. Дурные предчувствия, сомнение, тревога читалась в его взгляде. Тонкие от природы губы стали еще тоньше; они то и дело подергивались, словно вождедея к начисто выскобленной сковородке.

Моргансон сел, вынул трубку, тщательно ее обследовал и постукал о ладонь, хотя табака в ней не было; потом вывернул наизнанку кисет из тюленьей кожи, смахнул все с подкладки, бережно подбирая каждую пылинку и крупичку табака, — но собрал не больше наперстка; обшарил карманы и двумя пальцами вытащил крошечную щепотку мусора. Среди этого мусора попадались крупинки табака. Он выбрал их все, не упуская самой крошечной, и присоединил к ним даже посторонние частицы — несколько маленьких свалявшихся шерстинок от подкладки его меховой куртки, которые долгие месяцы пролежали в глубине карманов.

Наконец минут через пятнадцать ему удалось набить трубку до половины. Он зажег ее от костра, сел на одеяла и, согревая у огня обутые в мокассы ноги, стал курить, смакуя каждый глоток дыма. Выкурив трубку, он продолжал задумчиво глядеть в угасающее пламя костра. И мало-помалу беспокойство исчезло из его глаз и сменилось решимостью. Он нашел наконец выход из обрушившихся на него бедствий. Но выход этот был не из приятных. Лицо Моргансона стало суровым и хищным, а тонкие губы сжалась еще плотнее.

За решением последовало действие. Моргансон с трудом встал и начал свертывать палатку; уложил на нарты скатанные одеяла, сковородку, ружье и топор и обвязал все веревкой; потом погрел у огня руки и натянул рукавицы. У него болели ноги, и, когда он пошел к передку нарт, хромота сразу стала заметной. Он накиннул на плечо лямку, налег на нее всей своей тяжестью, чтобы сдвинуть нарты с места, и невольно сморщился от боли: лямка за долгий путь потеряла ему плечи.

Дорога шла по замерзшему руслу Юкона. Через четыре часа Моргансон добрался до излучины, обогнул ее и вошел в Минго. Селение, прилепившееся к вершине холма среди вырубки, состояло из одного крытого тростником дома, одного трактира и нескольких хижинок. Моргансон оставил нарты у дверей и вошел в трактир.

— На стаканчик хватит? — спросил он, положив на стойку мешок из-под золотого песка, на вид совсем пустой.

<sup>1</sup> Конец (лат.).

Трактирщик пристально взглянул на него, потом на мешок и поставил на стойку бутылку и стакан.

— Ладно, и так обойдемся,— сказал он.

— Нет, возьми,— настаивал Моргансон.

Трактирщик поднял мешок над весами и встряхнул его; оттуда выпало несколько песчинок золота. Моргансон взял у него мешок, вывернул наизнанку и бережно стряхнул на весы золотую пыль.

— Я думал, с полдоллара наберется,— сказал он.

— Немного не дотянуло,— ответил трактирщик. — Ничего! Доберу на ком-нибудь другом.

Моргансон смущенно налил в стакан немного виски.

— Наливай, наливай так, чтобы почувствовать,— подбодрил его трактирщик.

Моргансон нагнул бутылку и наполнил стакан до краев. Он пил медленно, с наслаждением ощущая, как виски обжигает язык, горячо ласкает горло и приятной теплотой разливается по желудку.

— Цинга? — спросил трактирщик.

— Да, немножко есть,— ответил Моргансон. — Но я еще не отекаю. Вот доберусь до Дайи, там свежие овощи, тогда поправлюсь.

— Положеньице,— усмехнулся трактирщик добродушно,— ни собак, ни денег, и к тому же цинга. На твоём месте я бы попробовал хвойный настой.

Через полчаса Моргансон распрощался с трактирщиком и вышел на дорогу. Он накинул лямку на стёртое плечо и пошел к югу по санному следу, проложенному по руслу реки. Час спустя он остановился. Справа к реке примыкала под углом узкая лощинка. Моргансон оставил нарты и, прихрамывая, прошел по ней с полмили. Отсюда до реки было ярдов триста. Плоская низина поросла тополями. Он прошел ею к Юкону. Дорога тянулась у самого берега, но он на нее не спустился. К югу, по направлению к Селкерку, проложенный в снегу, укатанный нартами путь расширялся и был виден на целую милю. Но на север, к Минто, на расстоянии примерно четверти мили, дорогу заслонял поросший лесом берег.

Довольный результатами осмотра, Моргансон той же кружной дорогой вернулся к нартам. Накинув лямку на плечо, он потащил нарты ложиной. Снег был рыхлый, несслежавшийся, и тащить было тяжело. Полозья облипали снегом, нарты застревали, и, не пройдя и полумили, Моргансон совсем запыхался. Едва успел он раскинуть свою небольшую палатку, установить железную печурку и нарубить немного хвороста, как уже наступила ночь. Свечи у него не было, и, удовольствовавшись кружкой чая, он забрался под одеяла.

Утром Моргансон натянул рукавицы, спустил наушники и прошел поросшей тополями низиной к Юкону. Ружье он взял с собой, но, как и вчера, вниз не спустился. Целый час он наблюдал за пустынной дорогой, бил в ладоши и топал ногами, стараясь согреться, потом вернулся в палатку завтракать. В жестянке оставалось очень мало чая, варюков на пять, не больше, но он положил в котелок такую крошечную щепотку, словно дал обет растягивать чай до бесконечности. Весь его запас продовольствия состоял из полумешка муки и начатой короб-

ки пекарного порошка. Он испек лепешки и не спеша принялся за них, с бесконечным наслаждением пережевывая каждый кусок. Съев третью, он подумал немного, протянул руку за четвертой и заколебался; потом посмотрел на мешок с мукой, приподнял его и прикинул на вес.

— Недели на две хватит,— сказал он вслух и, отодвинув от себя лепешки, добавил: — А может, и на три.

Затем он опять натянул рукавицы, опустил наушники, взял ружье и пошел к своему посту над берегом. Притаившись в снегу, никому не видимый, он стал наблюдать. Так он просидел несколько минут совсем неподвижно, пока его не начал пробирать мороз; тогда, положив ружье на колени, он принялся хлопать в ладоши. Колющая боль в ногах стала нестерпимой, и он отошел немного от берега и начал шагать взад и вперед между деревьями. Но такие прогулки были непродолжительны. Через каждые пять—десять минут Моргансон подходил к краю берега и так пристально смотрел на дорогу, словно одного его желанья было достаточно, чтобы на ней появилась человеческая фигура. Однако короткое утро быстро миновало, хотя ему оно и показалось вечностью,— а дорога по-прежнему оставалась пустынной.

Днем караулить стало легче. Температура поднялась, пошел снег. Ветра не было, и сухие мелкие звездочки спокойно и тихо ложились на землю. Моргансон закрыл глаза, уткнул голову в колени и слушал, что происходит на дороге. Но ни визг собак, ни скрип нарт, ни крик погонщиков не нарушали тишины. В сумерки Моргансон вернулся в палатку, нарубил хвороста, съел две лепешки и забрался под одеяла. Спал он беспокойно, стонал и метался во сне, а в полночь встал и съел еще одну лепешку.

С каждым днем становилось холоднее. Четырьмя лепешками невозможно было поддерживать жизнь в теле, несмотря на то, что Моргансон пил много горячего хвойного настоя; пришлось увеличить порцию до шести лепешек — три утром и три вечером. Днем он не ел ничего, довольствуясь лишь несколькими чашками очень жидкого, но зато настоящего чая. Так шло день за днем: утром три лепешки, в полдень настоящий чай и вечером снова три лепешки. В промежутках Моргансон пил хвойный настой — как лекарство от цинги. Он поймал себя на том, что старается делать лепешки побольше, и после жестокой борьбы с самим собой вернулся к прежним порциям.

На пятый день дорога ожила. На юге показалась темная точка,— она стала увеличиваться. Моргансон насторожился. Он привел в готовность ружье, выбросил патрон из ствола, заменил его новым, а выброшенный вернул в магазинную коробку; потом поставил курок на предохранитель и натянул рукавицу, чтобы правая рука не замерзла. Когда темная точка приблизилась, он различил, что это человек, который идет налегке, без собак и без нарт. Моргансон засуетился, взвел курок, потом снова поставил его на предохранитель. Человек оказался индейцем, и Моргансон, разочарованно вздохнув, опустил ружье на колени. Индеец прошел мимо и исчез за лесным выступом по направлению к Минто.

Моргансона осенила новая мысль. Он перешел на другое место, где ветви тополей низко нависали над землей. На ветвях он сделал топором две глубокие зарубки для упора. Потом положил ствол на один упор и навел ружье на дорогу. Часть дороги полностью была у него под прицелом. Моргансон переложил ружье на другой упор и опять навел его; с этой позиции он держал под прицелом другую часть дороги, вплоть до лесистого выступа, за которым она исчезала.

Вниз Моргансон не сходил. Человек, идущий по дороге, не мог бы догадаться, что кто-то прячется наверху над берегом. Снежная пелена была нетронута. След нарта нигде не сворачивал с дороги.

Ночи становились длиннее, и дневные дежурства Моргансона все сокращались. Однажды в темноте по дороге проехали нарты со звоном колокольчиков, и Моргансон в угрюмой досаде жевал лепешки, прислушиваясь к этим звукам. Все было против него. Десять дней он упорно следил за дорогой, терпя адские муки холода, и ничего не дождался. Прошел только один индеец налегке. А теперь, ночью, когда сторожить было ни к чему, по дороге двигались люди, собаки и нарты с грузом жизни, направляясь к югу, к морю, к солнцу, к цивилизации.

Так думал он теперь о нартах, которые подстерегал. В нартах была жизнь, его жизнь. В нем жизнь затухала, слабела; он боролся со смертью в этой палатке, занесенной снегом. От недоедания он терял силы и не мог продолжать путь. А нарты, которых он дождался, везли собаки,— там была еда, которая раздует пламя его жизни, там были деньги, и они обещали ему море, солнце, цивилизацию. Море, солнце, цивилизация — все это стало для него равнозначно жизни, его жизни, и все это было на тех нартах, которые он ждал. Эта мысль завладела им, и постепенно он стал думать о себе как о законном владельце нарта, груженных жизнью, как о законном владельце, у которого отняли его собственность.

Мука подошла к концу, и Моргансон вернулся к прежней норме — две лепешки утром и две вечером. Но тогда увеличилась слабость и мороз стал шипать еще крепче, однако Моргансон по-прежнему день за днем сторожил дорогу, которая, словно назло ему, оставалась мертвой и не хотела ожить. Скоро цинга перешла в следующую стадию: кожа потеряла способность выводить из крови продукты распада, и тело стало отекать. Особенно отекали ступни и так ныли, что ночью Моргансон подолгу не мог заснуть. Потом отеки распространились до колен, и боль усилилась.

Наступило резкое похолодание. Температура все падала — сорок, пятьдесят, шестьдесят градусов ниже нуля. Термометра у Моргансона не было, но, как все, кто жил в этой стране, он определял температуру по ряду признаков — по шипению воды, когда ее выплескиваешь на снег, по острым укусам мороза, по тому, с какой быстротой замерзает пар от дыхания и слоем инея оседает на парусиновых стенах и на потолке палатки. Тщетно он боролся с холодом, стараясь продолжать свои дежурства на берегу. Он очень ослабел, и мороз легко одолевал его, запуская зубы глубоко в его тело, пока он не спасался в палатку, чтобы погреться у огня. Нос и щеки у него были уже обморожены и

почернели, а большой палец левой руки он ухитрился отморозить, даже не снимая рукавицы. Моргансон примирился с мыслью, что первым суставом придется пожертвовать.

И вот именно тогда, когда мороз загнал его в палатку, дорога, как бы в насмешку над ним, вдруг ожила. В первый день проехало трое нарт, во второй — двое. Оба эти дня он выходил на берег, но, сраженный холодом, спасался бегством, — и каждый раз, через полчаса после его ухода, по дороге проезжали нарты.

Затем мороз спал. Теперь Моргансон опять мог сидеть на берегу, но дорога снова замерла. Целую неделю он сторожил, прячась среди ветвей, но на реке не было и признака жизни, ни одна живая душа не прошла ни в ту, ни в другую сторону. Моргансон еще сократил свою дневную порцию — до одной лепешки вечером и одной утром — и как-то даже не очень это почувствовал. Иногда он сам удивлялся, что еще жив. Он никогда не представлял себе, что можно выдержать столько мучений.

Когда на дороге вновь появилась жизнь, завладеть этой жизнью ему было не под силу. Отряд северо-западной полиции проехал мимо — двадцать человек на нартах и с собаками. Моргансон сидел, скорчившись, на берегу, и они даже не почувствовали смертельной угрозы, которая в образе умирающего человека притаилась у края дороги.

Отмороженный палец очень беспокоил Моргансона. У него вошло в привычку снимать рукавицу и прятать руку под мышку, чтобы палец отходил в тепле. На дороге появился почтальон. Моргансон пропустил его: почтальон — фигура заметная, его хватятся сразу.

В тот день, когда у него кончилась мука, пошел снег. Когда падает снег, всегда становится теплее, и Моргансон, не шелкнувшись, выси-дел на берегу все восемь часов, ужасающе голодный и полный ужа-сающего терпения, — словно чудовищный паук, стерегущий добычу. Но добыча не появилась, и в темноте он кое-как добрался до палатки, выпил несколько кружек хвойного настоя и горячей воды и завалился спать.

На следующее утро судьба сжалилась над ним. Выходя из палатки, он увидел громадного лося, который пересекал лощину ярдов за че-тыреста от него. Моргансон почувствовал, как кровь бурно заходила у него в жилах, а потом его охватила неизъяснимая слабость, к горлу подступила тошнота, и ему пришлось на секунду опуститься на снег, чтобы прийти в себя. Затем он взял ружье и тщательно прицелился. Первый заряд попал в цель, он был уверен в этом, но лось повернул и бросился вверх по лесному склону. Моргансон яростно посылал выстрел за выстрелм вдогонку мелькающему между деревьями и кустами зверю, пока не сообразил, что попусту растрачивает заряды, нужные ему для нарт с грузом жизни, которые он караулил.

Он перестал стрелять и начал присматриваться; установил направ-ление бега лося и высоко на холме между деревьями заметил прога-лину, а на ней — ствол унавшей сосны. Продолжив мысленно линию бега, Моргансон решил, что лось должен пробежать мимо этой сос-ны, — еще одним патроном можно пожертвовать; и он нацелился в



пустоту над упавшим стволом, крепче сжав ружье в дрожащих руках. Лось появился в поле его зрения с поднятыми в прыжке передними ногами. Моргансон спустил курок. Раздался выстрел. Лось, казалось, перекувырнулся в воздухе и рухнул на снег, подняв вихрь снежной пыли.

Моргансон бросился вверх по склону, вернее, хотел броситься. Очнувшись, он понял, что у него был обморок, с трудом встал на ноги и пошел медленно, время от времени останавливаясь, чтобы перевести дух и понемногу прийти в себя. Наконец он дотащился до поваленного ствола. Лось лежал перед ним. Моргансон грузно сел на тушу и засмеялся, потом закрыл лицо руками в рукавицах и снова засмеялся.

Поборов истерический смех, он вынул охотничий нож и насколько мог быстро принялся за дело, преодолевая боль в руке и общую слабость. Он не стал свежевать лося, а разрезал его на четыре части, прямо со шкурой. Это был целый Клондайк мяса.

Закончив разделку туши, он выбрал кусок фунтов в сто весом и поволок его к палатке. Но снег был рыхлый, и такая ноша оказалась Моргансону не под силу. Тогда он взял другой кусок, фунтов в двадцать, и, беспрестанно останавливаясь и отдыхая, дотащил его до палатки. Он поджарил небольшой кусок и больше есть не стал, потом машинально побрел к своему посту. На снегу был свежий след: нарты с грузом жизни прошли мимо, пока он разрезал лося.

Но это не огорчило его. Он был рад, что нарты не прошли до появления лося: лось изменил его планы. Мясо стоило пятьдесят центов фунт, а до Минто было немногим дальше трех миль. Больше не нужно ждать нарт с грузом жизни: лось заменил их. Он продаст его, купит в Минто пару собак, еду и курево, и собаки повезут его по дороге на юг — к морю, к солнцу, к цивилизации.

Ему захотелось есть. Глухой сосущий голод превратился в острую, невыносимую тягу к еде. Он добрался до палатки и поджарил кусок мяса, потом выкурил две полных трубки высушенного спитого чая и опять поджарил кусок мяса. После этого он почувствовал необыкновенный прилив сил, вышел и нарубил хвороста. За этим последовал еще кусок мяса. Пища раздражила аппетит, и теперь его нельзя было утолить. Моргансон не мог удержаться — он то и дело должен был поджаривать мясо. Он попробовал отрезать кусочки поменьше, но тут же заметил, что стал есть чаще.

Днем ему вдруг пришло в голову, что звери могут сожрать его запасы, и, захватив с собой топор, лямку и веревку от нарт, он снова побрел вверх по склону. Он был очень слаб, и, чтобы сделать хранилище и заложить туда мясо, понадобился целый день. Он срубил несколько молодых деревьев, очистил их от веток и, связав вместе, соорудил из них высокий помост. Получилось не такое надежное хранилище, как ему хотелось, но сделать лучше он не мог. Поднять мясо наверх стоило мучительных усилий. Не справившись с большими кусками, Моргансон пустился на хитрость: перекинул веревку через ветку высокого дерева и, привязав к одному концу кусок мяса, подтянул его вверх, повиснув всей своей тяжестью на другом конце.

Вернувшись в палатку, Моргансон продолжал свое одинокое пиршество. У него не было нужды в сотрапезниках: он и желудок — вот и вся компания. Он жарил мясо кусок за куском. Он съедал его фунтами. Заварил крепкий, настоящий чай. Это была последняя заварка. Неважно, завтра он купит чаю в Минто. Насытившись, он закурил; выкурил весь свой запас высушенного спитого чая. Не беда! Завтра у него будет настоящий табак. Он выбил трубку, зажарил напоследок еще один кусок и лег спать. Он столько съел, что боялся лопнуть, и все же вскоре выбрался из-под одеяла и поел еще немного мяса.

Утром Моргансон проснулся с трудом; сон его был глубок, подобен смерти. Ему слышались непонятные звуки. Он не мог понять, где он, и тупо оглядывался кругом, пока не заметил сковородки с последним, уже надкушенным ломтиком мяса. Тогда он все вспомнил и вздрогнул, услышав непонятные звуки; потом с ругательством выскочил из-под одеяла. Слабые от цинги ноги подкосились, Моргансон скорчился от боли и, стараясь не делать резких движений, обулся и вышел из палатки.

С холма, там, где у него хранилось мясо, доносились звуки грызни, прерываемые временами коротким звонким тьяканьем. Не обращая внимания на боль, Моргансон ускорил шаги и громко, угрожающе закричал. Волки бросились в кусты, их было много,— помост лежал на снегу. Звери уже нажрались досыта и рады были улизнуть, оставив ему одни огрызки.

Моргансон догадался, как произошло несчастье. Волки учуяли мясо, и одному из них удалось перепрыгнуть со ствола упавшего дерева на помост,— Моргансон различил волчьи следы на снегу, покрывавшем ствол. Он никак не думал, что волк может так высоко прыгнуть. За первым волком последовал второй, потом третий и четвертый — и непрочный помост рухнул под их тяжестью.

Когда Моргансон прикинул размеры катастрофы, взгляд его стал на мгновение жестким и злобным; потом злоба уступила место прежнему терпеливому выражению. Моргансон стал собирать в кучу гладко обглоданные и изгрызенные кости: в них есть мозг. Обшарив снег, он обнаружил, кроме того, клочья мяса, которыми пренебрегли насытившиеся звери.

Все утро ушло на перетаскивание остатков туши вниз. В палатке оставалось еще не меньше десяти фунтов от того куска, который он принес накануне.

Оглядев свои запасы, Моргансон заключил: «На несколько недель хватит».

Он научился жить, находясь на краю голодной смерти. Прочистив ружье, он подсчитал оставшиеся патроны — их было семь,— зарядил ружье и побрел к своему посту над берегом. Весь день он караулил пустынную дорогу. Он караулил всю неделю. Но на дороге не появлялось никаких признаков жизни.

Мясо подкрепило его, но цинга мучила все больше, ноги болели все сильнее. Теперь он жил на одном супе: варил жидкий бульон из костей и пил его котелок за котелком. Бульон становился все жиже, потому что Моргансон дробил кости и варил их снова и снова. Но

горячая вода с мясным наваром пошла ему впрок, и он заметно окреп, с тех пор как подстрелил лося.

На следующей неделе в жизни Моргансона появилась новая забота: ему захотелось вспомнить, какое сегодня число. Это стало у него навязчивой идеей. Он раздумывал, высчитывал, но результаты каждый раз получались разные. С этой мыслью он просыпался утром, думал об этом весь день, наблюдая за дорогой, и с той же мыслью засыпал вечером. Ночью он часами лежал без сна, думая все о том же. Никакого практического значения это не имело — узнать, какое сегодня число, но его беспокойство все увеличивалось, пока не стало таким же сильным, как голод, как желание жить. В конце концов оно победило, и Моргансон решил пойти в город.

Когда он пришел в Минто, уже стемнело. Но это было ему на руку: никто его не заметит. А на обратном пути будет светить луна. Он поднялся на холм и открыл дверь трактира. Свет ослепил его. В трактире горело всего несколько свечей, но Моргансон слишком долго прожил в темной палатке. Когда его глаза привыкли к свету, он увидел троих мужчин, сидевших вокруг печки, и сейчас же заключил: путешествуют на нартах, мимо него не проезжали — значит, прибыли с другой стороны. Завтра утром проедут мимо его палатки.

Удивленный трактирщик протяжно свистнул.

— Я думал, ты умер,— сказал он.

— Почему? — запинаясь, спросил Моргансон.

Он отвык говорить и не узнал собственного голоса, показавшегося ему чужим и хриплым.

— Больше двух месяцев о тебе не было слышно,— пояснил трактирщик. — Ты отправился отсюда к югу, а до Селкерка не дошел. Где же ты был?

— Рубил дрова для паровой компании,— неуверенно солгал Моргансон.

Ему все еще не удавалось совладать со своим голосом. Он подошел к стойке и облокотился на нее. Он понимал, что лгать надо обдуманно; внешне он держался небрежно и равнодушно, но сердце его колотилось бурно, с перебоями, и он не мог удержаться, чтобы не бросить голодного взгляда на троих мужчин у печки. Они были обладателями жизни — его жизни.

— Где же, черт побери, ты скрывался все это время? — продолжал допытываться трактирщик.

— На том берегу,— ответил Моргансон. — Нарубил целый штабель дров.

Трактирщик понимающе кивнул и заулыбался.

— То-то я слышал, что там рубят,— сказал он. — Значит, это был ты? Ну, выпьешь?

Моргансон обеими руками вцепился в стойку. Выпить! Он готов был целовать ноги этому человеку. Тщетно пытался он вымолвить хоть слово, но трактирщик, не дожидаясь его согласия, уже протягивал ему бутылку.

— А что ты там ел? — спросил он. — По-моему, тебе не под силу и хвороста нарубить. У тебя ужасный вид, приятель.

Моргансон жадно потянулся к долгожданной бутылке и проглотил слюну.

— Я рубил еще до того, как меня разобрала цинга,— сказал он. — Кроме того, подстрелил лося. Да нет, жилось ничего; вот только цинга подвела. — Он наполнил стакан и прибавил: — Я пью хвойный настой, это помогает.

— Еще наливай,— предложил трактирщик.

Два стакана виски на голодный желудок оказали немедленное действие на ослабевший организм Моргансона. Очнувшись, он увидел, что сидит на ящике у печки. Казалось, прошла целая вечность. Высокий, черноусый, широкоплечий человек расплачивался с трактирщиком. У Моргансона плыл туман перед глазами, но он увидел, как человек отделил бумажку от толстой пачки банкнотов. И туман мгновенно рассеялся: это были банкноты в сто долларов. Жизнь! Его жизнь! Он почувствовал непреодолимое желание схватить деньги и броситься вон, в темноту.

Черноусый встал; за ним поднялся один из его товарищей.

— Пойдем, Ольсон,— сказал черноусый третьему спутнику, здоровенному краснолицему блондину.

Ольсон тоже встал, зевая и потягиваясь.

— Как! Уже спать? — огорчился трактирщик. — Ведь рано еще.

— Завтра надо быть в Селкерке,— отвечал черноусый.

— В первый день рождества! — воскликнул трактирщик.

— Чем лучше день, тем лучше для дела,— засмеялся тот.

Все трое вышли и тут только их слова дошли до сознания Моргансона. Вот, значит, какое сегодня число — канун рождества! Ведь для того, чтобы узнать это, он и пришел в Минто. Но теперь для него все заслонили три фигуры и толстая пачка стодолларовых банкнотов.

Дверь хлопнула.

— Это Джон Томсон,— сказал трактирщик. — Он нарыл на два миллиона золота на Серном ручье и на Бонанзе. Денежки к нему так и плывут. Ну, пойду спать. Может, выпьешь еще?

Моргансон колебался.

— Ради праздника,— наставлял трактирщик. — Не беспокойся. Заплатишь сразу, когда продашь дрова.

У Моргансона хватило сил вынуть, попрощаться и выйти на дорогу, не подав виду, что он уже пьян. Ярко светила луна, и он медленно шел в ясной серебристой тишине, унося с собой виденье жизни, обернувшейся для него пачкой стодолларовых банкнотов.

Моргансон проснулся. Было темно. Он лежал, закутавшись в одеяла, так и не сняв мокасин и рукавиц, в шапке со съезженными наушниками. Он встал быстро, насколько позволили силы, разжег огонь, вскипятил воду. Засыпав котелок сосновых иголок, он заметил первые бледные проблески утра и, схватив ружье, поспешил к берегу. Притаившись на снегу в своей засаде, он вспомнил, что так и не выпил хвойного настоя. И еще ему пришло в голову, что Джон Томсон может передумать и, чего доброго, не захочет ехать в первый день рождества.

Рассвело, наступил день. Было холодно и ясно. Моргансон определил, что мороз не меньше шестидесяти градусов. Ни малейшее

дуновение ветра не нарушало морозной полярной тишины. Вдруг Моргансон выпрямился, и напряжение мышц сразу растравило боль в отечных ногах. До него донеслись отдаленные звуки чьих-то голосов и слабое повизгивание собак. Он начал колотить руками по бедрам. Снять рукавицу при шестидесяти градусах ниже нуля, чтобы нажать на спусковой крючок, не так-то просто, и надо было к тому времени заставить тело дать все тепло, какое еще в нем оставалось.

Они появились из-за лесного выступа. Впереди шел тот, третий, имени которого Моргансон не знал. За ним бежали восемь собак в упряжке. Джон Томсон шагал рядом с нартами, направляя их бег поворотным шестом. Шествие замыкал швед Ольсон. «Красавец», — подумал Моргансон, глядя на этого великана в парке из беличьих шкур. Силуэты людей и собак четко вырисовывались на белом фоне. Они казались плоскими, словно картонные фигурки, и двигались, как заведенные.

Моргансон взвел курок, положил ружье на упор и тут же почувствовал, что пальцы у него застыли. Правая рука была голая: он и не заметил, как снял рукавицу. Он поспешно натянул ее снова. Люди и собаки подошли ближе, и он уже различал в морозном воздухе клубы пара от их дыхания. Когда тот, что шел впереди, приблизился на пятьдесят ярдов, Моргансон опять стянул рукавицу с правой руки, положил указательный палец на спуск и прицелился. Раздался выстрел; шедший впереди повернулся и рухнул на дорогу.

Моргансон второпях прицелился в Джона Томсона, но взял слишком низко — тот зашатался и сел на нарты. Моргансон прицелился выше и снова выстрелил. Джон Томсон повалился на нарты навзничь.

Моргансон устремил все свое внимание на Ольсона. Он увидел, что тот бросился бежать по направлению к Минто, а собаки, дойдя до лежащего поперек дороги тела, остановились. Моргансон выстрелил в Ольсона и промахнулся; Ольсон вильнул в сторону, он бежал, кидаясь то вправо, то влево. Моргансон выпустил по нему еще два заряда, один за другим, и не попал. Он уже хотел снова нажать на спуск, но взял себя в руки. Шесть патронов истрачено, оставался только один, и он был в патроннике. Но этот раз надо бить наверняка.

Моргансон заставил себя не стрелять и с отчаянием в душе напряженно присматривался, как бежит Ольсон: кидаясь, как безумный, из стороны в сторону, великан зигзагами мчался по дороге; поля его парки развевались сзади. Моргансон повел ружье, следуя прихотливым скачкам Ольсона. Палец у него начал неметь. Он почти не чувствовал спускового крючка.

— Господи, помоги! — вырвалось у него, и он нажал на спуск.

Ольсон упал с разбега ничком, тело его подскочило, ударившись о накатанную дорогу, и несколько раз перевернулось. Мгновенно он бил руками о снег, потом замер.

Моргансон бросил ружье (ненужное теперь, когда последний патрон был истрачен) и соскользнул вниз по мягкому снегу. Дело сде-

лано, и прятаться больше незачем. Он заковылял к нартам, хищно сжимая пальцы в рукавицах.

Рычание собак остановило его. Вожак, громадный пес, помесь водолаза и канадской лайки, ошетилившись, оскалив на Моргансона клыки, стоял над телом, лежащим поперек дороги. Остальные семь собак тоже ошетинились и зарычали. Моргансон попробовал сделать еще шаг к нартам, и вся упряжка рванулась ему навстречу. Он снова остановился, то угрозой, то лаской пробуя успокоить собак. Между лапами вожака он увидел побелевшее лицо убитого и удивился тому, как быстро жизнь уступила морозу. Джон Томсон лежал на нартах поверх поклажи; голова его завалилась между двумя мешками, и Моргансон видел только черную бороду, торчащую вверх.

Убедившись, что собаки не подпустят его, Моргансон сошел с дороги и, утопая в глубоком снегу, стал обходить нарты. Вожак кинулся к нему, и вся упряжка, путаясь в постромках, повернула следом за вожаком. Больные ноги не позволяли Моргансону быстро двигаться. Он увидел, что собаки окружают его, хотел отступить, но вожак в один прыжок очутился рядом с ним и впился зубами ему в ногу. Икра была прокушена насквозь, но все же Моргансону удалось вырваться.

Он осыпал собак ругательствами, но усмирить их не мог. Вся упряжка рычала, ошетилившись, и рвала постромки, стараясь добраться до него. Моргансон вспомнил об Ольсоне, повернулся и пошел по дороге. Он не обращал внимания на свою прокушенную ногу. Из раны хлестала кровь,— была повреждена артерия, но Моргансон не знал этого.

Больше всего поразила Моргансона бледность, разлившаяся по лицу шведа, еще вчера такому румяному. Сейчас оно было белое, как мрамор. Светлые волосы и ресницы еще больше придавали ему сходство с мраморным изваянием, и невозможно было представить себе, что несколько минут тому назад этот человек был жив. Моргансон стянул рукавицы и обыскал тело. Пояса с деньгами под одеждой не было, не нашлось и мешочка с золотом. В нагрудном кармане парки Моргансон нашарил небольшой бумажник. Коченеющими пальцами он перерыл все, что в нем было,—письма с иностранными штемпелями и марками, несколько квитанций, какие-то счета и записки, аккредитив на восемьсот долларов... И все. Денег не оказалось.

Моргансон хотел было повернуть обратно к нартам и не смог сдвинуться с места: его нога примерзла к дороге. Он глянул вниз и увидел, что стоит в замерзшей красной луже; на разорванной штанине и на мокасилах вырос красный лед. Резким движением он разбил эти кровавые ледяные оковы и заковылял по дороге к нартам. Огромный вожак, укусивший его, зарычал, рванулся вперед, и вся упряжка последовала его примеру.

Моргансон беспомощно заплакал, пошатываясь из стороны в сторону, потом смахнул застывшие на ресницах слезы. Это было похоже на шутку. Злой рок насмеяется над ним. Даже Джон Томсон смеется над ним, задрав бороду к небу.

Обезумев, Моргансон бродил вокруг нарт. То бессильно ругаясь, то рыдая, он вымаливал у собак жизнь, что была там, на нартах.

Потом успокоился. Какая глупость! Надо пойти к палатке, взять топор, вернуться и разможить собакам головы. Теперь он им покажет!

Чтобы пройти к палатке, надо было далеко обогнуть нарты и разъяренных собак. Моргансон сошел с дороги в рыхлый снег и вдруг почувствовал головокружение и остановился. Он боялся, что упадет, если сделает хоть шаг, и долго стоял, покачиваясь на дрожащих от слабости ногах, потом посмотрел вниз и увидел, что снег под ногами опять стал красный. Из раны продолжала бить кровь. Кто мог думать, что укус так глубок!

Моргансон поборол головокружение и нагнулся, чтобы осмотреть рану. Ему показалось, что снег ринулся к нему навстречу, и он отпрянул, словно от удара. Его охватил панический страх — как бы не упасть! — и, сделав огромное усилие, он ухитрился кое-как выпрямиться. Он боялся этого снега, который мог снова ринуться ему навстречу.

Потом белый мерцающий снег вокруг внезапно стал черным. Когда Моргансон пришел в себя, он лежал на снегу. Головокружение прошло. Туман в глазах рассеялся. Но встать он не мог: не хватало сил. Тело было как мертвое. С огромным усилием он перевернулся на бок и увидел нарты и черную бороду Джона Томсона, торчащую вверх. Увидел также, что вожак лижет лицо человека, лежавшего поперек дороги. Моргансон с любопытством наблюдал за ним. Вожак волновался и выражал нетерпение. По временам он отрывисто и звонко лаял, словно желая разбудить человека, и смотрел на него, насторожив уши и махая хвостом; потом сел, поднял кверху морду и завыл. Следом за ним завyla и вся упряжка.

Лежа в снегу, Моргансон больше ничего не боялся. Ему представилось, как найдут его мертвое тело, и он заплакал от жалости к самому себе. Но ему не было страшно. Борьба кончена. Он хотел открыть глаза, но не мог разлепить смерзшиеся ресницы. Он не сделал попытки протереть глаза. Все равно теперь. Он и не думал, что умирать так легко. Он даже рассердился на себя, что провел столько томительных недель в борьбе и страданиях. Его обманули, его запугали смертью. Оказывается, умирать не больно. Все мучения, которые он испытал, принесли жизнь. Жизнь оклеветала смерть. Как это жестоко!

А потом злорада прошла. Теперь, когда он узнал истину, — ложь и вероломство жизни не имели значения. Дремота охватила его, сладкий сон наплывал, успокаивая обещанием отдыха и свободы. Он слышал отдаленный вой собак. Промелькнула мысль, что мороз, завладев его телом, уже не причиняет боли. Потом мысль померкла, а за ней померк и свет, проликавший сквозь веки, на которых жемчужинами замерзли слезы, и с усталым вздохом облегчения он погрузился в сон.

## ПОРУЧЕНИЕ

Отдали швартовы, и «Сиятл-4» стал медленно отходить от берега. Его палубы были битком забиты грузами и багажом, на них кишела разношерстная толпа индейцев, собак, погонщиков, торговцев и воз-

вращающихся домой золотоискателей. Добрая часть населения Доусона выстроилась на берегу, провожая отъезжающих. Когда сходни были убраны и пароход начал выходить на фарватер, прощальные возгласы стали еще оглушительнее. Все в последний момент вспомнили, что не сказали еще чего-то важного, и громко кричали, стараясь, чтобы их услышали по ту сторону разделявшей их полосы воды, которая с каждой минутой становилась шире. Луи Бонделл, подкручивая одной рукой свои рыжие усы, а другой вяло махая друзьям, остающимся на берегу, внезапно что-то вспомнил и бросился к борту.

— Эй, Фред! — завопил он. — Фред!

Фред растолкал плечами стоящую на берегу толпу и протиснулся вперед, стараясь разобрать, что хочет передать ему Луи Бонделл. У того уже лицо побагровело от крика, но слов все равно не было слышно. Между тем полоса воды между пароходом и берегом становилась все шире.

— Эй, капитан Скотт! — крикнул Бонделл, обернувшись к капитанской рубке. — Остановите пароход!

Звякнул сигнальный колокол, большое колесо под кормой крутанулось в обратную сторону и остановилось. Все находившиеся на борту и на пристани воспользовались этой задержкой, чтобы прокричать друг другу последние и уже окончательные пожелания. Тщетно Луи Бонделл пытался, чтобы его услышали. «Снэтл-4» потерял ход, его начало сносить течением, капитан Скотт вынужден был дать передний ход и во второй раз остановить машины. Голова его скрылась в капитанской рубке, и через мгновение он вынырнул с большим мегафоном в руках.

Теперь у капитана Скотта голос приобрел необычайную силу, и когда он рявкнул толпе на палубе и на берегу «заткнитесь!», то его, вероятно, было слышно на вершине Оленьей горы и даже на улицах Клондайка. От этого официального призыва из капитанской рубки шум стих.

— А теперь говорите, что вы хотите передать, — приказал капитан Скотт.

— Передайте Фреду Черчиллю... Он там, на берегу... Скажите ему, чтобы он зашел к Мак-Дональду. У него на хранении мой маленький саквояж. Передайте ему, чтобы он захватил его и привез с собой.

В наступившем молчании капитан Скотт проревел это сообщение через мегафон на берег:

— Эй, вы, Фред Черчилль, пойдите к Мак-Дональду... У него на сохранении маленький саквояж... Принадлежит Луи Бонделлу... Это очень важно... Привезите его с собой... Поняли?

Черчилль помахал рукой в знак того, что понял. Впрочем, если бы Мак-Дональд, живший в полумиле отсюда, открыл окно, он бы тоже разобрал, в чем дело. Вночь воздух огласился прощальными приветствиями, раздался удар судового колокола, «Снэтл-4» двинулся вперед, развернулся на стремнине и пошел вниз по Юкону. Бонделл и



Черчилль до последней минуты махали друг другу, выказывая свою взаимную симпатию.

Это происходило летом. А в конце года двинулся вверх по Юкону «У. Х. Уиллис» с двумя сотнями возвращающихся домой путников на борту. Среди них был и Черчилль. В его каюте в мешке с одеждой лежал и саквояж Луи Бонделла. Это был небольшой прочный кожаный чемоданчик, весил он фунтов сорок, и это обстоятельство заставляло Черчилля нервничать каждый раз, когда ему приходилось хоть ненадолго отлучаться от саквояжа. Человек в соседней каюте вез с собой уйму золотого песка, спрятанного просто в чемодане с бельем, и они в конце концов договорились караулить поочередно. Если один из них спускался поесть, другой не сводил глаз с дверей обеих кают. Когда Черчиллю хотелось сыграть в вист, его сосед оставался на посту, а когда тому хотелось отвести душу, Черчилль принимался за чтение газет четырехмесячной давности, сидя на откидном стульчике в проходе между двумя дверьми.

Зима, судя по всем признакам, сулила быть ранней, и пассажиры с утра и до темноты и еще далеко за полночь толковали об одном: удастся ли им выбраться до того, как река станет, или они вынуждены будут оставить пароход и двигаться дальше по льду. А тут еще случались всякие раздражающие задержки. Дважды ломалась машина, и ее приходилось чинить на скорую руку, и оба раза начинался снегопад, предупреждая их о скором приходе зимы. Девять раз «У. Х. Уиллис» пытался со своей слабенькой машиной преодолеть пороги Пяти Пальцев, а когда это наконец удалось, выяснилось, что пароход опаздывает на четыре дня даже против своего весьма приблизительного расписания. Тогда встал вопрос, будет ли пароход «Флора» дожидаться их повыше Ящичного ущелья. Отрезок реки между Ящичным ущельем и порогами Белой Лошади был недоступен для судов, и пассажиры перебирались здесь в обход порогов пешком, чтобы пересечь с одного парохода на другой. В ту пору телефона в этих местах не существовало, и поэтому предупредить «Флору» о том, что «Уиллис» хотя и с опозданием на четыре дня, но все же подходит, никакой возможности не было.

Когда «Уиллис» вошел в Белую Лошадь, стало известно, что «Флора» ожидала его три дня сверх положенного срока и ушла всего несколько часов назад. Передали также, что «Флора» будет стоять у поста Тагнш до девяти часов утра воскресенья. Дело происходило в четыре часа дня в субботу. Пассажиры собрали митинг. На борту «Уиллиса» находилось большое канадское каное, предназначавшееся для полицейского поста у входа в озеро Беннет. Пассажиры договорились, что они берут на себя ответственность за это каное и за его доставку. После этого стали вызывать добровольцев. Для того чтобы догнать «Флору», решено было выбрать двоих. Тотчас же вызвалось десятка два желающих. Среди них был и Черчилль, уж такой у него характер, что он вызвался прежде, чем подумал о саквояже Бонделла. Когда же он вспомнил о нем, то у него затеплилась надежда, что его не выберут, но человек, прославившийся как капитан футбольной команды в колледже, как президент атлетического клуба, считавший-

ся одним из лучших погонщиков собак и ходоков на Юконе, да еще обладавший такими плечами, как он, не мог рассчитывать, что ему не окажут чести быть избранным. Поручение было возложено на него и на гиганта-немца Ника Антонсена.

Пока толпа пассажиров поспешно тащила на своих плечах каноэ, Черчилль бросился в каюту. Он вытряхнул содержимое своего чемодана на пол и схватил саквояж, намереваясь передать его на сохранение соседу. Но тут же его взяло сомнение: ведь это была чужая вещь, и он, пожалуй, не имел права выпускать ее из рук. Поэтому он схватил саквояж и побежал по берегу, то и дело перекладывая его из одной руки в другую и гадая про себя, не весит ли саквояж в действительности больше сорока фунтов.

Была половина пятого пополудни, когда Черчилль и Антонсен отправились в путь. Течение на Тридцатимильной было настолько сильным, что им почти не удавалось пользоваться веслами. Им приходилось идти по берегу с бечевой на плече, спотыкаясь о камни, продираясь сквозь поросль кустарника, пробираясь по колено и по пояс в воде, то и дело срываясь и падая, а когда на пути вставали непреодолимые скалы, приходилось опять садиться в каноэ, стремительно грести к другому берегу, пока не снесло течением, и вновь тащить лодку на бечеве. Это была изнуряющая работа. Антонсен трудился изо всех сил, безропотно и упорно, как и подобает такому гиганту, но Черчилль, наделенный мощным телом и неукротимой волей, вконец загонял его. Они ни разу не остановились на отдых. Они шли и шли вперед и только вперед. В лицо дул резкий ветер, руки стыли, и приходилось время от времени колотить руку об руку, чтобы восстановить кровообращение в онемевших пальцах.

Когда наступила ночь, пришлось положиться на волю случая. Они то и дело были вынуждены высаживаться на берег и брести по бездорожью, разрывая в клочья одежду о кустарник. У обоих все тело было исцарапано и кровоточило. Раз десять переплывая от берега к берегу, они напарывались на коряги, и лодку опрокидывало. Когда это случилось в первый раз, Черчилль нырял и на глубине в три фута искал в воде саквояж. Он потерял полчаса на поиски и в конце концов для сохранности привязал его к лодке. Таким образом, пока каноэ сохраняло плавучесть, саквояж находился в безопасности. Антонсен издевался по поводу саквояжа, а к утру начал проклинать его, но Черчилль не достаивал спутника объяснениями.

Задержки и неудачи преследовали их на каждом шагу. На одной излучине реки, перерезанной мощным порогом, они потеряли два часа на бесчисленные попытки преодолеть стремнину, и лодка дважды переворачивалась. По обоим берегам здесь вздымались из глубины воды отвесные скалы, так что не было никакой возможности ни протащить лодку на канате, ни пройти с помощью багра, а преодолеть течение на веслах никак не удавалось. Они напрягали все силы, так налегая на весла, что казалось, сердце выскочит из груди от напряжения, но каждый раз их сносило назад. В конце концов им удалось одолеть этот порог только благодаря чистой случайности. На самой стремнине, когда они терпели очередную неудачу, течение вырвало

рулевое весло из рук Черчилля и швырнуло лодку к утесу. Черчилль наугад прыгнул на скалу и, ухватившись одной рукой за расщелину, другой придерживал тонущую лодку, пока Антонсен выбирался из воды. Затем они вытащили каноэ и передохнули. Двинувшись со свежими силами с этого критического места, они перешли пороги. Они пристали к берегу чуть повыше, немедленно выбрались на сушу и побрели через кустарник, волоча за собой лодку на бечеве.

Рассвет застал их еще далеко от поста Тагиш. В девять часов утра они услышали прощальный гудок «Флоры». А когда в десять часов они добрались до поста, то увидели лишь дымок парохода, уходящего на юг. Капитан Джонс из конной полиции принял этих двух совершенно изнуренных оборванцев и накормил, а впоследствии уверял, что никогда в жизни не видел, чтобы люди ели с таким чудовищным аппетитом. Поев, они свалились тут же у плиты, не снимая своих лохмотьев, и заснули. Через два часа Черчилль встал, отнес саквояж Бонделла, служивший ему подушкой, в каноэ, растолкал Антонсена, и они снова пустились вдогонку за «Флорой».

— Мало ли что может случиться? — отвечал Черчилль на все угрозы капитана Джонса. — Машинна может сломаться или еще что-нибудь. Я должен догнать пароход и вернуть его, чтобы забрать ребят.

Озеро Тагиш побелело от сильного, по-осеннему, встречного ветра. Волны обрушивались на лодку, заставляя одного из них все время вычерпывать воду, и на веслах, таким образом, мог сидеть только один гребец. Двигаться вперед при таких обстоятельствах было невозможно. Они прибились к пологому берегу, вылезли из каноэ, один взялся за бечеву, а второй подталкивал лодку. Они боролись с ветром, пробираясь по пояс в ледяной воде, частенько по самую шею; огромные валы то и дело покрывали их с головой. Они не знали ни отдыха, ни минутной передышки в той нечеловеческой, жестокой схватке. В эту ночь у выхода из озера Тагиш во время снежной бури они нагнали «Флору». Антонсен свалился на палубу и тут же захрапел. Черчилль выглядел совершенно ужасно. Одежда едва держалась на плечах, лицо было отморожено и распухло, после непрерывной работы в течение двадцати четырех часов вены на руках вздулись, и он не мог сжать кулак. Ноги болели так, что стоять было невероятным мучением.

Капитан «Флоры» ни за что не соглашался возвращаться обратно к Белой Лошади. Черчилль был настойчив и решителен, но капитан заупрямился. В качестве последнего аргумента он заявил, что ничего они не достигнут, даже если «Флора» вернется, потому что единственный океанский пароход в Дайе, «Афинянин», должен отплыть во вторник утром и «Флора» не успеет подобрать застрявших в Белой Лошади путешественников и обернуться до ухода «Афинянина».

— Когда отплывает «Афинянин»? — спросил Черчилль.

— Во вторник, в семь часов утра.

— Ладно! — сказал Черчилль, отбивая ногой сигнал подъема по ребрам храпящего Антонсена. — Возвращайтесь к Белой Лошади. Мы отправимся вперед и задержим «Афинянина».

Обалдевшего от сна и ничего толком не понимавшего Антонсена спихнули в каноэ, и немец не мог сообразить, что происходит, до тех пор, пока его не окатила огромная ледяная волна и он не услышал крик Черчилля:

— Ты что, разучился грести? Или хочешь, чтобы нас затопило?

Рассвет застал их у Оленьего перевала, ветер стих, но Антонсен был уже совершенно не способен работать веслами. Черчилль вытащил каноэ на пологий берег, и они решили поспать. Черчилль подвернул руку под голову так, что каждые несколько минут рука немела; тогда он просыпался от боли, смотрел на часы и подкладывал другую руку. Через два часа он растолкал Антонсена, и они двинулись дальше. Озеро Беннет, тридцати миль в длину, было спокойным, словно пруд, но на полпути налетел южный ветер, и вода побелела от пены. Час за часом вели они ту же борьбу, что и на озере Тагиш, волоча и подталкивая каноэ по пояс и по шею в ледяной воде, которая то и дело окатывала их с головой, пока здоровенный Антонсен не выбился из сил совершенно. Черчилль безжалостно подгонял его, но когда Антонсен шагнул вперед и чуть не захлебнулся на глубине трех футов, Черчилль втащил его в каноэ. Черчилль продолжал борьбу один и около полудня добрался до полицейского поста у входа в озеро Беннет. Он пытался вытащить Антонсена из каноэ, но не смог. Он прислушивался к тяжелому дыханию совершенно измученного товарища и позавидовал ему, когда подумал, что предстает ему самому впереди. Антонсен может лежать и спать, а он, чтобы не опоздать, должен еще подняться на высоченный Чилкут и спуститься к морю. Настоящие трудности были еще впереди, и Черчилль почти пожалел о том, что в теле у него достаточно сил, потому что из-за этого его телу предстояли немалые муки.

Черчилль вытащил каноэ на берег, подхватил саквояж Бонделла и, прихрамывая, рысцой направился к полицейскому посту.

— Там внизу каноэ из Доусона, предназначенное для вас, — выпалил он офицеру, открывшему на его стук дверь, — и человек в нем, еле живой. Ничего опасного, просто выбился из сил. Позаботьтесь о нем. А я должен спешить. До свидания. Хочу захватить «Афинянина».

Между озером Беннет и озером Линдерман лежит перемычка в милю длиной, и последние слова Черчилль бросил через плечо, почти на бегу. Бежать было очень больно, но он сжал зубы и несся вперед. Он даже забывал о боли, настолько его переполняла жгучая ненависть к саквояжу. Это было тяжкое испытание. Черчилль перекладывал саквояж из руки в руку. Он засовывал его под мышки. Он закидывал руку с саквояжем через плечо, и тот при каждом шаге колотил его по спине. Было ужасно трудно держать саквояж разбитыми и распухшими руками, и он несколько раз ронял его. Один раз, когда он перекладывал саквояж из руки в руку, тот выскользнул и упал, Черчилль споткнулся и тоже свалился на землю.

Добравшись до конца перемычки, Черчилль купил за доллар старые ремни и привязал саквояж к спине. Там же он нанял баркас, который доставил его за шесть миль к верхней оконечности озера Линдерман, куда Черчилль добрался к четырем часам дня, «Афинянин»

должен был отплыть из Дайи в семь часов утра на следующий день. До Дайи было двадцать восемь миль, и перед ним высился Чилкут. Черчилль присел, чтобы поправить обувь перед долгим подъемом, и проснулся. Он заснул в ту же секунду, как только присел. Хотя спал он не больше тридцати секунд, он испугался, что в следующий раз задремлет надолго, и кончал приводить обувь в порядок уже стоя. И даже стоя он не мог побороть слабость сразу. На какое-то мгновение он потерял сознание; он понял это, когда ослабевшее тело начало валиться на землю, но тут же вернул себя в чувство судорожным усилием мышц и удержался на ногах. Этот резкий переход от состояния бессознательности оставил по себе тошноту и дрожь. Черчилль принялся бить себя кулаком по голове, возвращая бодрость отупевшим мозгам.

Вьючный караван Джека Бэрнса возвращался налегке к озеру Кратер, и Черчиллю предложили ехать на муле. Бэрнс хотел погрузить саквояж на другого мула, но Черчилль оставил его при себе, пристроив на луке седла. Однако то и дело дремота охватывала его, и саквояж упорно соскальзывал то на одну сторону седла, то на другую, и каждый раз Черчилль мучительно просыпался. Затем, когда уже начало темнеть, мул задел за выступавшую ветку, и Черчиллю разодрало щеку. В довершение всего мул сбился с дороги и упал, сбросив седока и саквояж на скалы. Дальше Черчилль предпочел идти, точнее сказать, тащиться, по отвратительной, едва ли достойной своего названия тропе, ведя за собой мула. Ужасающий смрад, доносившийся с обочин, говорил о том, сколько лошадей полегло тут жертвами людской погони за золотом. Но Черчилль ничего не чувствовал. Он слишком хотел спать. Однако к тому времени, когда они добрались до Долгого озера, он оправился от сонливости; у Глубокого озера он поручил саквояж Бэрнсу, с которого при тусклом свете звезд не спускал глаз. С саквояжем не должно было ничего случиться.

У озера Кратер караван остался в лагере, а Черчилль, привязав саквояж к спине, принялся карабкаться по склону к перевалу. На этой почти отвесной крутизне он впервые почувствовал, как он устал. Он полз на четвереньках, как краб, явственно ощущая тяжесть своих рук и ног. Каждый раз для того, чтобы поднять ногу, ему приходилось до боли напрягать всю волю. Черчиллю начало казаться, что на ногах у него свинцовые башмаки, как у водолаза, и он едва перебарывал желание нагнуться и пошупать свинец руками. Что касается саквояжа Бонделла, то казалось непостижимым, как могут сорок фунтов весить так много. Саквояж давил на него так, словно он тащил на спине гору, и Черчилль не верил сам себе, вспоминая, как год назад он поднимался на этот самый перевал с грузом в сто пятьдесят фунтов за плечами! Если в тот раз он тащил сто пятьдесят фунтов, то саквояж Бонделла весил, наверное, фунтов пятьсот.

Первый подъем от озера Кратер к перевалу пролегал через небольшой ледник. Тропа здесь была хорошо видна. Но выше, за ледником, являвшимся границей лесной зоны, не было ничего, кроме хаоса голых скал и огромных валунов. Тропинку в темноте не было видно, и он двигался вслепую, ошупью, затрачивая раза в три больше усилий,

чем обычно. Он добрался до перевала в разгар снежной бури и, на свое счастье, натолкнулся на маленькую заброшенную палатку, в которую немедленно заполз. Там он нашел несколько старых и засохших картофелин и полдюжины сырых яиц, которые с аппетитом проглотил.

Когда снег и ветер стихли, он начал почти немислимый спуск. Тропинки здесь не было, и он брел наугад, спотыкаясь, то и дело в самый последний момент обнаруживая, что находится у края какого-нибудь обрыва или ущелья, глубину которых он даже представить не мог. Вскоре тучи вновь закрыли звезды, и в наступившем мраке он поскользнулся и катился вниз футов сто, очутившись исцарапанным и окровавленным на дне большой ямы. Здесь стояло зловоние от лошадиных трупов. Яма была поблизости от тропинки, и погонщики обычно сбрасывали сюда разбитых и умирающих лошадей. От зловония Черчилля затошнило, и, словно в каком-то кошмаре, он стал карабкаться вверх. На полпути он вспомнил о саквояже. Саквояж свалился в яму вместе с Черчиллем, ремни, видимо, лопнули, и он совсем забыл про него. Опять ему пришлось лезть в эту вонючую яму и полчаса ползать на коленях, на ощупь отыскивая саквояж. Прежде чем он наткнулся на саквояж, он насчитал семнадцать дохлых лошадей и одну живую, которую пристрелил из револьвера. Оглядываясь на прошлое, в котором он не раз проявлял храбрость и одерживал победы, Черчилль, не задумываясь, заявил сам себе, что это возвращение за саквояжем было самым героическим поступком в его жизни. Настолько героическим, что, прежде чем выбраться из ямы, он дважды оказывался на грани обморока.

Когда наконец он добрался до ступеней и крутой спуск Чилкута остался позади, дорога стала легче. Нельзя сказать, чтобы уж очень хорошая дорога даже в лучших местах, но это была вполне приемлемая тропинка, по которой он мог бы идти нормально, если бы не был изнурен до последней степени, если бы у него оказался фонарь, чтобы светить под ноги, и если бы не саквояж Бонделла. Черчилль находился в таком состоянии, когда саквояж оказался для него той соломинкой, которая, как говорит пословица, переломила спину верблюду. У него едва хватало сил нести самого себя, но добавочный вес валпил его на землю почти каждый раз, когда он спотыкался. А когда удавалось удержаться на ногах, откуда-то из темноты высовывались ветки, цеплялись за саквояж на спине и тащили Черчилля назад.

Постепенно у Черчилля крепло убеждение, что если он упустит «Афинянина», то только из-за саквояжа. Вообще в сознании у него осталось только два предмета: саквояж и пароход. Он думал только о двух этих предметах, и они казались почему-то неотделимы от некой суровой миссии, ради которой он странствовал и трудился в течение долгих столетий. Он шел и боролся как будто во сне. Словно во сне вошел он в Овечий Лагерь. Он ввалился в салун, высвободил плечи от ремней и начал опускать саквояж на пол. Тот выскользнул у него из пальцев и упал на пол с тяжелым стуком, который не остался незамеченным двумя мужчинами, собиравшимися уходить. Черчилль выпил стакан виски, сказал хозяину бара, чтобы тот разбудил

его через десять минут, и уселся, поставив ногу на саквояж и опустив голову на колени.

Его измученное тело так было сковано от усталости, что, когда его разбудили, потребовалось еще десять минут и еще один стакан виски, чтобы он смог распрямить члены и расправить мускулы.

— Эй, да не туда пошел! — крикнул ему хозяин бара, потом вышел вслед за Черчиллем и в темноте вывел его на дорогу на Каньон-сити. Какие-то проблески сознания подсказали ему, что он идет в правильном направлении, и по-прежнему как во сне, Черчилль брел по тропинке через ущелье. Он сам не знал, что его насторожило, но в этот момент путешествия, прошагав, казалось, уже несколько столетий, он почувствовал опасность и вытащил револьвер. Все еще будто во сне он увидел, как на тропинку вышли двое мужчин и потребовали, чтобы он остановился. Его револьвер выстрелил четыре раза, и он увидел вспышки их револьверов и услышал выстрелы. Кроме того, он понял, что ранен в бедро. Он увидел, как один из мужчин упал, а когда второй подбежал поближе, Черчилль ударил его тяжелым револьвером в лицо. Потом повернулся и бросился бежать. Вскоре он очнулся от своего полусонного состояния и обнаружил, что бежит, прихрамывая, по тропинке. Он был уверен, что все это ему только приснилось, пока он не стал шарить в поисках револьвера и убедился, что револьвер пропал. Потом он почувствовал острую боль в бедре и ощупал себя: рука у него была влажная от крови. Да, он ранен — правда, рана оказалась несерьезной. Тогда он окончательно проснулся и припустил к Каньон-сити.

Там он нашел человека с лошадьми и фургоном, который за двадцать долларов выбрался из постели и пошел запрягать. Черчилль свалился в фургоне на лавку и заснул, не снимая саквояжа со спины. Фургон с грохотом катился по скользким от дождя валунам вниз, по долине, ведущей к Дайе, но просыпался Черчилль только в тех случаях, когда колеса наскакивали на самые высокие валуны. Когда же его подбрасывало ниже, чем на фут, это его ничуть не беспокоило. Последняя миля дороги оказалась более ровной, и он крепко заснул.

Когда на рассвете они прибыли на место, возчик варварски растолкал Черчилля и прокричал ему в ухо, что «Афинянин» ушел. Черчилль туго смотрел на опустевшую гавань.

— Вон там виден дымок у Скагуэя, — сказал возчик.

Черчилль ничего не видел, так как веки у него распухли, но он сказал:

— Это он, достаньте мне лодку.

Возчик оказался человеком обязательным, раздобыл ялик и нашел человека, который за десять долларов — деньги вперед — взялся грести. Черчилль заплатил, и ему помогли сойти в ялик. Сам он сойти был не в состоянии. До Скагуэя было шесть миль, и у него была блаженная мечта поспать. Но человек, поехавший с ним, не умел грести, и Черчилль сам еще несколько столетий работал веслами. Шесть миль никогда прежде не оказывались такими длинными и мучительными. Не сильный, но свежий бриз дул им навстречу и гнал ялик назад.

Черчилль ощущал слабость в желудке, его мучила тошнота, руки и ноги совершенно ооченели. По его приказанию спутник зачерпнул соленой воды и плеснул ему в лицо.

Когда они подплыли к «Афинянину», якорь уже был поднят, а Черчилль вконец выбился из сил.

— Остановите! Остановите! — хрипло закричал он. — Важное сообщение! Остановите!

И он уронил голову на грудь и уснул. Когда шесть человек переносили его вверх по сходам, он проснулся, потянулся за саквояжем и уцепился за него, как утопающий цепляется за соломинку.

На палубе все смотрели на Черчилля с ужасом и любопытством. Одежда, в которой он отправился из Белой Лошади, превратилась в жалкие лохмотья, да и сам он был не в лучшем состоянии. Он находился в пути пятьдесят пять часов при невероятном напряжении сил. За это время он спал всего шесть часов и потерял двадцать фунтов в весе. Лицо, руки и все тело его были исцарапаны и избиты, глаза почти ничего не видели. Черчилль попытался встать, но не смог удержаться на ногах, свалился на палубу, не выпуская из рук саквояж, и передал свое сообщение.

— А теперь положите меня спать, — закончил он, — есть я буду, когда проснусь.

Черчиллю оказали честь и поместили грязного, в лохмотьях в каюте для новобранцев, которая была самой большой и самой роскошной каютой на пароходе. Он проспал двое суток, потом принял ванну, побрился, поел и стоял у поручней, покуривая сигару, когда прибыли двести путников из Белой Лошади.

К тому времени, когда «Афинянин» прибыл в Снетл, Черчилль вполне оправился и бодро сошел на берег с саквояжем Бонделла в руках. Он гордился этим саквояжем. В нем для Черчилля воплощалось представление о подвиге, честности и доверии. «Я выполнил поручение» — такими словами выражал он для себя эти высокие понятия. Было еще не поздно, и Черчилль направился прямо к дому Бонделла. Луи Бонделл встретил его радостно, обеими руками пожал ему руку и потащил в дом.

— О, спасибо, старик, хорошо, что ты привез его, — сказал Бонделл, получая саквояж.

Он небрежно бросил саквояж на кушетку, и Черчилль понимающе заметил, как саквояж всей тяжестью подпрыгнул на пружинах. Бонделл закидал Черчилля вопросами.

— Как ты живешь? Как там ребята? Что случилось с Биллом Смитерсом? Что, Дел Бишоп все еще в компании с Пьерсом? Продали он моих собак? Как на Серном Ручье, нашли что-нибудь? Ты прекрасно выглядишь. На каком пароходе ты приехал?

Черчилль обстоятельно отвечал на все вопросы; так прошло полчаса, и в разговоре наметилась первая пауза.

— Не лучше ли тебе посмотреть его? — предложил Черчилль, кивая на саквояж.

— Да там все в порядке, — ответил Бонделл. — Скажи мне, что, россыпь Митчела действительно дала так много, как ожидали?



— Я все-таки думаю, что тебе следует посмотреть,— настаивал Черчилль. — Когда я передаю доверенную мне вещь, я хочу быть уверен, что все в порядке. Могло случиться, что кто-нибудь залез в твой саквояж, пока я спал, или еще что-нибудь.

— А там нет ничего важного, старик,— со смехом ответил Бонделл.

— Ничего важного,— повторил Черчилль едва слышно. Потом решительно сказал: — Луи, что находится в этом саквояже? Я хочу знать.

Луи с удивлением посмотрел на него, вышел из комнаты и вернулся со связкой ключей. Он запустил руку в саквояж и вытащил оттуда кольт 44-го калибра. За ним последовало несколько коробок с патронами для револьвера и для винчестера.

Черчилль взял саквояж и заглянул в него. Затем он перевернул и легонько потряс.

— Револьвер заржавел,— заметил Бонделл. — Наверное, попал под дождь.

— Да,— ответил Черчилль. — Жаль, что туда проникла сырость. Видимо, я был неосторожен.

Он поднялся и вышел. Через десять минут вышел из дома и Луи Бонделл. Черчилль сидел на ступеньках, подперев подбородок руками, и пристально смотрел в темноту.

## «АЛОХА ОЭ»

Нигде уходящим в море судам не устраивают таких проводов, как в гавани Гонолулу. Большой пароход стоял под парами, готовый к отплытию. Не менее тысячи человек толпились на его палубах, пять тысяч стояло на пристани. По высоким сходням вверх и вниз проходили туземные принцы и принцессы, сахарные короли, видные чиновники Гавайев. А за толпой, собравшейся на берегу, длинными рядами выстроились под охраной туземной полиции экипажи и автомобили местной аристократии.

На набережной гавайский королевский оркестр играл «Алоха Оэ», а когда он смолк, ту же рыдающую мелодию подхватил струнный оркестр туземцев на пароходе, и высокий голос певицы птицей взлетел над звуками инструментов, над многоголосым гамом вокруг. словно звонкие переливы серебряной свирели, своеобразные и неповторимые, влились вдруг в многозвучную симфонию прощания.

На нижней палубе вдоль поручней стояли в шесть рядов молодые люди в хаки; их бронзовые лица говорили о трех годах военной службы, проведенных под знойным солнцем тропиков. Однако это не их провожали сегодня так торжественно, и не капитана в белом кителе, стоявшего на мостике и безучастно, как далекие звезды, взиравшего с высоты на суматоху внизу, и не молодых офицеров на корме, возвращавшихся на родину с Филиппинских островов вместе со своими измученными тропической жарой, бледными женами. На верхней палубе, у самого трапа, стояла группа сенаторов Соединенных Штатов — человек двадцать — с женами и дочерьми. Они приезжали сюда раз-

влечся. И целый месяц их угощали обедами и поили вином, пичкали статистикой, таскали по горам и долам, на вершины вулканов и в залитые лавой долины, чтобы показать все красоты и природные богатства Гавайев.

За этой-то веселящейся компанией и прибыл в гавань большой пароход, и с нею прощался сегодня Гонолулу.

Сенаторы были увешаны гирляндами, они просто утопали в цветах. На бычьей шее и мощной груди сенатора Джереми Сэмбрука красовалась добрая дюжина венков и гирлянд. Из этой массы цветов выглядывало его потное лицо, покрытое свежим загаром. Цветы раздражали сенатора невыносимо, а на толпу, кишевшую на пристани, он смотрел оком человека, для которого существуют только цифры, человека, слепого к красоте. Он видел в этих людях лишь рабочую силу, а за ней — фабрики, железные дороги, плантации, все то, что она создавала и что олицетворяла собой для него. Он видел богатства этой страны, думал о том, как их использовать, и, занятый этими размышлениями о материальных благах и могуществе, не обращал никакого внимания на дочь, которая стояла подле него, разговаривая с молодым человеком в изысканном летнем костюме и соломенной шляпе. Юноша не отрывал жадных глаз от ее лица и, казалось, видел только ее одну. Если бы сенатор Джереми внимательно присмотрелся к дочери, он понял бы, что пятнадцатилетняя девочка, которую он привез с собой на Гавайские острова, за этот месяц превратилась в женщину.

В климате Гавайев все зреет быстро, а созреванию Дороти Сэмбрук к тому же особенно благоприятствовали окружающие условия. Тоненькой бледной девочкой с голубыми глазами, немного утомленной вечным сидением за книгами и попытками хоть что-нибудь понять в загадках жизни, — такой приехала сюда Дороти месяц назад. А сейчас в глазах ее был жаркий свет, щеки позолочены солнцем, в линиях тела уже чувствовалась легкая, едва намечавшаяся округлость. За этот месяц Дороти совсем забросила книги, ибо читать книгу жизни было куда интереснее. Она ездила верхом, взбиралась на вулканы, училась плавать на волнах прибоя. Тропики проникли ей в кровь, она упивалась ярким солнцем, теплом, пышными красками. И весь этот месяц она провела в обществе Стивена Найта, настоящего мужчины, спортсмена, отважного пловца, бронзового морского бога, который укрощал бешеные волны и на их хребтах мчался к берегу.

Дороти Сэмбрук не замечала перемены, которая произошла в ней. Она оставалась пассивной молоденькой девушкой, и ее удивляло и смущало поведение Стива в этот час расставания.

До сих пор она видела в нем просто доброго товарища, и весь месяц он и был ей только товарищем, но сейчас, прощаясь с ней, вел себя как-то странно. Говорил взволнованно, бессвязно, вдруг умолкал, начинал снова. По временам он словно не слышал, что говорит она, или отвечал не так, как обычно. А взгляд его приводил Дороти в смятение. Она раньше и не замечала, что у него такие горящие глаза; она не смела смотреть в них и то и дело опускала ресницы. Но выражение их и пугало, и в то же время притягивало ее, и она снова и снова заглядывала в эти глаза, чтобы увидеть то пламенное,

властное, тоскующее, чего она еще не видела никогда ни в чьих глазах. Она и сама испытывала какое-то странное волнение и тревогу.

На пароходе оглушительно завыл гудок, и увенчанная цветами толпа хлынула ближе. Дороти Сэмбрук сделала недовольную гримасу и заткнула пальцами уши, чтобы не слышать пронзительного воя,— и в этот миг она снова перехватила жадный и требовательный взгляд Стива. Он смотрел на ее уши, нежно розовеющие и прозрачные в косых лучах закатного солнца.

Удивленная и словно замороженная странным выражением его глаз, Дороти смотрела на него не отрываясь. И Стив понял, что выдал себя; он густо покраснел и что-то невнятно пробормотал. Он был явно смущен, и Дороти была смущена не меньше его. Вокруг них суетилась пароходная прислуга, торопя провожающих сойти на берег. Стив протянул руку. И в тот миг, когда Дороти ощутила пожатие его пальцев, тысячу раз сжимавших ее руку, когда они вдвоем карабкались по крутым склонам или неслись на лодке по волнам,— она услышала и по-новому поняла слова песни, которая, подобно рыданию, рвалась из серебряного горла гавайской певицы:

Ka halia Ko aloha Kai hiki mai,  
Ke hone ae nei i Ku'u maupawa,  
O oe no Ka'u aloha  
A loko e hana nei.

Этой песне учил ее Стив, она знала и мелодию, и слова и до сих пор думала, что понимает их. Но только сейчас, когда в последний раз пальцы Стива крепко сжали ее руку и она ощутила теплоту его ладони, ей открылся истинный смысл этих слов. Она едва заметила, как ушел Стив, и не могла отыскать его в толпе на сходнях, потому что в эти минуты она уже блуждала в лабиринтах памяти, вновь переживая минувшие четыре недели — все события этих дней, представшие перед ней сейчас в новом свете.

Когда месяц назад компания сенаторов прибыла в Гонолулу, их встретили члены комиссии, которой было поручено развлекать гостей, и среди них был и Стив. Он первый показал им в Ваикики-Бич, как плавают по бурным волнам во время прибоя. Выплыв в море верхом на узкой доске, с веслом в руках, он помчался так быстро, что скоро только пятнышком замелькал и исчез вдали. Потом неожиданно возник снова, встав из бурлящей белой пены, как морской бог,— сначала показались плечи и грудь, потом бедра, руки; и вот он уже стоял во весь рост на пенящем гребне могучего вала длиной с милю, и только ноги его были зарыты в летящую пену. Он мчался со скоростью экспресса и спокойно вышел на берег на глазах у пораженных зрителей. Таким Дороти впервые увидела Стива. Он был самый молодой член комиссии — двадцатилетний юноша. Он не выступал с речами, не блистал на торжественных приемах. В увеселительную программу для гостей он внесил свою долю, плавая на бурных волнах в Ваикики, гоняя диких быков по склонам Мауна Кеа, обьезжая лошадей на ранчо Халеакала.

Дороти не интересовали бесконечные статистические обзоры и ораторские выступления остальных членов комиссии, на Стива они тоже нагоняли тоску,— и оба потихоньку удирали вдвоем. Так они сбежали и с пикника в Хамакуа, и от Эба Лунссона, кофейного плантатора, который в течение двух убийственно скучных часов занимал гостей разговором о кофе, о кофе и только о кофе. И как раз в тот день, когда они ехали верхом среди древовидных папоротников, Стив перевел ей слова песни «Алоха Оэ», которой провозжали гостей-сенаторов в каждой деревне, на каждом ранчо, на каждой плантации.

Они со Стивом с первого же дня очень много времени проводили вместе. Он был ее неизменным спутником на всех прогулках. Она совсем завладела им, пока ее отец собирал нужные ему сведения о Гавайских островах. Дороти была кротка и не тиранила своего нового приятеля, но он был у нее в полном подчинении, и лишь во время катания на лодке, или поездок верхом, или плавания в прибой власть переходила к нему, а ей оставалось слушаться.

И вот теперь, когда уже был поднят якорь и громадный пароход стал медленно отваливать от пристани, Дороти, слушая прощальную мелодию «Алоха Оэ», поняла, что Стив был для нее не только веселым товарищем.

Пять тысяч голосов пели сейчас «Алоха Оэ»:

В разлуке любовь моя будет с тобою  
Всегда, до новой встречи.

И в то же мгновение, вслед за открытием, что она любит и любима, пришла мысль, что их со Стивом разлучают, отрывают друг от друга. Когда еще они встретятся снова? И встретятся ли? Слова песни о новой встрече она услышала впервые от него, Стива,— она вспомнила, как он пел их ей, повторяя много раз подряд, под деревом хау в Ванкики. Не было ли это предсказанием? А она восторгалась его пением, твердила ему, что он поет так выразительно... Вспомнив это, Дороти рассмеялась громко, истерически. «Выразительно!» Еще бы, когда человек душу свою изливал в песне! Теперь она знала это, но слишком поздно. Почему он ей ничего не сказал?

Вдруг она вспомнила, что в ее возрасте девушки еще не выходят замуж. Но тотчас сказала себе: «А на Гавайях выходят». На Гавайях, где кожа у всех золотиста и женщины под поцелуями солнца созревают рано, созрела и она — за один месяц.

Тщетно вглядывалась Дороти в толпу на берегу. Куда девался Стив? Она готова была отдать все на свете, чтобы увидеть его еще хоть на миг, она почти желала, чтобы какая-нибудь смертельная болезнь поразила капитана, одиноко стоявшего на мостике,— ведь тогда пароход не уйдет! В первый раз в жизни она посмотрела на отца внимательно, пылливо — и с внезапно проснувшимся страхом прочла в этом лице упрямство и жестокую волю. Противиться этой воле очень страшно! И разве она может победить в такой борьбе?..

Но почему, почему Стив молчал до сих пор? А сейчас уже поздно... Почему он не сказал ей ничего тогда, под деревом хау в Ванкики?

Тут ее осенила догадка — и сердце у нее упало. Да, да, теперь понятно, почему молчал Стив! Что-то такое она слышала недавно... А, это было у миссис Стентон, в тот день, когда дамы миссионерского кружка пригласили на чашку чая жен и дочерей сенаторов. Та высокая блондинка, миссис Ходжкинс, задала вопрос... Дороти отчетливо вспомнила все: обширную веранду, тропические цветы, бесшумно сновавших вокруг слуг-азиатов, жужжание женских голосов и вопрос миссис Ходжкинс, сидевшей неподалеку в группе других дам. Миссис Ходжкинс недавно вернулась на остров с континента, где она провела много лет, и, видимо, расспрашивала о старых знакомых, подругах ее юности.

— А как поживает Сюзи Мэйдуэлл? — осведомилась она.

— О, мы с ней больше не встречаемся! Она вышла за Вилли Кьюпеля, — ответила одна из местных жительниц.

А жена сенатора Беренда со смехом спросила, почему же замужество Сюзи Мэйдуэлл оттолкнуло от нее приятельниц.

— Ее муж — *хапа-хаоле*, человек смешанной крови, — был ответ. —

А мы, американцы на островах, должны думать о наших детях.

Дороти повернулась к отцу, решив проверить свою догадку.

— Папа! Если Стив приедет когда-нибудь в Штаты, ему можно будет бывать у нас?

— Стив? Какой Стив?

— Ну, Стивен Найт. Ты же его знаешь, ты прощался с ним только что, пять минут назад! Если ему случится когда-нибудь попасть в Штаты, можно будет пригласить его к нам?

— Конечно, нет! — коротко отрезал Джереми Сэмбрук. — Этот Стивен Найт — *хапа-хаоле*. Ты знаешь, что это значит?

— О-ох! — чуть слышно вздохнула Дороти, чувствуя, как немое отчаяние закрадывается ей в душу.

Стив — не *хапа-хаоле*, в этом Дороти была уверена. Она не знала, что к его крови примешалась капелька крови, полной жара тропического солнца, а значит, о браке с ним нечего было и думать. Станный мир! Ведь преподобный Клегхорн женился же на темнокожей принцессе из рода Камехахеа, — и все-таки люди считали за честь знакомство с ним, и в его доме бывали женщины высшего света из ультрафешенебельного миссионерского кружка! А вот Стив... То, что он учил ее плавать или вел ее за руку в опасных местах, когда они поднимались на кратер Килауэа, никому не казалось предосудительным. Он мог обедать с нею и ее отцом, танцевать с нею, быть членом увеселительной комиссии, но жениться на Дороти он не мог, потому что в жилах его струилось тропическое солнце.

А ведь это совсем не было заметно! Кто не знал, тому это и в голову не могло прийти! Стив был так красив... Образ его запечатлелся в ее памяти, и она с бессознательным удовольствием вспоминала великолепное гибкое тело, могучие плечи, надежную силу этих рук, что так легко подсаживали ее в седло, несли по гремящим волнам или поднимали ее, уцепившуюся за конец альпенштока, на крутую вершину горы, которую называют «Храмом солнца»! И еще что-то другое, таинственное и неуловимое, вспоминалось Дороти, что-то такое,

в чем она и сейчас еще очень смутно отдавала себе отчет: ощущение близости мужчины, настоящего мужчины, какое она испытывала, когда Стив бывал с нею.

Она вдруг очнулась с чувством острого стыда за эти мысли. Кровь прилила к ее щекам, окрасила их ярким румянцем, но тотчас отхлынула: Дороти побледнела, вспомнив, что больше никогда не увидит любимого.

Пароход уже отвалил, и палубы его поравнялись с концом набережной.

— Вон там стоит Стив,— сказал сенатор дочери.— Помаши ему на прощание, Дороти!

Стив не сводил с нее глаз и увидел в ее лице то новое, чего не видел раньше. Он просиял, и Дороти поняла, что он теперь знает. А в воздухе трепетала песня:

Люблю — и любовь моя будет с тобой  
Всегда, до новой встречи.

Слова были не нужны, они и без слов все сказали друг другу. Вокруг Дороти пассажиры снимали с себя венки и бросали их друзьям, стоявшим на пристани. Стив протянул руки, глаза его молили. Она стала снимать через голову свою гирлянду, но цветы зацепились за нитку восточного жемчуга, которую надел ей сегодня на шею старик Мервин, сахарный король, когда вез ее и отца на пристань.

Она дергала жемчуг, цеплявшийся за цветы. А пароход двигался и двигался вперед. Стив был теперь как раз под палубой, где она стояла, медлить было нельзя — еще минута, и он останется позади!

Дороти всхлипнула, и Джереми Сэмбрук испытующе посмотрел на нее.

— Дороти! — крикнул он резко.

Она решительно рванула ожерелье — и вместе с цветами дождь жемчужин посыпался на голову ожидавшего возлюбленного.

Она смотрела на него, пока слезы не застлали перед ней все, потом спрятала лицо на плече отца. А сенатор, забыв о статистике, с удивлением спрашивал себя: почему это маленькие девочки так спешат стать взрослыми?

Толпа на пристани все пела, мелодия, отдаваясь, таяла в воздухе, но по-прежнему была в ней любовная нега и слова сжигали сердце, как кислота, ибо в них была ложь.

Aloha oe, Aloha oe, e ke oia no ho ika lipo...  
В последний раз приходи в мои объятия!  
Любовь моя с тобой всегда, до новой встречи.

## КУЛАУ-ПРОКАЖЕННЫЙ

— Оттого что мы больны, у нас отнимают свободу. Мы слушались закона. Мы никого не обижали. А нас хотят запереть в тюрьму. Молокан — тюрьма. Вы это знаете. Вот Ниули,— его сестру семь лет

как услали на Молокаи. С тех пор он ее не видел. И не увидит. Она останется на Молокаи до самой смерти. Она не хотела туда ехать. Ниули тоже этого не хотел. Это была воля белых людей, которые правят нашей страной. А кто они, эти белые люди?

Мы это знаем. Нам рассказывали о них отцы и деды. Они пришли смиренные, как ягнята, с ласковыми словами. Оно и понятно: ведь нас было много, мы были сильны, и все острова принадлежали нам. Да, они пришли с ласковыми словами. Они разговаривали с нами по-разному. Одни просили разрешить им, милостиво разрешить им проповедовать нам слово божие. Другие просили разрешить им, милостиво разрешить им торговать с нами. Но это было только начало. А теперь они все забрали себе — все острова, всю землю, весь скот. Слуги господ бога и слуги господа рёма действовали заодно и стали большими начальниками. Они живут, как цари, в домах о многих комнатах, и у них толпы слуг. У них ничего не было, а теперь они завладели всем. И если вы, или я, или другие канаки<sup>1</sup> голодают, они смеются и говорят: «А ты работай. На то и плантации».

Кулау замолчал. Он поднял руку и скрюченными, узловатыми пальцами снял с черноволосой головы сверкающий веночек из цветов мальвы. Лунный свет заливал ущелье серебром. Ночь дышала мирным покоем. Но те, кто слушал Кулау, казались воинами, пострадавшими в жестоком бою. Их лица напоминали львиные морды. У одного на месте носа зияла дыра, у другого с плеча свисала култышка — остаток сгнившей руки. Их было тридцать человек, мужчин и женщин, — тридцать отверженных, ибо на них лежала печать зверя.

Они сидели, увенчанные цветами, в душистой, пронизанной светом мгле, выражая свое одобрение речи Кулау нечленораздельными хрипылыми криками. Когда-то они были людьми, но теперь это были чудовища, изувеченные и обезображенные, словно их веками пытали в аду, — страшная карикатура на человека. Пальцы — у кого они еще сохранились — напоминали когти гарпий; лица были как неудавшиеся, забракованные слепки, которые какой-то сумасшедший бог, играя, разбил и расплющил в машине жизни. Кой у кого этот сумасшедший бог попросту стер половину лица, а у одной женщины жгучие слезы текли из черных впадин, в которых когда-то были глаза. Некоторые мучились и громко стонали от боли. Другие кашляли, и кашель их походил на треск рвущейся материи. Двое были идиотами, похожими на огромных обезьян, созданных так неудачно, что по сравнению с ними обезьяна показалась бы ангелом. Они гримасничали и бормотали что-то, освещенные луной, в венках из тяжелых золотистых цветов. Один из них, у которого раздувшееся ухо свисало до плеча, сорвал яркий оранжево-алый цветок и украсил им свое страшное ухо, колыхавшееся при каждом его движении.

И над этими существами Кулау был царем. А это захлебнувшееся цветами ущелье, зажатое между зубчатых скал и утесов, откуда доно-

---

<sup>1</sup> Канаки — коренной житель Гавайских островов; канаками называли всех полинезийцев.

силось бляение диких коз, было его царством. С трех сторон поднима-лись мрачные стены, увешанные причудливыми занавесями из тропи-ческой зелени и чернеющие входами в пещеры,— горные берлоги его подданных. С четвертой стороны долина обрывалась в глубочайшую пропасть, и там, вдальеке, виднелись вершины более низких гор и хреб-тов, у подножия которых гудел и пенился океанский прибой. В тихую погоду к каменистому берегу в устье долины Калалау можно было пристать на лодке,— но только в очень тихую погоду. И смелый горец мог проникнуть с берега в верхнюю часть долины в зажатое скалами ущелье, где царствовал Кулау; но такой человек должен был обла-дать большой смелостью и к тому же знать еле видимые глазу козыи тропы. Казалось невероятным, что жалкие, беспомощные калеки, со-ставлявшие племя Кулау, сумели пробраться по головокружительным тропинкам в это неприступное место.

— Братья,— начал Кулау.

Но тут один из косноязычных, обезьяноподобных уродов издал безумный звериный крик, и Кулау замолчал, дожидаясь, когда отзву-ки этого пронзительного вопля, перекатившись между скалистыми сте-нами, замрут вдаль, в неподвижном ночном воздухе.

— Братья, не удивительно ли? Нашей была эта земля, а теперь она не наша. Что дали нам за нашу землю эти слуги господ бога и господ рома? Получил ли кто из вас за нее хоть доллар, хоть один доллар? А они стали хозяевами и теперь говорят нам, что мы можем работать на земле — на их земле, и что плоды наших трудов тоже достанутся им. В прежние дни нам не нужно было трудиться. И ко всему этому теперь, когда нас поразила болезнь, они отнимают у нас свободу.

— А кто принес нам эту болезнь, Кулау? — спросил сухопарый, жилистый Килоллана, который лицом так напоминал смеющегося фавна, что, казалось, вместо ног у него должны быть копыта. Но это были не копыта, а ноги, только все в крупных язвах и лиловых пятнах гниения. А когда-то Килоллана смелее всех карабкался по горам и знал все козыи тропинки, он-то и привел Кулау и его несчастный народ в безопасные верховья Калалау.

— Это правильный вопрос,— ответил Кулау. — Оттого что мы не хотели работать на сахарных плантациях, где раньше паслись наши кони, они привезли из-за моря рабов-китайцев. А с ними пришла ки-тайская болезнь — та самая, которой мы болеем и за которую нас хотят заточить на Молокан. Мы родились на Кауан. Мы бывали и на других островах, кто где — на Оаху, Мауи, Гавайи, в Гонолулу. Но всегда мы возвращались на Кауан. Почему мы возвращались? Как вы думаете? Потому что мы любим Кауан. Мы здесь родились, здесь жили. И здесь мы умрем, если... если среди нас нет трусливых душ. Таких нам не нужно. Таким место на Молокан. И если они есть среди нас, пускай уходят. Завтра на берег высадутся солдаты. Пусть трус-ливые души спустятся к ним. Их живо отирают на Молокан. А мы — мы остаемся и будем бороться. Но не бойтесь, мы не умрем. У нас есть винтовки. Вы ведь знаете, как узка тропа, двоим на ней не разойтись. Я, Кулау, который ловил когда-то диких быков на Ниихау,



один могу защищать эту тропу от тысячи врагов. Вот Капалеи, он раньше был судьей над людьми, почтенным человеком, а теперь он — затравленная крыса, как и мы с вами. Он мудрый, послушайте его.

Капалеи поднялся. Когда-то он был судьей. Он учился в колледже в Пунахоу. Он сидел за одним столом с господами и начальниками и с высокими представителями иностранных держав, охраняющими интересы торговцев и миссионеров. Вот каков был Капалеи в прошлом. А сейчас, как и сказал Кулау, это была затравленная крыса, человек вне закона, превратившийся в нечто столь страшное, что он был теперь и ниже закона, и выше его. Вместо носа и щек у него остались только черные ямы, глаза без век горели из-под голых надбровных дуг.

— Мы не затеваем раздоров, — начал он. — Мы просим, чтобы нас оставили в покое. Но если они не оставляют нас в покое — значит, они и затевают раздоры, и пусть понесут за это наказание. Вы видите, у меня нет пальцев. — Он поднял свои култышки, чтобы все могли их увидеть. — Но вот от этого большого пальца еще сохранился сустав, и я могу нажать им на спуск так же крепко, как в былые дни — указательным пальцем, которого нет. Мы любим Кауаи. Так давайте жить здесь или умрем здесь, но не пойдем в тюрьму на Молокаи. Болезнь эта не наша. На нас нет греха. Слуги господ бога и господ рома привезли сюда болезнь вместе с китайскими кули, которые работают на украденной у нас земле. Я был судьей. Я знаю закон и порядок. И я говорю вам: не разрешает закон украсть у человека землю, заразить его китайской болезнью, а потом заточить в тюрьму на всю жизнь.

— Жизнь коротка, и дни наши наполнены страданиями, — сказал Кулау. — Давайте петь и танцевать, и будем счастливы, как можем.

Из пещеры в скале принесли калабаши<sup>1</sup> и пустили их в круговую. Они были наполнены крепчайшей настойкой из корней растения ти; и когда жидкий огонь ударил этим людям в мозг и разлился по телу, они забыли все и снова стали людьми. В женщине, проливавшей жгучие слезы из пустых глазниц, проснулись прежние чувства, и она, перебирая струны своей гитары, запела любовную песню дикарки — песню, что родилась в темных лесных чащах первобытного мира. Воздух дрожал от ее голоса, властного и зовущего. На циновке, подчиняясь ритму песни, плясал Килолиана. Каждое его движение излучало любовь, и рядом с ним, на циновке, плясала женщина, чьи пышные бедра и высокая грудь странно не вязались с изъеденным болезнью лицом. То была пляска живых мертвецов, ибо в их разлагающихся телах еще таились и любовь, и желания. Все громче звучала любовная песня женщины, проливавшей жгучие слезы из невидящих глаз, все упоеннее плясали танцоры пляску любви в теплой ночной тишине, все быстрее ходили по рукам калабаши, и упорным огнем тлели у всех в мозгу воспоминания и страсть.

Рядом с женщиной на циновке плясала тоненькая девушка; лицо у нее было красивое и чистое, но на скрюченных руках, поднимавших-

<sup>1</sup> Калабашь (калбаса) — выдолбленная тыква, служащая сосудом.

ся и падавших в пляске, болезнь уже оставила свой разрушительный след. А оба идиота — страшная, отвратительная пародия на человека — плясали поодаль, бормоча и хрипя что-то невнятное, пародируя любовь.

Но вот любовная песня женщины оборвалась на полуслове, опустились на землю калабаши, и кончилась пляска. Взгляды всех устремились в пропасть, к морю, над которым в залитом луною воздухе призрачным огнем сверкнула ракета.

— Это солдаты, — сказал Кулау. — Завтра будет бой. Нужно подкрепиться сном и подготовиться.

Прокаженные повиновались и уползли в свои норы, и скоро Кулау остался один. Он сидел неподвижно в свете луны, положив на колени винтовку и глядя вниз на далекий берег, к которому приставали лодки.

Здесь, наверху, долина Калалау была надежным убежищем. Если не считать Килолианы, знавшего обходные тропы в отвесных стенах ущелья, никто не мог добраться сюда, кроме как по острому горному гребню. Гребень этот тянулся на сотню ярдов в длину; в ширину он был не больше двенадцати дюймов. По обе стороны его зияли пропасти. Стоило поскользнуться — и справа и слева человека ждала верная смерть. Но в конце пути перед ним открывался земной рай. Море зелени омывало ущелье, заливая его от стены до стены зелеными волнами, стекая со скалистых уступов обильными струями лоз и разбрызгивая по всем расщелинам пену папоротников и воздушных корней. Долгие месяцы Кулау и его подданные вели борьбу с этим морем растительности. Им удалось отеснить буйные цветущие заросли, и теперь бананам, апельсинным и манговым деревьям стало свободнее. На небольших полянках рос дикий аррорут; на каменных террасах, покрытых слоем земли, они развели таро и дыни; и на всех открытых местах, куда проникало солнце, поднимались деревья папайя, отягченные золотыми плодами.

В это убежище Кулау ушел из низовьев долины, от моря. Если бы пришлось уходить и отсюда, у него были на примете другие ущелья, еще выше, среди гроздящихся горных вершин. И теперь он сидел, положив рядом с собою винтовку, и вглядывался сквозь завесу листвы в солдат на далеком берегу. Он разглядел, что они привезли с собой тяжелые пушки, отражавшие солнце, как зеркала. Прямо перед ним тянулся острый гребень. По тропинке, ведущей к нему снизу, ползли крошечные точки — люди. Кулау знал, что это не солдаты, а полиция. У этих ничего не выйдет, и вот тогда за дело возьмутся солдаты.

Он любовно провел некалеченной рукой по стволу винтовки и проверил прицел. Стрелять он научился давно, когда охотился на острове Нвухау, где до сих пор не забыли его меткой стрельбы.

По мере того как движущиеся точки приближались и увеличивались, Кулау определял дистанцию с поправкой на ветер, дувший сбоку, и учитывал возможность перелета по таким низко расположенным целям. Но стрелять он не стал. Он дал им добраться до начала

острого гребня и только тогда обнаружил свое присутствие. Он спросил, не выходя из зарослей:

— Что вам нужно?

— Нам нужен Кулау-прокаженный,— ответил начальник отряда туземной полиции, голубоглазый американец.

— Уходите обратно,— сказал Кулау.

Он знал этого человека: это был шериф,— тот, кто не дал ему жить на Нинхау и прогнал его через весь Кауаи в долину Калалау, а оттуда вверх, в ущелье.

— Кто ты? — спросил шериф.

— Я Кулау-прокаженный,— послышалось в ответ.

— Тогда выходи. Ты нам нужен, живой или мертвый. Твоя голова оценена в тысячу долларов. Тебе не уйти.

Кулау громко рассмеялся в своем тайнике.

— Выходи! — скомандовал шериф, но ответом ему было молчание.

Он посоветовался с полицейскими, и Кулау понял, что они решили взять его штурмом.

— Кулау! — крикнул шериф. — Кулау, я иду к тебе.

— Тогда погляди сначала на солнце, и небо, и море, потому что больше ты их никогда не увидишь.

— Хорошо, хорошо, Кулау,— сказал шериф примирительным тоном. — Я знаю, что ты стреляешь без промаха. Но в меня ты не станешь стрелять. Я ничем тебя не обидел.

Кулау проворчал что-то.

— Право же,— настаивал шериф,— я ведь ничем тебя не обидел, разве не так?

— Ты обижаешь меня тем, что пытаешься засадить в тюрьму,— прозвучал ответ. — И ты обижаешь меня тем, что пытаешься получить за мою голову тысячу долларов. Если тебе дорога жизнь, стой на месте.

— Я должен до тебя добраться. Что поделаешь, это мой долг.

— Ты умрешь раньше, чем доберешься до меня.

Шериф был не трус, но тут он заколебался. Он посмотрел вниз, в пропасть, окинул взглядом острый, как нож, гребень и решил.

— Кулау! — крикнул он.

Заросли молчали.

— Кулау, не стреляй. Я иду.

Шериф повернулся к полицейским, отдал им какое-то приказание и пустился в свой опасный путь. Он шел медленно. Это напоминало ходьбу по канату. Кроме воздуха, ему не за что было ухватиться. Камни сыпались у него из-под ног и стремительно летели в пропасть. Солнце палило, и по лицу у него катился пот. Но он все шел и наконец достиг половинки пути.

— Стой! — скомандовал Кулау из зарослей. — Еще шаг, и я стреляю.

Шериф остановился, покачиваясь над бездной, чтобы удержать равновесие. Он побледнел, но во взгляде его была решимость. Он облизал пересохшие губы и заговорил:

— Кулау, ты не убьешь меня. Я знаю, что не убьешь.

Он снова двинулся вперед. Пуля заставила его перевернуться волчком. Когда он падал, на лице его промелькнуло сердитое недоумение. Он успел подумать, что если упасть на острый гребень, то еще можно спастись,— но тут смерть настигла его. Секунда — и гребень был пуст. И тогда пятеро полицейских один за другим смело пустились бегом по острому гребню, а остальные тут же открыли огонь по зарослям. Это было безумием. Кулау нажимал курок так быстро, что пять выстрелов прогремели почти непрерывной очередью. Пригнувшись к самой земле от пуль, со свистом прорезавших кусты, он выглянул из зарослей. Четверо полицейских исчезли так же, как их начальник. Пятый, еще живой, лежал поперек гребня. На дальнем конце толпились остальные полицейские, уже переставшие стрелять. Положение их на этой голой скале было безнадежным: Кулау мог снять их всех до последнего, не дав им спуститься. Но он не стрелял. И после короткого совещания один из полицейских снял с себя белую рубашку и помахал ею, как флагом. Потом он, а за ним и другой пошли по гребню к раненому товарищу. Не выдавая себя ни одним движением, Кулау смотрел, как они медленно отступали и снова превратились в темные точки, спустившись вниз, в долину.

Два часа спустя Кулау заметил из другого укрытия, что группа полицейских пробует подняться по противоположному склону. Дикие козы разбежались от них, а они лезли все выше и выше. И наконец, не доверяя самому себе, Кулау послал за Килолианой.

— Нет, здесь им не пройти,— сказал Килолиана.

— А козы? — спросил Кулау.

— Козы пришли из соседней долины, а сюда им не попасть. Дороги нет. Эти люди не умнее коз. Они упадут и разобьются насмерть. Давай посмотрим.

— Они смелые,— сказал Кулау. — Давай посмотрим.

Лежа рядом на ковре из ллан, под свисающими сверху желтыми цветами хау, они смотрели, как крошечные человечки карабкаются вверх,— и то, чего они ждали, случилось: трое полицейских оступились, упали и, докатившись до выступа, камнем полетели вниз.

Килолиана усмехнулся.

— Больше нас не будут тревожить,— сказал он.

— У них есть пушки,— возразил Кулау. — Солдаты еще не сказали своего слова.

Разморенные жарой, прокаженные снами в пещерах. Кулау тоже дремал у своего логовища, держа на коленях начиненную, заряженную винтовку. Девушка с некалечеными руками лежала в зарослях, наблюдая за острым гребнем. Вдруг Кулау вскопчил, забыв про сон: на берегу раздался взрыв. В следующее мгновение воздух словно разорвало на части. Этот немалый звук испугал его. Казалось, боги схватили небесный покров и рвут его, как женщины рвут на лоскуты ткань. Страшный звук быстро приближался. Кулау с опаской поднял глаза. Из волн спаряд разорвался высоко в горах, и столб черного дыма вырос над ущельем. Утес дал трещину, и обломки полетели к его подножию.

Кулау провел рукой по взмокшему лбу. Он был потрясен. Он еще никогда не слышал оружейной стрельбы и даже не мог себе представить, как это страшно.

— Раз,— сказал Капален, решив почему-то вести счет выстрелам.

Второй и третий снаряд с визгом пролетели над ущельем и разорвались за ближним хребтом. Капален считал. Прокаженные выпали на открытое место перед пещерами. Вначале стрельба испугала их, но снаряды перелетали через ущелье, и скоро они успокоились и стали любоваться новым для них зрелищем. Оба идиота визжали от восторга и принимались кривляться и прыгать всякий раз, как воздух раздирало снарядом. Кулау почти успокоился. Пушки не причиняли вреда. Наверно, такими большими снарядами и на таком расстоянии невозможно стрелять метко, как из винтовки.

Но вот что-то изменилось. Теперь снаряды не долетали до них. Один разорвался в зарослях у острого гребня. Кулау вспомнил про девушку, которая лежала на страже, и побежал туда. Кусты еще дымились, когда он заполз в чашу. Изумление охватило его. Ветки были поломаны, расщеплены. Там, где он оставил девушку, в земле была яма. Девушку разорвало в клочья. Снаряд попал прямо в нее.

Выглянув из кустов и убедившись, что на гребне нет солдат, Кулау пустился бегом обратно к пещерам. Снаряды летели над ним с воем, свистом, стоном, и вся долина гудела и сотрясалась от взрывов. Перед пещерами весело скакали оба идиота, вцепившись друг в друга полусгнившими пальцами. И вдруг Кулау увидел, как рядом с ними из земли поднялся столб черного дыма. Взрывом их отшвырнуло в разные стороны. Один лежал неподвижно, другой на руках пополз к пещере. Ноги его волочили по земле, из ран хлестала кровь. Он был весь в крови и скулил, как собачонка. Все остальные, кроме Капален, попрятались в пещеры.

— Семнадцать,— сказал Капален и тут же добавил: — Восемнадцать.

Восемнадцатый снаряд упал у самого входа в одну из пещер. Прокаженные выпали на волю, но из этой пещеры никто не показывался. Кулау вполз в нее, задыхаясь от едкого, вонючего дыма. На земле лежали четыре изуродованных трупа. Среди них была женщина с невидящими глазами, у которой только теперь иссякли слезы.

Подданных Кулау охватила паника, и они уже двинулись по тропе, уводящей из ущелья вверх, в хаос вершин и обрывов. Раненый идиот, тихо подвывая, тащился по земле, стараясь поспеть за остальными. Но у самого начала подъема силы изменяли ему, он скорчился и затих.

— Его нужно убить,— сказал Кулау, обращаясь к Капален, который сидел там же, где и раньше.

— Двадцать два,— ответил Капален. — Да, лучше убить его. Двадцать три... двадцать четыре...

Увидев направленное на него дуло, идиот громко взвизгнул. Кулау заколебался и опустил винтовку.

— Это не легко,— сказал он.

— Ты дурак. Двадцать шесть, двадцать семь,— сказал Капален.— Дай я тебя научу.

Он встал и, подняв с земли тяжелый камень, пошел к раненому. В ту минуту, когда он замахнулся, новый снаряд попал прямо в него, тем самым избавив его от необходимости действовать и подведя итог его счету.

Кулау остался один в ущелье. Он провожал глазами своих подданных, пока последние скрюченные фигуры не исчезли за выступом горы. Потом повернулся и пошел вниз, к зарослям, где убило девушку. Стрельба продолжалась, но он не уходил, так как заметил, что далеко внизу к подъему двинулись солдаты. Один снаряд разорвался в десяти шагах от него. Распластавшись на земле, Кулау слышал, как осколки пролетели над ним. Цветы хау посыпались на него дождем. Он поднял голову, посмотрел на тропинку и вздохнул. Ему было очень страшно. Пули не смутили бы его, но орудийный огонь вселял в него ужас. При каждом выстреле он, дрожа, принимал к земле, но всякий раз опять поднимал голову и следил за тропинкой.

Наконец стрельба прекратилась. Верно, потому, решил он, что солдаты уже близко. Они ползли по тропинке гуськом, и он стал было считать их, но сбился со счета. Их было не меньше сотни, и все они пришли за ним — Кулау-прокаженным. На мгновение в нем вспыхнула гордость. С винтовками и пушками, с полицией и солдатами они идут за ним, а он — один, да еще больной, калека. За него, живого или мертвого, обещана тысяча долларов. За всю свою жизнь он не имел столько денег. Это была горькая мысль. Капален сказал правду. Он, Кулау, никому не сделал зла. Просто белым людям нужны были рабочие руки на краденой земле, и они привезли китайских кули, а с ними пришла болезнь. И теперь, оттого что его заразили этой болезнью, он стоит тысячу долларов, но ему-то их не получить! Его труп, сгнивший от болезни или разорванный снарядом,— вот за что будут выплачены эти огромные деньги.

Когда солдаты добрались до острого гребня, Кулау хотел было предупредить их, но взгляд его упал на убитую девушку, и он смолчал. Когда на тропинке показался шестой солдат, он открыл огонь и стрелял до тех пор, пока тропинка не опустела. Он выпускал пули, снова заряжал винтовку и снова стрелял не переставая. Все старые обиды огнем горели у него в мозгу, им овладела ярость и жажда мщения. Растянувшись по всей тропе, солдаты тоже стреляли, и, хотя они залегли, стараясь укрыться в неглубоких выемках, целиться по ним было легко. Пули свистели и ударялись вокруг Кулау, со звоном отскакивая от камней. Одна пуля царапнула его по черепу, другая обожгла лопатку, не оцарапав кожи.

Это было настоящее побоище, и уцелил его один человек. Солдаты стали отступать, унося раненых. Сидя на месте, Кулау слышал выстрелы одного за другим, Кулау вдруг почувствовал запах горелого мяса. Он огляделся по сторонам, но потом понял, что это его пальцы горят от накалившейся винтовки. Проказа разрушила нервы рук. Мясо горело, и он чувствовал запах, но ощущения боли не было.

Он лежал в зарослях и улыбался, но вдруг вспомнил о пушках. Они, вероятно, замолчали ненадолго и теперь уже будут стрелять прямо по зарослям, откуда он вел огонь. Не успел он отодвинуться на выступ скалы, куда, по его наблюдениям, снаряды не попадали, как обстрел возобновился. Кулау считал: еще шестьдесят снарядов выпустили пушки по ущелью, а потом замолчали. Небольшая площадь была так изрыта воронками, что, казалось, ничего живого там не могло остаться. Солдаты так и решили, и под палящими лучами после-полуденного солнца опять полезли вверх по тропе. И снова им не удалось пройти по гребню, и снова они отступили к морю.

Еще два дня Кулау удерживал тропу, хотя солдаты продолжали обстреливать его укрытие из пушек. На третий день на скалистой гряде, нависавшей над ущельем, появился один из прокаженных, мальчик Пахау, и прокричал ему, что Килолиана, охотясь на коз, чтобы им всем не умереть с голода, упал и разбился и что женщины перепуганы и не знают, что делать. Кулау велел мальчику спуститься и, дав ему запасную винтовку, оставил его сторожить тропу, а сам поднялся к своим подданным. Они совсем пали духом. Большинство из них были слишком слабы, чтобы добывать себе пищу в таких тяжелых условиях, поэтому все они голодали. Кулау выбрал двух женщин и мужчину, у которых болезнь зашла еще не слишком далеко, и послал их в ущелье за едой и цинновками. Остальных он постарался утешить и подбодрить, так что даже самые слабые стали помогать в постройке шалашей.

Но посланные за едой не вернулись, и Кулау пошел назад в ущелье. Когда он появился над обрывом, одновременно шелкнуло пять-шесть затворов. Одна пуля пробила ему мякоть плеча, другая ударилась о скалу, и отлетевшим осколком ему порезало щеку. Он отпрянул назад, но успел заметить, что ущелье кишит солдатами. Его подданные предали его. Они не выдержали ужаса канонады и предпочли ей Молокан — тюрьму.

Отступив на несколько шагов, Кулау снял с пояса тяжелую патронную сумку. Он залег среди скал и, когда над обрывом поднялась голова и плечи первого солдата, спустил курок. Так повторилось два раза, а потом, после паузы, из-за края обрыва вместо головы и плеч высунулся белый флаг.

— Что вам нужно? — спросил Кулау.

— Мне нужно тебя, если ты Кулау-прокаженный, — раздался ответ.

Кулау забыл об опасности, забыл обо всем, — он лежал и дивился необычайному упорству этих хаале — белых людей, которые добиваются своего, несмотря ни на что. Да, они добиваются своего, подчиняют себе все и вся, даже если это стоит им жизни. Он почувствовал восхищение перед их волей, которая сильнее жизни и покоряет все на свете. Он понял, что дело его безнадежно. С волей белого человека спорить нельзя. Убей он их тысячу, они все равно подымутся, как песок морской, и умножатся, и доконают его. Они никогда не признают себя побежденными. В этом их ошибка и их сила. У его народа этого нет. Теперь ему стало понятно, как ничтожная горсть послан-

цев господа бога и господа рома сумела поработить его землю. Это случилось потому...

— Ну, что же? Пойдешь ты со мной? — Это был голос невидимого человека, державшего белый флаг. Ну да, он настоящий хаоле, идет прямо напролом к своей цели.

— Давай поговорим, — сказал Кулау.

Над обрывом поднялась голова и плечи, а потом и весь человек. Это был молоденький капитан с нежным лицом и голубыми глазами, стройный, подтянутый. Он двинулся вперед, потом, по знаку Кулау, остановился и сел шагах в пяти от него.

— Ты храбрый, — сказал Кулау задумчиво. — Я могу убить тебя, как муху.

— Нет, не можешь, — ответил тот.

— Почему?

— Потому что ты человек, Кулау, хоть и скверный. Я знаю твою историю. Убивать ты умеешь.

Кулау проворчал что-то, но в душе был польщен.

— Что ты сделал с моими людьми? — спросил он. — Где мальчик, две женщины и мужчина?

— Они сдались нам. А теперь твоя очередь — я пришел за тобой.

Кулау недоверчиво рассмеялся.

— Я свободный человек, — заявил он. — Я никого не обижал. Одного я прошу: чтобы меня оставили в покое. Я жил свободным и свободным умру. Я никогда не сдамся.

— Значит, твои люди умнее тебя, — сказал молодой капитан. — Смотри, вот они идут.

Кулау обернулся. Сверху двигалась страшная процессия: остатки его племени со вздохами и стонами тащились мимо него во всем своем жалком уродстве.

Но Кулау суждено было изведать еще большую горечь, ибо, поравнявшись с ним, они осыпали его оскорбительной бранью, а старуха, замыкавшая шествие, остановилась и, вытянув костлявую руку с когтями гарнии, оскалив зубы и трясая головой, прокляла его. Друг за другом прокаженные перебирались через скалистую гряду и сдавались притаившимся в засаде солдатам.

— Теперь ты можешь идти, — сказал Кулау капитану. — Я никогда не сдамся. Это мое последнее слово. Прощай.

Капитан соскользнул вниз, к своим солдатам. В следующую минуту он поднял надетый на ножны шлем, и пуля, вынужденная Кулау, пробила его насквозь. До вечера они стреляли по нему с берега, и когда он ушел выше, в неприступные скалы, солдаты двинулись за ним следом.

Шесть недель гонялись они за Кулау среди острых вершин и по козьим тропам. Когда он скрывался в зарослях лантаны, они расставляли цепи загощников и гнали его, как кролика, сквозь лантановые джунгли и кусты гуава. Но всякий раз он путал следы и ускользал от них. Настигнуть его не было возможности. Если преследователи наседали вплотную, Кулау пускал в дело винтовку, и они уносили своих раненых по горным тропкам к морю. Случалось, что солдаты



тоже стреляли, заметив, как мелькает в чаще его коричневое тело. Однажды они нагнали его впятером на открытом участке тропы и выпустили в него все заряды. Но он, хромая, ушел от них по краю головокружительной пропасти. Позже они нашли на земле пятна крови и поняли, что он ранен. Через шесть недель на него махнули рукой. Солдаты и полицейские возвратились в Гонолулу, предоставив ему долину Калалау в безраздельное пользование, хотя время от времени охотники-одиночки пытались изловить его... на свою же погибель.

Два года спустя Кулау в последний раз заполз в заросли и растянулся на земле среди листьев ти и цветов дикого имбиря. Свободным он прожил жизнь и свободным умирал. Стал накрапывать дождь, и он закрыл свои изуродованные ноги рваным одеялом. Тело его защищал клеенчатый плащ. Маузер он положил себе на грудь, заботливо стерев со ствола дождевые капли. На руке, вытиравшей винтовку, уже не было пальцев; он не мог бы теперь нажать на спуск.

Он закрыл глаза; слабость заливала тело, в голове стоял туман, и он понял, что конец его близок. Как дикий зверь, он заполз в чашу умирать. В полусознании, в бреду он возвращался мыслью к дням своей юности на Ннихау. Жизнь угасала, все тише стучал по листьям дождь, а ему казалось, что он снова объезжает диких лошадей и строптивый двухлеток пляшет под ним и встает на дыбы; а вот он бешено мчится по корралю, и подручные конюхи разбегаются в сторону и перемахивают через загородку. Минуту спустя, совсем не удивившись этой внезапной перемене, он гнался за дикими быками по горным пастбищам и, набросив на них лассо, вел их вниз, в долину. А в загоне, где шло клейменьё, от пота и пыли ело глаза и щипало в носу.

Вся его здоровая, вольная молодость грезилась ему, пока острая боль наступающего конца не вернула его к действительности. Он поднял свои обезображенные руки и в изумлении посмотрел на них. Почему? Как? Как мог он, молодой, свободный, превратиться вот в это? Потом он вспомнил все, и на мгновение снова стал Кулау-прокаженным. Веки его устало опустились, шум дождя затих. Томительная дрожь прошла по телу. Потом и это кончилось. Он приподнял голову, но сейчас же снова уронил ее на траву. Глаза его открылись и уже не закрывались больше. Последняя мысль его была о винтовке, и, обхватив ее беспальными руками, он крепко прижал ее к груди.

## ЯЗЫЧНИК

Впервые мы встретились, когда бушевал ураган, и, хотя мы пробивались сквозь шторм на одном судне, я обратил на него внимание только после того, как шхуна разлетелась в щепки. Я, несомненно, видел его и раньше, среди других членов нашей команды, сплошь состоявшей из канаков, но за все время я ни разу не вспомнил о его существовании, потому что на «Крошке Жанне» было очень много

народу. Кроме восьми или десяти матросов-канаков, белого капитана, его помощника, кладовщика и шестерых каютных пассажиров, шхуна взяла в Ранжире что-то около восьмидесяти пяти палубных пассажиров с Паумоту и Таити: мужчин, женщин и детей. У каждого из них были корзины, не говоря уже о матрасах, одеялах и узлах с одеждой.

Сезон добычи жемчуга на Паумоту закончился, и ловцы возвращались на Таити. Шестеро скупщиков жемчуга разместились в каютах: два американца, китаец А-Чун (ни разу в жизни не видел такого белокожего китайца), один немец, один польский еврей и я.

Сезон был удачный. Ни один из нас и ни один из восьмидесяти палубных пассажиров не имел оснований жаловаться на судьбу. Все хорошо поработали и мечтали отдохнуть и развлечься в Папезте.

«Крошку Жанну», конечно, перегрузили. Водоизмещением она была всего в семьдесят тонн; нельзя было брать на борт и десятую часть того сброда, который запрудил палубу. Трюмы были до отказа загружены жемчужными раковинами и копррой. Даже кладовку забили перламутром. Каким-то чудом матросы умудрялись еще управлять шхуной. Пройти по палубе было невозможно, и они передвигались по поручням.

Ночью матросы ходили по людям, которые, честное слово, спали буквально друг на друге. А кроме того, полно было поросят, кур, мешков с бататом, и везде, где только можно, красовались связки кокосовых орехов для утоления жажды и гроздь бананов. По обе стороны между вантами грот-мачты и фок-мачты низко, чтобы не соприкасались со штагами утлегаря, были натянуты леера. А на каждом таком леере висело не меньше полусотни связок бананов.

Рейс предстоял беспокойный, даже если пройти нуть для за дватри, что было возможно только при сильном юго-восточном пассате. Но ветра не было. Через пять часов пути после нескольких слабых порывов ветер стих совсем. Штиль продолжался всю ночь и весь следующий день — один из тех ослепительных зеркальных штилей, когда от одной мысли о том, чтобы открыть глаза и посмотреть на воду, начинается болеть голова.

На следующий день умер человек, уроженец острова Пасхи, — в том сезоне он был одним из лучших ловцов жемчуга в лагуне. Оспа — вот причина его смерти, хотя я не могу себе представить, как ее занесли на судно; когда мы выходили из Ранжира, на берегу не было зарегистрировано ни одного случая заболевания оспой. И все-таки факт оставался фактом: оспа, умерший человек и трое больных.

Ничего нельзя было сделать. Мы не могли изолировать больных и не могли ухаживать за ними. На судне нас было, что сельдей в бочке. Ничего нельзя было сделать — только заживо гнить да умирать, вернее, ничего нельзя было сделать после той ночи, когда умер человек. В ту же ночь помощник капитана, кладовщик, польский еврей и четверо ловцов-туземцев удрали на вельботе. Больше мы их не видели. Утром капитан приказал продырявить оставшиеся шлюпки, и теперь мы уже никуда не могли деться.

В тот день умерли двое, на следующий день — трое, потом количество смертных случаев подскочило до восьми. Любопытно было наблюдать, как мы это воспринимали. Туземцев, например, охватил тупой, беспросветный страх. Капитан-француз стал раздражительным и болтал без умолку. Звали этого капитана Удуз. От волнения его даже подергивало. Высокий, грузный мужчина, весом фунтов двести, не меньше, — жирная туша, дрожащая, как желе.

Немец, два американца и я скупили все виски и непрерывно пили. Рассчитали мы все отлично, а именно: бактерии, проникающие в организм, моментально погибнут. И этот рецепт оказался действенным, хотя, должен признаться, и капитана Удуза, и А-Чуна болезнь миновала тоже. Француз совсем не пил, а А-Чун ограничивался стаканом в день.

Да, славное было времечко! Солнце стояло в зените. Ветра совсем не было, лишь изредка налетали шквалы, они свирепствовали от пяти до тридцати минут и мчались прочь, окатив нас ливнем. После шквала снова нещадно палило солнце, и с отсыревших палуб поднимались клубы пара.

Пар этот был не простой. Это был смертоносный туман, насыщенный мириадами бактерий. Видя, как с больных людей и с трупов поднимается этот пар, мы пропускали еще по стаканчику, потом еще и еще, почти не разбавляя. Кроме того, мы взяли за правило выпивать несколько добавочных рюмок каждый раз, когда скидывали мертвецов за борт кишачим вокруг судна акулам.

Прошла неделя, запасы виски кончились. И это хорошо, иначе меня не было бы сейчас в живых. Чтобы пережить все, что произошло потом, нужно было быть вполне трезвым; надеюсь, вы со мной согласитесь, если я упомяну об одной небольшой детали — в конце концов в живых осталось только двое. Вторым был язычник — во всяком случае, я слышал, что именно так называл его капитан Удуз в тот момент, когда я впервые узнал о существовании этого человека. Не будем, однако, забегать вперед.

Это было на исходе недели. Виски вышло, скупщики жемчуга протрезвели, и я впервые случайно взглянул на барометр, висевший в кают-компании. Для Паумоту норма — 29.90, и мы привыкли видеть, как стрелка колеблется между 29.85 и 30.00 или даже 30.05, но то, что увидел я — 29.62! — могло привести в чувство самого пьяного скупщика жемчуга из тех, кто когда-либо пытался уничтожить микробов оспы шотландским виски.

Я сказал об этом капитану Удузу, и он ответил, что уже несколько часов наблюдает, как падает барометр. Не много можно было сделать при данных обстоятельствах, но это небольшое он выполнил превосходно. Он оставил только штормовые паруса, натянул штормовые леера и ждал ветра. Ошибся он уже после того, как налетел ветер. Он лег в дрейф, и это правильно, когда находишься к югу от экватора, если — вот тут-то он и сплеховал, — если судно не стоит на пути урагана.

А мы стояли на пути урагана. Я видел это по тому, как непрерывно усиливался ветер и падал барометр. Я считал, что шхуну надо

было повернуть и идти левым галсом, пока не перестанет падать барометр, и уже после этого лечь в дрейф. Я спорил с капитаном, чуть не довел его до истерики, но он стоял на своем. Хуже всего то, что мне не удалось уговорить остальных скупщиков жемчуга поддержать меня. В конце концов, кто я такой, чтобы знать море и его особенности лучше многоопытного капитана? Так они, вероятно, думали.

Ветер катил страшные валы, и я никогда не забуду трех первых волн, обрушившихся на «Крошку Жанну». Она накренилась, что иногда бывает, когда суда ложатся в дрейф, и первая волна перекатилась через палубу. Штормовые леера — это для сильных и здоровых, но даже им они не особенно помогают, когда женщины, дети, груды бананов и кокосовых орехов, поросята, дорожные корзины, умирающие, больные — все это катится по палубе сплошной визжащей, воющей массой.

Вторая волна смела с палубы «Крошки Жанны» поручни, и, так как корма шхуны погрузилась в воду, а нос взметнулся к небу, все это страшное месиво людей и груза поползло вниз. Это был поток человеческих тел. Людей несло, кого головой вперед, кого вперед ногами, кого боком, кувырком; они корчились, сгибались, извивались и распластывались. Время от времени кому-нибудь удавалось ухватиться за мачту или леер, но под напором движущихся тел он разжимал руки.

Кто-то врезался головой в битенг по правому борту. Череп его раскололся, как яйцо. Я понял, что нас ждет, и вскарабкался на рубку, затем на грот-мачту. А-Чун и один из американцев попытались влезть следом за мной, но я опередил их на целый прыжок. Американца тут же смыло волной за борт, как соломинку. А-Чун ухватился за штурвал и повис на нем. Но огромная женщина из племени раратонга, весом, наверное, фунтов в двести пятьдесят, упала на него и ухватилась рукой за его шею. Свободной рукой он схватил канака-рулевого, но в это мгновение шхуна накренилась на правый борт.

Лавина воды и человеческих тел, которая неслась вдоль левого борта между каютой и поручнями, ринулась к правому борту. Всех смело: ту женщину, А-Чуна и рулевого, — и, честное слово, я видел, как, разжав руки и падая вниз, А-Чун усмехнулся мне с философским смиренным.

Третья, самая большая волна причинила не меньше разрушений. Когда она обрушилась на судно, почти все взобралось на такелаж. Внизу остался десяток оглушенных, захлебывающихся, полуживых несчастных, они старались уползти куда-нибудь в безопасное место, но их швыряло взад и вперед по палубе. Их смыло волной вместе с обломками двух шлюпок. Скупщики жемчуга и я умудрились между двумя волнами затолкать в кают-компанию человек пятнадцать женщин и детей и запереть их там. Увы, это не спасло несчастных.

А ветер? Я никогда бы не поверил, что может быть такой ветер. Описать его нельзя. Разве можно описать кошмар? С таким же успехом можно описывать тот ветер. Он срывал с нас одежду. Я сказал «срывал», и я не оговорился. Я вовсе не прошу, чтобы вы мне верили. Я просто рассказываю о том, что сам видел и пережил. Порой мне

не верится, что все это было. Невозможно испытать на себе этот ветер и остаться в живых. Я выжил, вот и все. Это было что-то чудовищное, и ужас заключался в том, что ветер все время усиливался.

Представьте себе неисчислимые миллионы и миллиарды тонн песка. Представьте, что песок мчится со скоростью девяносто, сто, сто двадцать миль в час, даже быстрее. Представьте себе, далее, что песок невидим, неосязаем, хотя полностью сохраняет вес и плотность песка. Вообразите все это — и вы получите отдаленное представление о том ветре.

Быть может, песок — неудачное сравнение. Считайте, что это шлам, невидимый, неосязаемый, но тяжелый, как шлам. Нет, даже не то! Считайте, что каждая молекула воздуха сама является кучей шлама. Затем попытайтесь вообразить великое множество таких молекул, слитых воедино. Нет, у меня не хватает слов. Язык человека может передать обычные явления жизни, но он не дает возможности передать сверхъестественное стихийное бедствие, как тот ветер. Лучше бы мне не браться за это описание, как я решил вначале.

Я только одно скажу: этот ветер сбил волны. Более того, казалось, смерч всосал в себя весь океан и заметался в том пространстве, где прежде был воздух.

Конечно, от парусов на шхуне остались одни клочья. Но капитан Удуз имел на «Крошке Жанне» приспособление, каких я никогда не видел на здешних шхунах, — плавучий якорь. Это был конический брезентовый мешок с массивным железным обручем, вставленным в верхний край. Плавучий якорь пускают, подобно змею, он врезается в воду так же, как змей взмывает в поднебесье, с той только разницей, что плавучий якорь останавливался у самой поверхности воды. Со шхуной якорь связывал длинный канат. Поэтому «Крошка Жанна», гонимая ветром, встречала волны носом.

Все могло бы кончиться благополучно, не окажись мы на пути урагана. Правда, ветер сорвал наши паруса, сломал верхушки мачт, перепутал снасти бегучего такелажа, и все-таки мы вышли бы из беды, если бы на нас не надвинулся самый центр урагана. Это нас и погубило. Бесконечные порывы ветра оглушили, пришибли, парализовали меня, я был готов прекратить борьбу, но тут мы оказались в центре инклина. На нас обрушился новый страшный удар — полное затишье. Воздух стал абсолютно неподвижен. Это было невыносимо.

Не забывайте, что несколько часов подряд мы испытывали страшный напор ветра. А потом внезапно давление исчезло. У меня было такое чувство, что тело мое лопнет, разорвется на куски. Казалось, будто я вот-вот взорвусь. Но это длилось всего одно мгновение. Надвигалась катастрофа. Давление упало совсем, стих ветер — и тут поднялись волны. Они прыгали, они вздымались, они взмывали к самым тучам. Не забывайте, что отовсюду ветер дул к центру спокойствия. Поэтому сюда же со всех сторон катились волны. И не было ветра, который мог бы сбить их. Волны подскакивали, как пробки, пущенные со дна ведра с водой. В их движении отсутствовала система или последовательность. Это были безумные, сумасшедшие волны высотой не

меньше восьмидесяти футов. Это были вовсе не волны. Ни один смертный не видел ничего подобного.

Это были всплески, чудовищные всплески — и все! Всплески высотой в восемьдесят футов. Восемьдесят! Даже больше восьмидесяти! Волны выше наших мачт. Волны-смерчи, волны-взрывы. Они были пьяны. Они падали везде, как попало. Они сталкивались, отталкивали друг друга. Они схлестывались и разлетались в стороны тысячами водопадов. Редко кому удавалось заглянуть в «глаз бури» — побывать в центре урагана. Полнейший хаос. Анархия. Преисподняя обезумевшей стихии.

Что случилось с «Крошкой Жанной»? Не знаю. Язычник говорил мне потом, что он тоже ничего о ней не знает. Она в буквальном смысле раскололась пополам, разлетелась на куски, рассыпалась в щепки, превратилась в труху, перестала существовать. Я пришел в себя, когда был уже в воде и плыл, машинально работая руками, хотя уже начинал тонуть. Как я там очутился, не помню. Я видел только, как «Крошка Жанна» разлетается на куски, — вероятно, это произошло в то мгновение, когда я терял сознание. Как бы там ни было, я был в воде, и единственное, что оставалось, — не падать духом, хотя духу-то у меня не хватало. Снова поднялся ветер, волны стали меньше, двигались они как обычно, и я понял, что миновал центр циклона. К счастью, вокруг не было акул. Ураган разогнал жадную стаю, которая окружала судно с мертвецами и пожирала трупы.

«Крошка Жанна» рассыпалась на куски около полудня, а часа через два я наткнулся на крышку от люка. Все время лил ливень, и я заметил эту крышку совершенно случайно. К кольцу была привязана небольшая веревка; я понял, что продержусь по крайней мере день, если не появятся акулы. Часа три спустя, может быть, немного больше, когда я, крепко ухватившись за крышку и зажмурив глаза, по мере сил старался равномерно и глубоко дышать и в то же время не наглотаться воды, мне показалось, что слышу чьи-то голоса. Дождь прекратился, и ветер и море успокоились. Футах в двадцати от меня, прицепившись к крышке люка, плыли капитан Удуз и язычник. Они дрались из-за этой крышки, по крайней мере дрался Удуз.

Я услышал визг Удуза: «Раïен поïr!»<sup>1</sup> — и увидел, как он стукнул канака ногой.

Надо сказать, что капитан Удуз потерял всю свою одежду, кроме тяжелых, грубых башмаков. Удар был жестокий — он прищелкнул язычнику в лицо и почти оглушил его. Я думал, что канак тоже стукнет его как следует, но он ограничился тем, что для безопасности отплыл футов на десять. Каждый раз, когда волны прибывали его к французу, тот, держась руками за крышку, лягал его обеими ногами и ругал канака черным язычком.

— Я вот пуцую тебя на дно, белая скотина! — заорал я.

Только сильная усталость помешала мне это сделать. Мне сделалось не по себе от одной мысли о том, что надо к нему плыть. Так

<sup>1</sup> Черный язычник, безбожник (фр.).

что я позвал канака и предложил ему держаться за мою крышку. Он сказал мне, что его зовут Отоо и что он уроженец острова Бора-Бора, самого западного из Островов Товарищества. Как я узнал впоследствии, он первым обнаружил крышку и, увидев через некоторое время капитана Удуза, предложил ему спастись вместе, а за эти старания капитан ногами оттолкнул его прочь.

Так мы впервые встретились с Отоо. Нет, он не задира. Он был кроток, нежен и добр, хотя рост его достигал шести футов, и сложен он был, как гладнатор. Он не был ни задирой, ни трусом. В груди его билось львиное сердце, и впоследствии я не раз видел, как он шел на риск там, где я непременно бы отступил. Я хочу сказать, хотя Отоо и не был задирой и никогда не ввязывался в ссоры, он никогда не отступал перед опасностью. Но берегись, когда Отоо начинал действовать! Никогда не забуду, как он разделал Билли Кинга. Это случилось в Германском Самоа. Билли Кинг был прославленным чемпионом-тяжеловесом американского флота. Это был человек-зверь, такая горилла, один из тех грубо сколоченных, крепко сбитых парней, которые отлично владеют кулаками. Он начал ссору и дважды стукнул Отоо ногой, потом ударил его еще раз, прежде чем до Отоо дошло, что необходимо драться. По-моему, не прошло и четырех минут, как Билли Кинг превратился в несчастного обладателя четырех сломанных ребер, перебитого предплечья и вывихнутой лопатки. Отоо ничего не смыслил в искусстве бокса. Он бил, как умел, и Билли Кинг пролежал что-то около трех месяцев, оправляясь от побоев, полученных в один прекрасный день на берегу Апии.

Не буду, однако, забегать вперед. Итак, мы оба держались за ту крышку. Каждый из нас по очереди забирался на нее и, лежа ничком, отдыхал, а другой, погрузившись в воду до самого подбородка, лишь придерживался за нее руками. Два дня и две ночи, то лежа на крышке, то погружаясь в воду, мы носились по океану. Под конец я почти все время был в бессознательном состоянии, но иногда слышал, как Отоо что-то бормочет на своем родном языке. Мы находились в воде, поэтому не умерли от жажды, хотя соленая морская вода разъедала опаленное солнцем тело.

Кончилось тем, что Отоо спас мне жизнь, потому что я пришел в себя на берегу футах в двадцати от воды, защищенный от солнца листьями кокосовой пальмы. Это Отоо приволок меня туда и воткнул в песок листья. Сам он лежал рядом. Я снова потерял сознание, а когда очнулся, стояла прохладная звездная ночь, и Отоо поил меня соком кокосового ореха.

Кроме нас двоих, с «Крошки Жанны» не спасся никто. Капитан Удуз, вероятно, погиб от истощения, потому что ту крышку выбросило на берег через несколько дней. Мы с Отоо прожили на атолле целую неделю, потом нас подобрал французский крейсер и доставил на Таити. Однако за это время мы совершили церемонию обмена именами. На островах Южных Морей этот обычай связывает людей узами, которые крепче уз братства. Инициатива принадлежала мне, и Отоо пришел в неописуемый восторг от этого предложения.

— Это хорошо,—сказал он по-таитянски,—потому что два дня мы вместе смотрели в глаза смерти.

— Но смерть поперхнулась,—сказал я, улыбаясь.

— Вы были храбры, господин,—ответил он,—и у смерти не хватило наглости заговорить.

— Почему ты называешь меня «господином»? — возразил я, притворяясь обиженным. — Мы же поменялись именами. Для тебя я Отоо. Ты для меня — Чарли. И между нами на веки веков ты Чарли, а я Отоо. Таков обычай. И после нашей смерти, если мы встретимся в потустороннем мире, ты все так же будешь для меня Чарли, а я для тебя Отоо.

— Да, господин,—ответил он, и глаза его засняли тихой радостью.

— Ты опять! — закричал я в негодовании.

— Разве я могу отвечать за то, что произносят мои губы? — сказал он. — Это ведь только губы. Но про себя я всегда буду говорить: «Отоо». Когда я буду думать о себе, я подумаю о тебе. Когда меня позовут по имени, я буду думать о тебе. И над небесами, и за звездами, отныне и навек. Ты будешь для меня Отоо. Это хорошо, господин?

Я удержал улыбку и ответил, что хорошо.

В Папэте мы расстались. Я остался на берегу, чтобы немного окрепнуть, а он катером отправился на свой остров Бора-Бора. Через шесть недель он вернулся. Я удивился, потому что, уезжая, он сообщил, что решил вернуться домой, к жене, и забыть о дальних путешествиях.

— Куда ты поедешь, господин? — спросил он, едва мы успели поздороваться.

Я пожал плечами. Это был трудный вопрос.

— Буду скитаться по всему свету,—ответил я,—по всем морям и по всем островам, которые лежат в этих морях.

— Я поеду с тобой,—сказал он просто. — Моя жена умерла.

У меня никогда не было брата, но если судить по другим людям, то вряд ли хоть один человек на земле имел брата, который бы значил для него так же много, как Отоо для меня. Он был мне и братом, и отцом, и матерью. Я твердо убежден, что стал лучше и честнее благодаря Отоо. Мне безразлично, что обо мне думают окружающие, но я должен был оставаться честным в глазах Отоо. Он был рядом, и я не смел занятаить себя. Я был его идеалом, конечно, это объясняется его любовью и обожанием, но подчас я мог бы наделать кучу глупостей, если бы меня не останавливала мысль об Отоо. Он гордился мной, и я уж и сам начинал видеть в себе что-то хорошее, и у меня выработалась привычка не делать ничего, что могло бы подорвать эту его гордость.

Я, конечно, не сразу понял, как он ко мне относится. Он никогда меня ни в чем не упрекал, никогда не порицал, и я не сразу узнал, как высоко я стою в его глазах. Так же медленно до меня доходило, что он тяжело переживает, когда я стараюсь казаться хуже, чем я есть на самом деле.



Мы не расставались семнадцать лет, и все эти годы он всегда был рядом со мной: сторожил мой сон, ухаживал за мной, когда я был ранен, бросался за меня в драку и получал раны. Он служил на судах вместе со мной, и мы с ним избороздили весь Тихий океан—от Гавайских островов до мыса Сиднея и от пролива Торрес до Галапагоса. Мы вербовали чернокожих на всем протяжении от Новых Гебрид и островов Лайн до Луизианы, Новой Британии, Новой Ирландии и Нового Ганновера. Мы трижды пережили кораблекрушение: возле островов Гилберта, Санта-Краус и Фиджи. Мы покупали и перепродавали все, на чем можно было заработать доллар,—будь то жемчуг, раковины, копра, трепанги, черепахи, черепаховые панцири и всякая всячина с разбитых судов.

Я обо всем догадался в Папезте сразу после того, как он объявил, что пойдет за мной хоть на край света. В ту пору в Папезте был своего рода клуб, где собирались скупщики жемчуга, торговцы, капитаны и разные авантюристы, каких немало в тех краях. Игра шла по крупной, пили тоже немало, и, к сожалению, я засиживался позднее, чем следовало бы. И когда бы я ни вышел из клуба, меня всегда ждал Отоо, чтобы проводить домой.

Вначале это вызывало у меня улыбку, затем я отчитал его. Потом я заявил ему без обиняков, что не нуждаюсь в няньках. После этого, выходя из клуба, я не встречал его. Прошла неделя, и как-то совершенно случайно я обнаружил, что он по-прежнему провожает меня домой, пробираясь вдоль улицы в тени манговых деревьев. Что я мог сделать? И тогда я понял, что нужно было делать.

Незаметно для себя я стал приходить домой раньше. На улице дождь и ветер, и я в разгар дурачества и веселья то и дело возвращался к мысли об Отоо, который неустанно несет свою унылую вахту под манговым деревом, не защищающим от потоков воды. Я и в самом деле стал лучше благодаря ему. И все-таки он не проявлял пуританской нетерпимости в вопросах морали. Ему ничего не было известно о христианских заповедях. Все население Бора-Бора приняло христианство, а он был язычник, единственный неверующий на острове, великий материалист, который знал, что будет мертв, когда умрет. Он верил в людскую добросовестность и честную игру. Мелкие подлости в его кодексе чести были почти таким же серьезным преступлением, как зверское убийство, и я совершенно убежден, что он скорее отнесется с уважением к убийце, чем к жулику средней руки.

Что же касается меня лично, он не одобрял ничего, что шло мне во вред. В игре он не видел ничего плохого. Он и сам был азартным игроком. Но поздние бдения, объяснял он, вредят здоровью. Он знал людей, которые умирали от лихорадки потому, что не заботились о своем здоровье. Он не был трезвенником и, промокнув до нитки, был не прочь хлебнуть виски. Иными словами, он верил, что спиртное полезно лишь в умеренных количествах. Он видел множество людей, которых шотландское виски или джин загоняли в гроб или делали калеками.

Мое благосостояние Отоо принимал близко к сердцу. Он думал о моем будущем, взвешивал мои планы и размышлял о моей судьбе

больше, чем я сам. Вначале, когда я еще не подозревал о том, что он интересуется моими делами, ему приходилось самому догадываться о моих намерениях, как, например, случилось в Папезте, когда я раздумывал, вступать ли в компанию с одним плутоватым парнем, моим соотечественником, который затеял рискованное предприятие с гуано. Я не знал, что этот парень — мошенник. Этого не знал ни один белый в Папезте. Отоо тоже ничего не знал, но он видел, что мы становимся с тем парнем закадычными друзьями, и на свой страх решил разузнать все о нем. На побережье Таити стекаются матросы-туземцы со всех морей. Подозрительный Отоо терся около них до тех пор, пока не собрал убедительные факты, подтверждающие его догадки. Да, немало он узнал о делишках Рэндольфа Уотерса. Когда Отоо рассказал мне о них, я не поверил, но потом выложил все Уотерсу, и тот, не сказав ни слова, с первым же пароходом отбыл в Окленд.

Откровенно говоря, вначале меня раздражало то, что Отоо сует нос в мои дела. Но я знал, что он действует совершенно бескорыстно; вскоре я должен был признать, что он мудр и осторожен. Он следил, чтобы я не упустил выгодного случая, был одновременно и дальновидным и проницательным. Скоро я уже начал во всем советоваться с Отоо, так что в конце концов он стал разбираться в моих делах лучше, чем я сам. Мои интересы он принимал ближе к сердцу, чем я. В ту чудесную пору я был по-мальчишески беспечен, романтику предпочитал доллару, а приключение — удобному ночлегу под крышей. Словом, хорошо, что кто-то присматривал за мной. Если бы не Отоо, меня бы давно не было в живых. Это я знаю наверное.

Из многочисленных примеров позвольте привести один. Когда я отправился за жемчугом в Паумоту, у меня уже был некоторый опыт по вербовке чернокожих. В Самоа мы с Отоо остались на берегу, вернее, сели на мель, денег — ни гроша, но мне повезло: я поступил вербовщиком на бриг, который доставлял негров на плантации. Отоо нанялся на этот же бриг простым матросом. В течение следующих шести лет на разных судах мы избороздили самые дикие уголки Меланезии. Отоо был убежден, что место загребного на моей лодке по праву принадлежит ему. Работали мы обычно так. Вербовщика высаживали на сушу. Его лодка оставалась у самого берега — весла наготове. Она находилась под прикрытием другой лодки, что стояла в нескольких сотнях ярдов в море. Я втыкал в песок шест, которым в случае необходимости можно было быстро оттолкнуться от берега, выгружал из лодки свои товары, а Отоо бросал весла и подсаживался к винчестеру, скрытому под парусиной. Матросы на другой лодке были тоже вооружены: под парусиной вдоль борта лежали снайдеры.

Пока я торговался с чернокожими и убеждал их наняться на плантации Квинсленда, Отоо не свескал с них глаз. Сколько раз негромким окриком предупреждал он меня о подозрительных действиях негров или о ловушке, которую они готовили. Иногда первым сигналом тревоги был внезапный выстрел, которым Отоо разил негра наповал. Я бросался к лодке, и он всегда подхватывал меня на лету.

Помню, однажды, когда мы плавали на «Святой Анне», на нас напали, едва наша лодка подошла к берегу. Прикрывающая нас лодка помчалась на помощь, но тем временем несколько десятков дикарей оставили бы от нас мокрое место. Тогда Отоо одним прыжком перескочил на берег и начал обеими руками разбрасывать во все стороны табак, бусы, тамагавки, ножи и куски ситца.

Для негров это было слишком сильное искушение. Пока они дрались из-за сокровищ, мы столкнули лодку в воду и отошли футов на сорок в море. А через четыре часа на этом самом берегу я завербовал тридцать человек.

Особенно запомнился мне один случай на Маланте, самом диком острове из восточной группы Соломоновых островов. Туземцы были настроены чрезвычайно дружелюбно, но откуда нам было знать, что вся деревня уже более двух лет собирала человеческие головы, чтобы обменять их на голову белого человека? Там все бродяги были охотниками за головами, и особенно высоко ценились головы белых. Тот, кто ее добудет, получит все, что они накопили. Как я уже сказал, они были настроены очень дружелюбно, и я в этот день удалился в глубь берега на добрую сотню ярдов. Отоо предупреждал, что это не безопасно, но я не послушался, и, как всегда, это привело меня к беде. Я внезапно увидел целую тучу копий, летящих из мангровой чащи. Не менее десятка задело меня. Я пустился бежать, но споткнулся о копьё, которое вонзилось мне в икру, и упал. Негры бросились за мной, размахивая боевыми, украшенными перьями топориками на длинных рукоятках, и собирались, по-видимому, отрубить мне голову. Им так не терпелось получить награду, что они толкались и мешали друг другу. В суматохе мне удавалось увертываться от ударов, петляя на бегу и бросаясь на землю.

В это время появился Отоо, Отоо — борец. Он где-то раздобыл тяжёлую боевую дубинку, и в рукопашной она оказалась полезней ружья. Отоо бросился в гущу толпы, и враги не могли поразить его копьями, а топоры только мешали им. Он сражался за меня с иступлением. Дубинкой он орудовал потрясающе. Под его ударами головы лопались, словно перезревшие апельсины. Его ранили лишь после того, как, разогнав туземцев, он взвалил меня на плечи и побежал к лодке. Он добрался до лодки, четыре раза задетый копьями, схватил свой винчестер и стал стрелять, каждым выстрелом укладывая врага. Затем нас взяли на шхуну и перевязали раны.

Семнадцать лет мы не расставались. Он сделал меня человеком. Я бы и по сей день был судовым приказчиком, вербовщиком, а может быть, от меня не осталось бы даже воспоминания, если бы не он.

— Сейчас, истратив деньги, ты можешь заработать еще, — сказал он мне однажды. — Сейчас тебе легко добывать деньги. Но когда ты состаришься, деньги у тебя разойдутся, а заработать ты не сможешь. Я это знаю, господин. Я изучил повадки белых. На побережье много стариков, некогда они были молодцы и могли зарабатывать, как ты сейчас. Теперь они стары, у них ничего нет, и они слоняются в ожидании какого-нибудь парня, который угостит их.

Чернокожий трудится на плантациях, словно раб. Он получает двадцать долларов в год. Он работает много. Надсмотрщик работает мало. Ездит себе верхом да наблюдает, как работает чернокожий парень. Он получает тысячу двести долларов в год. Я матрос на шхуне. Мне платят пятнадцать долларов в месяц. Это потому, что я хороший матрос. Я много работаю. А капитан прохлаждается под тентом да тянет пиво из больших бутылок. Я никогда не видел, чтобы он поднимал паруса или работал веслом. Он получает сто пятьдесят долларов в месяц. Я — матрос. Он — навигатор. Господин, я думаю, тебе надо изучить навигацию.

Отоо побудил меня заниматься этим. Когда я вышел в свой первый рейс вторым помощником капитана, он плавал со мной и больше меня гордился тем, что я команду. Но Отоо не унимался:

— Господин, капитан получает много денег, но он ведет судно и никогда не знает покоя. Судовладелец — вот кто получает больше. Судовладелец, который сидит на берегу и делает деньги.

— Верно, но шхуна стоит пять тысяч долларов, притом старая шхуна, — возразил я. — Я помру, прежде чем накоплю пять тысяч долларов.

— Белый человек может разбогатеть очень быстро, — продолжал он, указывая на берег в зарослях кокосовых пальм.

Это было у Соломоновых островов. Мы шли вдоль восточного берега Гвадалканара и скупали «растительную слоновую кость».

— Между устьями двух этих рек расстояние мили две, — сказал он. — Равнина тянется в глубь острова. Сейчас она ничего не стоит. Но кто знает? Может быть, через год-два эта земля будет стоить очень дорого. Тут удобно стать на якорь. Океанские пароходы могут подходить к самому берегу. Старый вождь продаст тебе полоску земли шириной в четыре мили за десять тысяч пачек табаку, десять бутылок джина и ружье системы Снайдера, что обойдется тебе приблизительно в сотню долларов. Затем ты оформишь сделку и через один-два года продашь землю и купишь собственное судно.

Я последовал совету Отоо, и его предсказание сбылось, правда, не через два, а через три года. Затем последовало дело с пастбищами на Гвадалканаре — арендовал у государства двадцать тысяч акров сроком на девяносто девять лет по номинальной стоимости. Я был арендатором ровно девяносто дней, потом продал землю за огромную сумму одной компании. Именно он, Отоо, все предвидел и не упускал удобного случая. Это была его идея — поднять затонувший «Донкастер», который продавался на аукционе за сто фунтов. Операция эта после покрытия всех расходов дала три тысячи чистой прибыли. По совету Отоо я стал плантатором на Савайе и занялся торговлей кокосовыми орехами в Улолу.

Мы уже не ходили в море так часто, как прежде. Я стал богатым, женился, жизнь пошла по-иному, но Отоо оставался все тем же Отоо, он бродил по дому, заглядывая в контору, не вынимая изо рта деревянной трубки и не расставаясь с дешевой сорочкой и панталонами. Я не мог заставить его тратить деньги. Ему не пужно было никакого вознаграждения, кроме любви, и — бог свидетель — мы все от души

его любили. Дети его обожали, а жена моя непременно бы его избаловала, если бы Отоо можно было избаловать.

А дети! Это он раскрыл им тайны окружающего мира. Под его присмотром они делали первые шаги. Когда кто-нибудь из ребят заболел, он не уходил от его постели. Одного за другим, когда они были еще совсем крошечными, он брал с собой в лагуну и учил плавать и нырять. Я никогда не знал о рыбах и о рыбной ловле столько, сколько он рассказал детям. Он открыл им тайны леса. В семь лет Том знал лес так, как мне и не снилось. Шести лет Мери бесстрашно проходила по обрывистой скале, а я знал, что не каждый мужчина отважится на такой подвиг. Едва Фрэнку исполнилось шесть лет, он мог достать монету с пятиметровой глубины.

— Мой народ на Бора-Бора не любит язычников, они там все христиане. А я не люблю христиан острова Бора-Бора,— сказал он однажды, когда я убеждал его взять одну из наших шхун и навестить родной остров. У меня была идея — заставить его тратить деньги, по праву принадлежащие ему. Путешествие я затевал неспроста: я надеялся, что это событие будет переломным в его психологии и он начнет беззаботно тратить деньги.

Я говорю «одну из наших шхун», хотя в ту пору все они по закону принадлежали мне. Я долго пытался побороть его упрямство: мне хотелось, чтобы мы были компаньонами.

— Мы компаньоны с того самого дня, как затонула «Крошка Жанна»,— ответил он наконец. — Но если твое сердце так пожелало, давай будем законными компаньонами. Я бездельничаю, а денег на меня уходит уйма. Я много пью, ем и курю вволю, а это стоит немало, я знаю. Я бесплатно играю на бильярде, потому что это твой стол, но это все-таки расход. Удиль рыбу на рифе для собственного удовольствия может позволить себе только богач. На крючки и лесы уходит много денег. Да, нам необходимо стать компаньонами по закону. Мне нужны деньги. Я буду получать их в конторе у старшего клерка.

Словом, были выписаны и оформлены соответствующие документы. Прошел год, и я начал ворчать.

— Чарли,— сказал я,— ты старый обманщик, несчастный скряга, жалкий раб. Смотри-ка, твоя доля прибыли за этот год равна нескольким тысячам долларов. Эту бумагу дал мне старший клерк. Здесь написано, что за год ты истратил восемьдесят семь долларов и двадцать центов.

— Мне еще что-нибудь причитается? — спросил он озабоченно.

— Я же сказал, несколько тысяч долларов,— ответил я.

Лицо его просветлело, будто он почувствовал большое облегчение.

— Это очень хорошо,— сказал он. — Смотри, чтобы старший клерк правильно вел счета. Когда мне понадобятся деньги, я возьму их, и чтобы ни один цент не пропал.

— А если случается недостача,— помолчав, добавил он жестко,— ее покрывают из жалованья клерка.

А в то время, как я впоследствии узнал, в сейфе американского

консульства уже хранилось его завещание, составленное Каррузерсом, по которому я являлся единственным его наследником.

Но пришел конец, потому что все на свете должно когда-нибудь закончиться. Это случилось на Соломоновых островах, где в дни безрассудной юности мы работали не покладая рук. Теперь мы снова посетили эти места, главным образом для того, чтобы отдохнуть, а заодно посмотреть, как идут дела на земельных участках на острове Флорида, и разузнать, насколько выгоден жемчужный промысел в проливе Мболи. Мы стали на якорь у острова Саво в надежде выторговать у туземцев что-нибудь ценное.

Ну, возле Саво так и кишат акулы. Обычай туземцев хоронить своих покойников в открытом море привел к тому, что акулы стали постоянными жильцами омывающих остров вод. Так уж мне всегда везет, что крошечное, перегруженное туземное каное, в котором мы плыли, опрокинулось. В нем были, вернее, за него держались, четверо негров и я. До шхуны было ярдов сто. Как раз в то время, когда я кричал своим на шхуне, чтобы спустили шлюпку, раздались вопли одного из негров. Он держался за конец каное, и его несколько раз потянуло вниз вместе с лодчонкой. Потом он разжал руки и исчез. Его утащила акула.

Трое оставшихся негров пытались выкарабкаться из воды на днище опрокинутого каное. Я кричал на них, ругался, даже стукнул того, который был рядом, кулаком, но ничего не помогло. Их охватил безумный ужас. Каное едва ли могло выдержать даже одного из них. Когда на лодку взобрались трое, она стала вертикально, затем опрокинулась на бок, сбросив их в воду.

Я поплыл к шхуне, надеясь, что мне навстречу выйдет шлюпка. Один из негров последовал за мной, и мы продвигались вперед рядом, не говоря ни слова и время от времени опуская лицо в воду, чтобы посмотреть, нет ли акул. Человек, оставшийся у каное, дико закричал: на него напали хищники. Опустив голову в воду, я увидел огромную акулу, проплывающую как раз подо мной. Она была не менее шестнадцати футов длиной. Я видел, как все произошло. Она схватила негра поперек туловища и поплыла прочь. Голова, руки, плечи несчастного все время были над водой, он кричал душераздирающим голосом. Акула протащила его несколько сот футов, потом он скрылся под водой.

Я плыл вперед, надеясь, что это была последняя голодная акула. Но была еще одна. Была ли это одна из тех, которые нападали на негров вначале, или она насытилась где-нибудь в другом месте, я не знаю. Во всяком случае, она, кажется, не спешила, как другие. Теперь я уже не мог плыть так быстро, как раньше, потому что я тратил много сил, стараясь не терять ее из виду. Я видел, как она начала первую атаку. Мне повезло — я обеими руками стукнул ее по рылу, и, хотя ее внезапный толчок чуть не увлек меня под воду, мне все-таки удалось ее отогнать... Потом она повернула и начала кружить подле меня. Так же мне удалось спастись и во второй раз. Третий бросок был неудачен для обеих сторон. Она повернулась в тот момент, когда мои кулаки были возле ее рыла, и, прикоснувшись к ее

боку, напоминавшему наждачную бумагу, я на одной руке содрал кожу от локтя до плеча: на мне была безрукавка.

Теперь я уже совсем выдохся и потерял всякую надежду на спасение. До шхуны оставалось футов двести. В то время, когда я опустил лицо в воду и наблюдал за акулой, которая готовилась к следующей атаке, я заметил промелькнувшее между нами коричневое тело. Это был Отоо.

— Плыви к шхуне, господин! — сказал он. И голос его был весел, словно речь шла о веселом приключении. — Я знаю акул. Акулы мне братья.

Я подчинился и медленно поплыл вперед, а Отоо был рядом, все время лавируя между мной и акулой, отражая ее атаки и подбадривая меня.

— На боканцах снесло такелаж, и они его крепят, — объяснил он через минуту-другую и сразу нырнул, чтобы отбить очередную атаку хищника.

Когда шхуна была в тридцати футах, я выдохся окончательно. Я с трудом двигал руками и ногами. С борта нам бросали веревки, но они падали слишком далеко. Акула, убедившись, что имеет дело с безобидными существами, осмелела. Несколько раз она меня чуть не схватила, но в решающую секунду ей мешал Отоо. Конечно, сам Отоо мог спастись в любой момент. Но он не хотел бросать меня.

— Прощай, Чарли! Это конец, — задыхаясь, выговорил я.

Я знал, что это конец, через секунду я опущу руки и пойду ко дну.

Но Отоо засмеялся и сказал:

— Я покажу тебе новый фокус. Этой акуле плохо придется!

Он нырнул между мной и акулой, которая плыла за мной.

— Забирай влсво! — крикнул он. — Там веревка. Еще левее, господин, левее!

Я повернул в другую сторону и поплыл вперед. Когда я ухватился за веревку, на шхуне раздался крик. Я оглянулся. Отоо не было... В следующее мгновение он появился на поверхности. Кисти обеих рук были у него оторваны, из ран лилась кровь.

— Отоо! — негромко позвал он. И взгляд его был полон той же любви, что звучала в его голосе.

Только теперь, единственный раз, в последнее мгновение своей жизни, он назвал меня этим именем.

— Прощай, Отоо! — крикнул он.

Потом он исчез под водой, а меня втащили на борт, где я упал на руки капитана и потерял сознание.

Так ушел из жизни Отоо, который спас меня в молодости, сделал меня человеком и потом снова спас. Мы встретились в пасти урагана, и нас разлучила пасть акулы. Между этими событиями прошло семнадцать лет, и я с полной ответственностью могу заявить, что в мире никогда не было такой дружбы между темнокожим и белым. И если Иегова на своем высоком посту действительно всевидящ, то в его царстве не последним будет Отоо, единственный язычник с острова Бора-Бора.

## ПОЛЬЗА СОМНЕНИЯ

### I

Картер Уотсон, зажав под мышкой номер журнала, медленно шел по городу, с любопытством озираясь вокруг. Двадцать лет он не был здесь и теперь замечал везде большие, просто поразительные перемены. В ту пору, когда он, еще мальчуганом, шатался по улицам этого западного городка, здесь было тридцать тысяч жителей, а теперь их насчитывалось триста тысяч. Когда-то улица, по которой он шагал, представляла собой тихий рабочий квартал, а сейчас она кишела китайскими и японскими лавчонками вперемежку с притонами и кабаками самого низкого пошиба. Мирная улочка его юношеских лет превратилась в самый бандитский квартал города.

Он посмотрел на часы. Половина шестого. В это время дня в таких местах бывает затишье; Уотсон хорошо это знал, но его разбирало любопытство. В течение двух десятков лет, которые он провел в скитаниях, изучая социальные условия во всех странах земного шара, он хранил память о своем родном городе как о мирном и отрадном уголке. Метаморфоза, происшедшая здесь, его ошеломляла. Он решил продолжать прогулку и увидеть своими глазами, до какой степени позора дошел его город.

Картер Уотсон был наделен чуткой гражданской совестью. Человек состоятельный и независимый, он не любил растрачивать энергию на изысканные званые обеды и чаепития в светском обществе; он был равнодушен к актрисам, скаковым лошадям и тому подобным развлечениям. Его коньком были вопросы морали, и он мнил себя реформатором, хотя деятельность его заключалась в том, что он сотрудничал в толстых и тонких журналах и выпускал блестящие умные книги о рабочем классе и обитателях трущоб.

Некоторые из двадцати семи прославивших его трудов носили такие заглавия: «Если бы Христос явился в Новый Орлеан», «Истощенный рабочий», «Жилищная реформа в Берлине», «Сельские трущобы Англии», «Население Ист-Сайда», «Реформа в противовес революции», «Университетский городок — обитель радикализма» и «Пещерные люди цивилизации».

Однако Картер Уотсон не был ни одержимым, ни фанатиком. Натываясь на ужасы, он не терялся — он их изучал и разоблачал. Не склонен он был и к наивному энтузиазму. Его выручал природный юмор, накопленный годами опыт, философский ум и вялый темперамент; он не верил в молниеносные преобразования, полагая, что общество может совершенствоваться только путем долгой и трудной эволюции. Он не признавал ни коротких путей, ни внезапных переорождений: человечество придет к совершенству лишь путем жертв и страданий, только таким путем осуществлялись до сих пор все социальные реформы.

В этот летний вечер Картер Уотсон испытывал живейшее любопытство исследователя. Он остановился перед баром, на вывеске которого красовалась надпись «Вендом». У этого заведения было два



входа. Одна дверь, видимо, вела прямо к буфетной стойке. Этот вход Картер не стал исследовать. За другой дверью тянулся узкий коридор. Пройдя его, Картер очутился в большой комнате, заставленной столиками и стульями. Здесь не было ни души. В дальнем углу он заметил пианино. Сказав себе мысленно, что сюда еще надо будет вернуться и присмотреться к людям, которые выпивают за этими столиками, он продолжал свой обход.

Из комнаты небольшой коридорчик вел в кухню, и здесь за столом в одиночестве ужинал Пэтси Хоран, хозяин «Вендома», торопившийся поест до вечернего наплыва посетителей. Пэтси Хоран был зол на весь мир. Он сегодня встал с левой ноги, и целый день у него ничего не ладилось. Его подчиненные знали, что он нынче не в духе. Но Картеру Уотсону это было неизвестно. Когда он вошел, угрюмый взгляд Пэтси Хорана случайно остановился на пестрой обложке журнала, который Картер держал под мышкой. Пэтси не знал Картера Уотсона, не знал и того, что под мышкой у него попросту иллюстрированный журнал. В своем раздражении Пэтси решил, что незнакомец принадлежит к разряду тех назойливых субъектов, которые портят и уродуют стены его трактира, наклеивая на них или прикалывая кнопками всякие рекламные объявления. С этого и началась вся история. Пэтси, держа в руках нож и вилку, подскочил к Картеру Уотсону.

— Вон отсюда! — взревел он. — Знаю я ваши штуки!

Картер Уотсон опешил. Человек вырос перед ним, как чертик из табакерки.

— Стены пачкать? — кричал Пэтси, изрыгая поток сочных и довольно-таки отвратительных эпитетов.

— Если я вас чем-нибудь неумышленно обидел...

Ничего больше посетителю выговорить не удалось. Пэтси перебил его.

— Заткни глотку и убирайся прочь! — изрек он, для большей убедительности размахивая ножом и вилкой.

Картер Уотсон мгновенно представил себе, как вилка вонзается ему в бок, и, поняв, что благоразумнее будет «заткнуть глотку», быстро пошел к двери. Но его покорное отступление, видимо, еще больше разъярило Пэтси Хорана, ибо сей достойный джентльмен, вырвавшись из рук и вилку и нож, кинулся на него.

Пэтси Хоран весил сто восемьдесят фунтов. Столько же весил и Уотсон. В этом отношении шансы были равны. Но Пэтси был просто напористый и грубый трактирный забияка, тогда как Уотсон был искусный боксер. В этом заключалось его преимущество. Сильно размахнувшись, Пэтси промазал, попав кулаком в пустоту. Уотсону следовало ударить его наотмашь и бежать. Но Уотсон обладал и другим преимуществом: опыт, приобретенный при исследовании трущоб и гетто, воспитал в нем выдержку. Круто обернувшись, он, вместо того чтобы нанести удар, быстро нагнулся, избегнув удара противника. У Пэтси, который ринулся вперед, как бык, была сила разбега, тогда как у Уотсона в момент, когда он повернулся, ее не было. В результате оба всей тяжестью своих трехсот шестидесяти фунтов с грохо-

том рухнули на пол, причем Уотсон очутился под противником. Он лежал у задней стены — и до двери на улицу было сто пятьдесят футов, — необходимо было быстро что-нибудь придумать. Прежде всего — избежать скандала! Ему вовсе не хотелось, чтобы его имя попало в газеты города, где он вырос и где у него еще много родственников и старых друзей.

Он обхватил тело лежавшего на нем человека, крепко стиснул его и стал ждать помощи, которая должна была явиться в ответ на шум, вызванный их падением. И помощь явилась: шестеро мужчин вбежали из зала и полукругом обступили лежавших.

— Снимите его, ребята! — сказал Уотсон. — Я его не трогал и не желаю с ним драться.

Но зрители хранили молчание. Уотсон держал своего противника и ждал. После ряда неудачных попыток ударить Уотсона Пэтси начал переговоры:

— Уберите руки, тогда я слезу.

Уотсон отпустил его, но Пэтси, вскочив и наклонившись над лежащим противником, замахнулся на него.

— Вставай! — скомандовал он.

Голос его звучал грозно и неумолнно, подобно гласу божню в день страшного суда, и Уотсон понял, что пощады ждать нечего.

— Отойдите прочь, и я встану, — возразил он.

— Вставай, если ты порядочный человек! — крикнул Пэтси; его бледно-голубые глаза пылали яростью, и кулак сжался для сокрушительного удара.

В тот же миг он отвел ногу назад, чтобы пнуть противника в лицо. Скрестив руки, Уотсон загородил ими лицо и вскочил на ноги так проворно, что успел схватить противника прежде, чем тот изловчился для удара. Не выпуская его, он обратился к свидетелям:

— Уберите его от меня, ребята! Вы видите, я его не бью. Я не лезу в драку. Я хочу уйти отсюда.

Круг оставался недвижим и безмолвен. Молчание это принимало зловещий характер, и у Уотсона захолодело сердце. Пэтси сделал попытку свалить его с ног, но Уотсон опрокинул его на спину и устремился к выходу. Однако зрители толпою загородили ему дорогу. Он обратил внимание на их лица — бледные, одутловатые лица людей, никогда не видящих солнца, — и понял, что это почные хищники городских трущоб. Его оттеснили назад к Пэтси, и тот опять кинулся на него. Уотсон обхватил его и, пользуясь минутой передышки, снова воззвал к шайке. Но обращения его осталось гласом вопиющего в пустыне. Ему стало жутко. Он знал немало случаев, когда в таких притонах посетителям-одиночкам ломали ребра, увечили, забивали их до смерти. Он понял также, что, если хочет спастись, не должен наносить ударов ни нападающему, ни его пособникам.

Но в нем заговорило справедливое возмущение. Семеро против одного — это никак нельзя назвать честной игрой! Он злился, в нем просыпался дремлющий в человеке зверь, жаждущий боя. Но он вспомнил о жене и детях, неоконченной книге, о своем обширном — в де-

сять тысяч акров — ранчо в горах, которое он так любил. Мимолетным видением сверкнуло перед ним голубое небо, залитые солнцем, усеянные цветами луга, скот, лениво бредущий по колено в воде, форели в ручьях. Жизнь была хороша, слишком хороша, чтобы рисковать ею из-за минутной вспышки животной ярости! Словом, Картер Уотсон быстро остыл и ощутил страх.

Его противник, крепко взятый в тиски, силился вырваться. Уотсон снова положил его на пол, бросился к двери, но был оттеснен компанией мучнистолицых сообщников Пэтси. Опять пришлось ему увернуться от кулаков Пэтси и взять его в тиски. Это повторялось много раз. Уотсон становился все спокойнее и увереннее, а озадаченный Пэтси, спасовав перед противником, все больше распалялся дикой яростью. Зажатый Уотсоном в тиски, он стал колотиться о него головой. Сначала ударился лбом о нос Уотсона. В последовавших за этим схватках Уотсон прижимался лицом к груди Пэтси. Разъяренный Пэтси стал колотиться головой об его темя и таким манером подбил собственный глаз, нос и щеку. И чем больше Пэтси причинял себе увечий, тем ожесточеннее колотился он головой о голову противника.

Это одностороннее побонше продолжалось минут двенадцать—пятнадцать. Уотсон не нанес ни единого удара и лишь старался увертываться. Когда он в минуты передышки, кружась между столами, делал попытки продвинуться к выходу, люди с меловыми лицами хватали его за полы и отбрасывали назад к Пэтси. По временам — это повторялось множество раз — Картер, повертев Пэтси, клал его на обе лопатки, стараясь в то же время приблизиться к двери.

В конце концов, без шапки, растрепанный, с окровавленным носом и подбитым глазом, Уотсон выскочил на улицу и попал в объятия полицмена.

— Арестуйте этого человека! — задыхаясь, выговорил Уотсон.

— Привет, Пэтси, — сказал полицмен. — Из-за чего перепалка?

— Здорово, Чарли, — был ответ. — Этот тип входит...

— Арестуйте этого человека, полицмен! — повторил Уотсон.

— Пошел! Пошел! Проваливай! — сказал Пэтси.

— Проваливай! — поддержал его полицмен. — А не уйдешь, так я тебя засажу куда следует.

— Не уйду, пока вы не арестуете этого человека. Он ни с того ни с сего напал на меня.

— Верно это, Пэтси? — спросил полицмен.

— Нет. Я все расскажу тебе, Чарли, и, клянусь богом, у меня есть свидетели. Сажу я у себя в кухне за миской супа, как вдруг входит этот парень и начинает приставать ко мне. Я его сроду не видел! Он был пьян...

— Посмотрите на меня, полицмен, — запротестовал возмущенный социолог. — Разве я пьян?

Полицейский окинул его угрюмым, враждебным взглядом и кивнул Пэтси в знак того, что он может продолжать.

— Повимаешь, входит он и начинает хулиганить. «Я Тим Мак-Грэт, говорит, я могу слезать с тобой все, что хочу. Руки вверх».

Я засмеялся, а он двинул меня раз, другой, разлил мой суп. Посмотри на мой глаз. Я чуть живой!

— Ну, что вы намерены сделать, полисмен? — спросил Уотсон.

— Ступай, ступай, не то арестую!

Тут в душе Картера Уотсона вспыхнуло благородное негодование свободного гражданина.

— Я протестую...

Но полицейский в тот же миг схватил его за плечо и потрянул так свирепо, что Картер чуть не упал.

— Пойдем, ты арестован!

— Арестуйте же и его! — потребовал Уотсон.

— И не подумаю! — был ответ. — Зачем ты напал на него, когда он мирно ел свой суп?

## II

Картер Уотсон был не на шутку взбешен. Мало того, что на него напали, сильно избили и его же потом арестовали, — все утренние газеты вышли с сенсационными заметками о его якобы пьяной ссоре с хозяином знаменитого «Вендома». В заметках не было ни слова правды. Пэтси Хоран и его приятели описали драку со всеми подробностями. Они утверждали, что Картер Уотсон был пьян. Его будто бы трижды выбрасывали в канаву, а он трижды возвращался в трактир, вопя, как бешеный, что разнесет все заведение. *«Выдающийся социолог арестован в пьяном виде!»* — прочел Уотсон на первой странице одной из газет, поместившей его увеличенный портрет. Другие заголовки гласили:

*«Картер Уотсон домогается звания чемпиона!»*

*«Картер Уотсон получил по заслугам!»*

*«Известный социолог пытался разгромить кабак!»*

*«Картер Уотсон нокаутирован Пэтси Хораном в три раунда!»*

Вынужденный на поруки, Картер Уотсон на следующее же утро явился в полицейский суд в качестве ответчика «по иску народа к Картеру Уотсону, обвиняемому в нападении на некоего Пэтси Хорана и избивании оного». Но, прежде чем приступить к делу, прокурор, которому платят жалование за обвинение всех обидчиков «народа», отвел Уотсона в сторону и завел с ним неофициальный разговор.

— Не лучше ли замять это дело? — сказал прокурор. — Мой вам совет, мистер Уотсон: помиритесь с мистером Хораном, пожмите друг другу руки, и все! Одно мое слово судье — и дело будет прекращено.

— Но я вовсе не желаю замять его, — возразил Уотсон. — Ваша обязанность меня обвинять, а не предлагать мне помириться с этим... этим субъектом!

— О, я буду вас обвинять, не беспокойтесь! — резко сказал прокурор.

— Вам придется выступать и против этого Пэтси Хорана, — предупредил Уотсон, — потому что я подам на него в суд за нападение и побой.

— Лучше бы вам пожать друг другу руки и прекратить дело,— повторил прокурор, и на этот раз в его голосе слышалось что-то похожее на угрозу.

Оба дела были назначены к слушанию через неделю у полицейского судьи Уитберга.

— У тебя нет шансов выиграть дело,— сказал Уотсону его друг детства, бывший издатель самой крупной газеты в городе. — Конечно, все понимают, что этот субъект избил тебя. Про него идет самая дурная слава. Но это тебе нисколько не поможет. Оба дела будут прекращены. И только потому, что ты — это ты. Человек менее известный был бы осужден.

— Ничего не понимаю! — воскликнул озадаченный социолог. — На меня ни с того ни с сего напали, жестоко избили, а я не нанес ни одного удара. И я же...

— Это неважно,— прервал Картера его собеседник.

— А что же, скажи!

— Сейчас тебе объясню. Ты восстал против местной полиции и всей политической машины. Кто ты такой? Ты даже не житель нашего города. Здесь у тебя нет избирательного права, ты не можешь иметь никакого влияния на избирателей. А владелец этого кабака командует множеством избирателей в своем районе — он может обеспечить голоса на выборах!

— Не хочешь ли ты сказать, что судья Уитберг способен изменить своему долгу и присяге и оправдать этого скота?

— Увидишь сам,— мрачно ответил приятель. — О, он это сделает очень ловко! Он вынесет архизаконное, архиюридическое решение, избивающее всеми имеющимися в наших словарях словами о праве и справедливости.

— Но у нас есть газеты! — воскликнул Уотсон.

— Газеты не воюют с властями. Они разделают тебя под орех. Смотри, как они уже успели навредить тебе!

— Стало быть, эти молодчики не напишут правды в протоколе?

— Они напишут что-нибудь настолько правдоподобное, что публика поверит им. Разве ты не знаешь, что они пишут протоколы по инструкциям свыше? Им прикажут исказить истину — и тебе не поздоровится, когда они это сделают. Лучше теперь же покончить с этим. Ты влип в скверную историю!

— Но дело ведь назначено к слушанию!

— Только захоти — и они его прекратят. Человек не может бороться с машиной, если только его не поддерживает другая машина.

### III

Картер Уотсон был упрямый человек. Он понимал, что машина раздавит его, но он всю жизнь стремился обогатить свой социальный опыт, а данный случай представлял собой несомненно нечто новое.

В утро суда прокурор сделал еще одну попытку уладить дело.

— Если вы так настроены, то я хотел бы пригласить адвоката,— заявил Уотсон.

— Это ни к чему,— сказал прокурор.— Народ платит мне за то, чтобы я вел дело, и я буду его вести. Имейте в виду— у вас нет никаких шансов его выиграть. Мы соединим оба дела в одно— и держите ухо востро!

Судья Уитберг произвел на Уотсона приятное впечатление. Довольно молодой, невысокий и плотный, гладко выбритый, он казался очень милым человеком. Лицо его выражало ум, губы всегда улыбались, в уголках черных глаз залегли веселые морщинки. Глядя на этого судью, Уотсон решил, что предсказания его старого друга не оправдаются.

Но очень скоро его в этом разубедили. Пэтси Хоран и двое его приспешников нагромоздили целую гору ложных обвинений. Уотсон не поверил бы этому, если бы не слышал их собственными ушами. Они отрицали даже присутствие при драке остальных четырех свидетелей! Из тех двоих, которые давали показания, один утверждал, что находился в кухне и видел ничем не вызванное нападение Уотсона на Пэтси, а другой— будто он из другой комнаты видел, как потом Уотсон два раза врывался в кабак с целью добить ни в чем не повинного Пэтси. Ругань, которую они приписывали Уотсону, была так замысловата и невыразимо гнусна, что этим они себя выдавали с головой. Кто же мог поверить, что Картер Уотсон произносил такие слова! Когда они стали описывать, какие жестокие удары он будто бы обрушил на физиономию бедного Пэтси, Уотсону даже стало смешно, но вместе с тем ему тяжело было видеть, как суд превращался в комедию. Он думал: «До какого же падения дошли люди и какой длинный путь должно еще проделать человечество к вершинам прогресса!»

Уотсон не узнавал себя, да и злейший враг не признал бы его в том забияке и скандалисте, каким его изобразили! Как всегда бывает с запутанными лжесвидетельствами, в отдельных версиях рассказа были пробелы и противоречия. Но судья почему-то совсем не замечал их, а прокурор ловко обходил. Уотсон не позаботился пригласить защитника и теперь рад был, что не сделал этого.

Все же он питал еще некоторое доверие к судье Уитбергу, когда подошел к судейскому столу и стал излагать дело.

— Я прогуливался и забрел случайно...— начал он, но судья перебил его.

— нас не интересуют ваши прежние действия,— сказал он грубо.— Кто первый нанес удар?

— Ваша честь,— продолжал Уотсон,— у меня нет свидетелей, и удостовериться в правдивости моего рассказа вы можете, лишь выслушав меня до конца.

Его опять перебили.

— Мы здесь не журналы издаем!— прорычал судья Уитберг, свирепо глядя на него. Уотсон с трудом мог поверить, что он тот самый человек, лицо которого ему понравилось несколько минут назад.

— Кто первый нанес удар?— спросил адвокат Пэтси.

Тут вмешался прокурор, потребовав, чтобы ему объяснили, какое же из двух дел сейчас рассматривается и по какому праву адвокат Пэтси допрашивает подсудимого. Адвокат отразил выпад. Судья Уитберг заявил, что ему ничего не известно о втором деле, которое соединили с первым. Все это требовало выяснений. Началось генеральное сражение, закончившееся тем, что оба юриста извинились перед судьей и друг перед другом. Уотсону казалось, что он видит перед собою шайку карманных воров, шныряющих вокруг честного человека и заговаривающих ему зубы, пока другие вытаскивают у него кошелек. Да, машина пущена в ход — только и всего!

— Зачем вы зашли в это заведение, пользующееся дурной репутацией? — спросили Уотсона.

— Вот уже много лет я изучаю экономику и социологию и стараюсь знакомиться...

Только это и успел выговорить Уотсон.

— Нам не интересны ваши «ологини», — перебил судья Уитберг. — Вопрос ясен. Дайте на него ясный ответ. Были вы пьяны или не были? В этом вся суть.

Когда Уотсон сделал попытку рассказать, как Пэтси расшиб себе лицо, колотясь о его голову, его подняли на смех, и судья Уитберг снова остановил его.

— Сознаете ли вы святость присяги, которую вы дали, обещая свидетельствовать только правду? — спросил судья. — Ведь вы рассказываете нам какие-то сказки! Возможно ли, чтобы человек добровольно увечил себя и наносил себе вред, колотясь мягкими, чувствительными частями своего лица о вашу голову? Ведь вы же разумный человек! То, что вы говорите, ни с чем не соотносимо.

— В ярости люди бывают безрассудны, — мягко ответил Уотсон.

Тут судья Уитберг глубоко оскорбился и воспылил праведным гневом.

— Какое право вы имеете говорить это? — закричал он. — Это не имеет никакого отношения к делу. Вы обязаны только давать показания. Суду нет никакого дела до ваших мнений о чем бы то ни было.

— Я лишь ответил на вопрос, ваша честь, — смиренно возразил Уотсон.

— Ничего подобного! — снова заорал на него судья. — Предупреждаю вас, сэр, что своим дерзким поведением вы восстановите против себя всех. И знайте, что мы умеем соблюдать законы и правила вежливости. Мне стыдно за вас!

Пока шел начавшийся затем казуистический спор между адвокатом и прокурором, прервавший показания подсудимого о событиях в «Вендоме», Картер без всякой горечи, с любопытством и одновременно с грустью наблюдал, как действует эта огромная, могущественная и вместе с тем жалкая машина, управлявшая страной. Он думал о безнаказанном и бесстыдном взяточничестве в тысячах городов, узаконенном паукообразными гадами, состоящими при этой машине. Вот она — на его глазах в этой судебной камере, где судья угодливо

склоняется перед кабатчиком, в руках которого множество марионеток-избирателей. Ничтожное судебное дело о побоях было лишь одним из многочисленных примеров работы той сложной и многоголкой машины, которая действовала во всех городах и штатах, бросая тень на всю страну.

В мозгу Картера звучала знакомая фраза: «Да ведь это просто смешно!» В самый разгар спора он не сдержался и захихикал, вызвав этим сердитый взгляд судьи. Уотсон решил, что эти юристы и этот грубиян судья в тысячу раз хуже драчливых штурманов на торговых кораблях: те умели не только нападать, но и защищаться, а эти мелкие негодяи укрывались за спиной закона. Самы они нападали, но не давали возможности отражать их удары, прячась за тюремные камеры и дубинки тупых полисменов, этих профессиональных истязателей на жалованье. Но злобы Уотсон не испытывал. Грубость и неприличие всей процедуры заслонялись ее невероятной комичностью. Уотсона спасало природное чувство юмора.

Несмотря на запугивание и придирки, ему удалось в конце концов дать точное и правдивое описание схватки, и, вопреки явно пристрастному характеру перекрестного допроса, ни одна мелочь в его показаниях не была опровергнута. Совсем другой характер носили крикливые показания Пэтси и его двух свидетелей, лживые от начала до конца.

Как адвокат Пэтси, так и прокурор поддерживали обвинение, не оспаривая ничего по существу. Уотсон протестовал, но прокурор зажал ему рот, объявив, что он общественный обвинитель и знает свое дело.

«Патрик Хоран доказал, что жизни его грозила опасность и он вынужден был обороняться,— гласил приговор, вынесенный судьей. — Аналогичное заявление сделано и мистером Уотсоном. Каждый из них под присягой удостоверяет, что первый удар был нанесен противной стороной. Каждый клянется, что подвергся ничем не вызванному нападению со стороны противника. Закон гласит, что сомнение толкуется в пользу ответчика. В данном случае налицо весьма основательные сомнения. Поэтому в деле «Народ против Картера Уотсона» сомнение толкуется в пользу вышеозначенного Картера Уотсона, который тем самым освобождается от ареста. То же имеет место в деле «Народ против Патрика Хорана». Сомнение толкуется в его пользу, и он освобождается от ареста. Я рекомендую обоим обвиняемым обменяться рукопожатием и помириться».

На странице вечерней газеты Уотсон прочел заголовок: «Картер Уотсон оправдан!» Вторая газета объявляла: «Картер Уотсон избежал штрафа!» Но лучше всего была заметка, начинавшаяся словами: «Картер Уотсон — славный малый!» В ней говорилось, что судья Уитберг посоветовал обоим драчунам пожать друг другу руки, что они и поспешили сделать. Далее он прочел следующее:

«— Что ж, по этому случаю выйдем по маленькой? — промолвил Пэтси Хоран.

— Идет! — сказал Картер Уотсон.

И они направились в ближайший бар».



В общем, это приключение не оставило горечи в душе Картера Уотсона. Это был еще один новый «социальный опыт», и в результате Уотсоном была написана еще одна книга, озаглавленная: «Полицейское судопроизводство».

Год спустя, приехав в одно летнее утро на свое ранчо, Картер Уотсон слез с лошади и стал пробираться через небольшое ущелье, желая осмотреть группу горных папоротников, посаженных им прошлой зимой. Выйдя из ущелья, он очутился на усеянной цветами поляне. Это был очаровательный уединенный уголок, отгороженный от остального мира холмиками и купаи деревьев. И здесь Картер увидел человека, который, по-видимому, вышел на прогулку из летней гостиницы, расположенной в миле отсюда. Они столкнулись лицом к лицу и узнали друг друга: приезжий был не кто иной, как судья Уитберг. Он явно нарушил границы чужого владения, ибо Уотсон, хотя и не придавал этому значения, выставил на рубеже своих владений межевые знаки.

Судья протянул руку, но Уотсон сделал вид, что не заметил этого.

— Политика — грязное дело, не правда ли, судья? — сказал он. — О, я вижу вашу руку, но не хочу ее пожать! Газеты писали, будто я после суда подал руку Пэтси Хорану. Вы знаете, что это ложь, но скажу прямо — я в тысячу раз охотнее пожал бы руку ему и его подлым приспешникам, нежели вам!

Судья Уитберг испытывал сильное замешательство. Покуда он, откашливаясь и запинаясь, силился заговорить, Уотсона, наблюдавшего за ним, внезапно осенила одна мысль, и он решился на веселую, хотя и злую проделку.

— Не думал я, что встречу злопамятство в человеке столь просвещенном и знающем жизнь... — начал судья.

— Злопамятство? Вот уж нет! — возразил Уотсон. — Мне оно несвойственно. В доказательство разрешите показать вам одну любопытную штуку, какой вы, наверное, никогда не видали!

Уотсон поднял с земли камень величиной с кулак.

— Видите это? Теперь смотрите на меня!

Сказав это, Картер Уотсон нанес себе сильный удар камнем по щеке. Он рассек щеку до кости, и кровь брызнула струей.

— Камень попался чересчур острый, — пояснил он изумленному судье, решившему, что Уотсон сошел с ума. — Переборщил малость. А в таких делах самое главное — правдоподобие.

Отыскав другой, гладкий камень, Картер Уотсон несколько раз подряд ударил им себя по щеке.

— Ага, — сказал он спокойно, — через час-другой щека приобретет великолепную черно-зеленую окраску. Это будет убедительно!

— Да вы спятили! — дрожащим голосом пролепетал судья Уитберг.

— Не грубите! — сказал Уотсон. — Разве вы не видите моей окровавленной физиономии? Вы дважды ударили меня правой рукой! Ка-

кое зверское, ничем не вызванное нападение! Моя жизнь в опасности! Я вынужден обороняться.

Судья Уитберг в страхе отступил, увидев под самым носом кулаки Уотсона.

— Только ударьте меня, и я прикажу вас арестовать! — пригрозил он.

— Это самое я говорил Пэтси, — последовал ответ. — И знаете, что он сделал?

— Нет.

— Вот что!

В то же мгновение правый кулак Уотсона обрушился на нос судьи Уитберга, и сей джентльмен упал навзничь.

— Встаньте! — скомандовал Уотсон. — Встаньте, если вы порядочный человек! Так сказал мне Пэтси. Да вы ведь это знаете...

Судья Уитберг не желал вставать, но Уотсон поднял его за шиворот и поставил на ноги — лишь для того, чтобы подбить ему глаз и снова опрокинуть на спину. После этого началось истязание по методу краснокожих индейцев. Судью Уитберга избивали по всем правилам искусства, били по щекам, по ушам, возили лицом по траве. Все время Уотсон показывал, «как продельвал это Пэтси Хоран». По временам расшалившийся соцнолог с большой ловкостью наносил себе удар, оставляющий настоящий кровоподтек, и раз, поставив бедного судью стоймя, он умышленно расшиб себе нос о голову этого джентльмена. Из носа пошла кровь.

— Видите? — воскликнул Уотсон, отступая на шаг и размазывая кровь по всей манишке. — Вот что вы сделали! Треснули меня кулаком! Это ужасно. Я едва жив! Я вынужден защищаться.

И снова судья Уитберг получил удар кулаком в лицо и свалился.

— Я велю вас арестовать, — сказал он, всхлипывая.

— Вот это самое говорил Пэтси!

— Это зверское, ничем не вызванное нападение...

— Эти самые слова я слышал от Пэтси.

— Я вас арестую, не сомневайтесь!

— Вряд ли, если мне удастся опередить вас.

Картер Уотсон сошел в ущелье, сел на свою лошадь и уехал.

Часом позже, когда судья Уитберг, прихрамывая, добрался до своей гостиницы, он был арестован деревенским констеблем за нападение и побой по жалобе Картера Уотсона.

## V

— Ваша честь, — говорил на другой день Уотсон деревенскому судье, зажиточному фермеру, окончившему лет тридцать тому назад сельское училище. — Ввиду того, что вслед за учиненным надо мной насильем этому Солу Уитбергу пришла фантазия обвинить меня в нанесении ему побоев, я предложил бы, чтобы оба дела слушались вместе. Свидетельские показания и факты в обоих случаях одинаковы.

Судья согласился, и оба дела разбирались одновременно. Как свидетель обвинения, Уотсон выступил первым и так изложил происшествие.

— Я рвал цветы,— показывал он,— мои цветы на моей собственной земле, не предвидя никакой опасности. Вдруг этот человек кинулся на меня из-за деревьев. «Я Додо,— говорит он,— и могу исколошматить тебя так, что от тебя останется мокрое место. Руки вверх!» Я улыбнулся, но тут он — бац! — сбил меня с ног и разбросал цветы. И ругался при этом отвратительно! Это ничем не вызванное зверское нападение. Смотрите на мою щеку, смотрите, во что он превратил мой нос! Должно быть, он был пьян. Не успел я опомниться, как он начал избивать меня. Жизни моей грозила опасность, и я был вынужден защищаться! Вот и все, ваша честь, и, должен сказать, я так ничего и не понял. Почему он назвал себя «Додо»? Почему без всякого повода напал на меня?

Так Солу Уитбергу было преподано искусство лжесвидетельства. С высоты своего кресла ему часто случалось снисходительно выслушивать ложь под присягой в инсценированных полицией «делах»; но тут впервые лжесвидетельство было направлено против него самого, причем на этот раз он не восседал на судейском кресле под охраной пристава и полицейских дубинок.

— Ваша честь! — возопил он. — Никогда еще мне не доводилось слышать такой бесстыдной лжи!

Уотсон вскочил.

— Ваша честь, я протестую! Дело ваше решать, где правда и где ложь. Свидетель в суде должен только излагать факты. Его личное мнение не имеет отношения к делу!

Судья почесал затылок и довольно вяло выразил негодование.

— Совершенно верно,— сказал он. — Мистер Уитберг, вы утверждаете, будто вы судья. Следовательно, вы должны знать все тонкости судопроизводства. Между тем вы совершаете такие противозаконные деяния! Ваши повадки, сэр, и ваш образ действий характеризуют вас как клеветника! Нам надо установить, кто первый нанес удар, и нам нет никакого дела до вашей оценки личных качеств мистера Уотсона. Продолжайте давать показания!

Судья Уитберг с досады прикусил бы свою распухшую губу, если бы она не болела так сильно. Он взял себя в руки и изложил дело ясно и верно.

— Ваша честь,— сказал Уотсон. — Спросите же его, что он делал в моих владениях.

— Вопрос резонный. Что вы делали, сэр, во владениях мистера Уотсона?

— Я не знал, что это его владения.

— Это нарушение чужих границ, ваша честь! — сказал Уотсон. — Знаки выставлены на видном месте!

— Я не видел никаких знаков,— сказал Сол Уитберг.

— Я сам видел их! — резко возразил судья. — Они бросаются в глаза! Должен предупредить вас, сэр, что если вы даже и в таких

мелочах будете уклоняться от истины, то вызовете недоверие к более важным пунктам ваших показаний! За что вы ударили мистера Уотсона?

— Ваша честь, я уже докладывал, что не нанес ему ни одного удара.

Судья посмотрел на распухшее лицо Картера Уотсона, затем устремил грозный взгляд на Сола Уитберга.

— Взгляните на щеку этого человека! — загремел он. — Если вы не нанесли ему ни одного удара, почему же он так избит и изувечен?

— Как я уже объяснял...

— Будьте осторожны! — предостерег его судья.

— Я буду осторожен, сэр, я буду говорить только правду. Он сам ударил себя камнем. Он ударил себя двумя камнями.

— Возможно ли, чтобы человек, если только он не помешан, сам себя увечил, нанося себе камнем удары по лицу? — спросил Картер Уотсон.

— Да, это сильно смахивает на сказку, — заметил судья. — Мистер Уитберг, вы были пьяны?

— Нет, сэр.

— Вы никогда не пьете?

— Только иногда, при случае.

Некоторое время судья размышлял, сделав глубокомысленную мину.

Уотсон воспользовался этим и подмигнул Солу Уитбергу; но сей джентльмен, претерпев столько невзгод, не видел в создавшемся положении ничего смешного.

— Станный, очень странный случай! — объявил судья, приступая к чтению приговора. — Показания обеих сторон явно противоречивы, а свидетелей нет. Каждый утверждает, что нападение совершил другой, и суд не имеет возможности установить истину. Но у меня создалось свое мнение, мистер Уитберг, и я советовал бы вам держаться подальше от владений мистера Уотсона и уехать отсюда.

— Возмутительно! — буркнул Сол Уитберг.

— Сядьте на место, сэр! — приказал громовым голосом судья. — Если вы еще раз перебьете меня, я оштрафую вас за неуважение к суду. И предупреждаю — штраф будет большой. Вы сами судья и должны блюсти достоинство суда! Сейчас я прочту приговор: «Закон гласит, что сомнение всегда толкуется в пользу подсудимого. Ввиду невозможности установить, кто нанес первый удар, я, к моему великому сожалению, — тут он сделал паузу и грозно посмотрел на Сола Уитберга, — по каждому из этих дел вынужден оправдать ответчика... Джентльмены, вы оба свободны...»

— Что ж, выйдем по этому случаю? — обратился Уотсон к Уитбергу, когда они вышли из суда. Но возмущенный Уитберг отказался пойти с ним под руку в ближайший кабак.

Притчи не лгут, но лгуны говорят притчами.  
*Лип-Кинг*

Длиннобородый умолк, облизал сальные пальцы и вытер о колени, едва прикрытые потрепанной медвежьей шкурой. Около старика на корточках сидели трое парней, его внуки: Быстроногий Олень, Желтоголовый и Боящийся Темноты. Они были похожи друг на друга: худые, нескладные, узкобедрые, кривоногие и в то же время широкие в груди, тяжелоплечие, с огромными руками; на всех троих болтались шкуры каких-то диких зверей. Грудь, плечи, руки и ноги обросли густой растительностью. Спутанные волосы на голове то и дело космами спадали на черные, точно бусинки, по-птичьи блестящие глаза. Сходство дополняли узкие лбы, широкие скулы и тяжелые, выдвинутые вперед подбородки.

Ночь стояла такая звездная, что видно было, как гряда за грядой тянулись, сколько хватал глаз, покрытые лесами холмы. Где-то далеко плясали на небе отсветы извергающегося вулкана. Позади людей чернело отверстие пещеры — оттуда тянуло холодком. Подле ярко пылающего костра лежали остатки медвежьей туши, а на приличном расстоянии припали к земле огромные, косматые, волчьего обличья, псы. Под рукой у каждого из сидевших вокруг костра были лук, стрелы и увесистая дубинка. Прислоненные к скале у входа в пещеру, стояли грубые копья.

— Вот так мы и покинули пещеры и стали жить на деревьях, — снова заговорил Длиннобородый.

Внуки неудержимо, по-детски рассмеялись над только что услышанным рассказом. Хохотнул и Длиннобородый, и пятидюймовая костяная игла, протетая сквозь хрящ в носу, нелепо затряслась, запрыгала, придавая его физиономии еще большую свирепость. Старик не произнес этих слов, но животные звуки, которые он издал губами, обозначали то же самое.

— Это первое, что я помню о Приморской Долине, — продолжал Длиннобородый. — Да, мы были глупы. Мы не знали, в чем секрет силы. Ведь каждая семья жила сама по себе и заботилась только о себе. Тридцать семей в племени, а силы нашей не прибывало. Мы боялись друг друга, не ходили в гости. Мы построили шалаши на деревьях, а снаружи, у входа, держали груды камней, которыми встречали тех, кто приходил к нам. К тому же у нас были копья и стрелы. Никто не осмеливался пройти под деревом, принадлежащим чужой семье. Мой брат как-то сделал это, и старый Бу-уг проломил ему череп, и брат умер.

Бу-уг был очень сильный. Говорят, что он мог оторвать человеку голову. Я не слышал, чтобы он оторвал кому-нибудь голову, потому что все боялись его и прятались подальше. И отец мой боялся. Однажды, когда отец был на берегу, Бу-уг погнался за матерью. Она не могла бежать быстро, потому что накануне в горах, где собирали ягоды, медведь порвал ей ногу. Бу-уг поймал ее и потащил к себе на

дерево. Отец не решился сделать так, чтобы она вернулась. Он испугался Бу-уга. А тот сидел на дереве и корчил ему рожи.

Отец не очень горевал. Жил среди нас еще один сильный человек, Крепкая Рука. Он умел хорошо ловить рыбу. Как-то Крепкая Рука полез за птичьими яйцами и сорвался с утеса. После этого он потерял свою силу. Стал подолгу кашлять, спина у него согнулась. Тогда отец взял жену Крепкой Руки. Тот пришел к нам под дерево и кашлял, а отец смеялся и бросал в него камнями. Таковы были обычаи в те времена. Мы не знали, как соединить нашу силу и сделаться настоящим сильными.

— Неужели и брат отнимал жену у брата? — подвинулся Быстроногий Олень.

— Да, отнимал, когда решал жить отдельно, на собственном дереве.

— А у нас так не делается, — сказал Боящийся Темноты.

— Потому что я научил кое-чему ваших отцов. — Длиннобородый засунул волосатую руку в медвежью тушу, вытащил пригоршню внутреннего сала и стал задумчиво сосать его. Потом обтер пальцы и продолжал: — То, о чем я рассказываю, происходило очень давно, когда мы не все понимали.

— Нужно быть глупцом, чтобы не все понимать, — заметил Быстроногий Олень.

И Желтоголовый одобрительно заворчал:

— Верно, я расскажу, как потом мы стали еще большими глупцами. И все-таки в конце концов мы кое-чему научились. Вот как это случилось.

Мы, рыбоеды, не умели тогда соединять нашу силу так, чтобы сила племени была силой всех нас. А вот за перевалом, в Большой Долине, жили мясоеды. Они стояли друг за друга, вместе охотились, ловили рыбу, вместе воевали. И вот они пошли на нас. Каждая семья забилась в свою пещеру, попряталась на деревьях. Мясоедов было всего десять человек, но они сражались вместе, а мы каждый за себя.

Длиннобородый долго и старательно считал на пальцах.

— У нас было шестьдесят человек, — объяснил он наконец жестами и звуками. — Мы были сильны, но не знали этого. Мы видели, как мясоеды карабкались на дерево Бу-уга. Он хорошо дрался, но что он мог сделать в одиночку? Ведь остальные просто смотрели. Когда несколько мясоедов полезли на дерево, Бу-уг вынужден был высуниться из шалаша, чтоб сбросить на них камни. Другие только того и ждали: засыпали его стрелами. Так пришел конец Бу-угу.

Потом мясоеды принялись за Одноглазого, который вместе с семьей забился в пещеру. Они разложили у входа костер и стали выкуривать их точно так же, как мы сегодня выкуривали из берлоги медведя. Потом мясоеды побежали к дереву Шестиногого, и, пока они расправлялись с ним и с его взрослым сыном, мы кинулись прочь. Но мясоеды поймали нескольких наших женщин, убили двух стариков, которые не могли бежать быстро, и кое-кого из детей. Женщины они увели с собой, в Большую Долину.

Когда те, кто уцелел, вернулись, решено было созвать совет. Так решили, наверное, потому, что все были напуганы и поняли, как нужны друг другу. Да, мы держали совет, наш первый настоящий совет. И на том совете договорились создать племя. Урок пошел нам на пользу. Каждый из десяти мясоедов сражался за десятерых, потому что все десять сражались заодно. Они соединили свои силы. А у нас тридцать семей — шестьдесят человек — обладали силой лишь одного человека, потому что каждый сражался в одиночку.

Мы совещались долго, нам было трудно договориться, ибо мы не пользовались словами, как теперь. Потом, много лет спустя, человек по имени Гнида придумал несколько слов, потом другие тоже. Но в конце концов мы все-таки договорились соединить наши силы и быть заодно, когда мясоеды снова надумают прийти из-за перевала и похитить наших женщин. Так было создано племя.

Мы поставили двух мужчин поочередно днем и ночью дежурить на перевале, чтобы предупредить нас, если придут мясоеды. Они стали глазами племени. Кроме того, племя назначило десять человек, которые должны были всегда иметь при себе дубинки, копья и стрелы и быть готовыми отразить нападение. Прежде, отправляясь ловить рыбу, собирать моллюсков или птичьи яйца, человек брал с собой оружие. Половину времени он собирал пищу, а половину следил, как бы на него не напал кто-нибудь. Теперь дела пошли поининому. Мужчины уходили без оружия, чтобы без опаски, не отвлекаясь, добывать пищу. Когда в горы за кореньями или ягодами отправлялись женщины, их сопровождали пять воинов. А на перевале дни и ночи напролет глаза племени следили за врагом.

Но потом начались раздоры. И, как всегда, из-за женщин. Холостые мужчины пытались отнять чужих жен, и часто случались драки: то разможат кому-нибудь голову, то проткнут копьем. Пока один из стражей дежурил на перевале, у него похитили жену, и он прибежал, чтобы отбить ее. За ним пришел и второй страж, опасаясь за свою жену. Произошла ссора и среди тех десяти воинов, которые всегда носили при себе оружие; разделившись пополам, они сражались друг с другом, пока пятеро из них под натиском соперников не отступили к берегу.

Так племя лишалось глаз и воинов. У нас уже не было силы шестидесяти человек. У нас совсем не было силы. Тогда мы еще раз созвали совет и установили первые законы. Я в то время был юнцом, но я помню. Мы порешили, что не должны сражаться между собой, если хотим быть сильными, и что племя будет сурово расправляться с тем, кто убьет человека. По другому закону племя получало право сурово карать того, кто похитит чужую жену. Мы установили, что, если человек, обладающий большой силой, обижает братьев по племени, остальные обязаны лишить его силы. Если позволить ему, пользуясь силой, обижать других, то людей охватит страх, и племя распадется, и мы снова станем такими же слабыми, как в первое нашествие мясоедов, когда убили Бу-уга.

Жил среди нас сильный человек по имени Голень, очень сильный человек, который не признавал закона. Он полагался только на свою

силу и потому забрал жену у Трехстворчатой Раковины. Тот стал было драться, но Голень раздробил ему череп. Однако Голень забыл, что, решив соблюдать закон, люди соединили свои силы, и племя убило его, а тело повесили на суку его собственного дерева в знак того, что закон сильнее любого человека. Мы все были законом, и нет никого, кто был бы могущественнее закона.

Случались и иные беспорядки, ибо, знайте, о Быстроногий Олень, Желтоголовый и Боящийся Темноты, нелегко создать племя. И было много всяких споров, порой мелочей, которые следовало уладить. А чего стоило собрать всех на совет! Мы совещались утром и днем, вечером и ночью. У нас не оставалось времени добывать пищу, потому что вечно возникали какие-нибудь дела: то назначить на перевал новых стражей, то решить, какую долю добычи отдавать тем, кто всегда носил при себе оружие и не мог поэтому добывать пищу.

Чтобы все уладить, нужен был старший, который стал бы голосом совета и отчитывался перед ним. Мы выбрали Фит-фита. Он был сильный и хитрый, а когда сердился, делал ртом «фит-фит», словно дикая кошка.

Тем десяти, которые охраняли племя, поручили навалить стену из камней в самой узкой части долины. Им помогали женщины, подростки и даже мужчины, пока стена не стала совсем крепкой. Люди покинули свои пещеры, спустились с деревьев и построили хижины под прикрытием стены. Больше хижины удобнее, чем пещеры и шалаши на деревьях, и жить стало лучше, ибо все соединили свои силы и образовали племя. Благодаря стене, воинам и стражам у племени оставалось больше досуга охотиться, ловить рыбу, собирать коренья и ягоды. Было вдоволь хорошей пищи, никто не голодал. А Трехногий — его прозвали так потому, что в детстве ему перебили ноги и он ковылял с палкой, — так вот, Трехногий набрал семян дикой кукурузы и посеял их возле дома в долине. Потом он посадил корнеплоды и всякие другие растения, которые нашел в горах.

Благодаря постросинной нами стене, нашим воинам и стражам мы чувствовали себя в Приморской Долине в полной безопасности, и никто не дрался из-за еды, потому что ее хватало на всех. К нам стали приходить целыми семьями из других племен в соседних долинах, а также из-за гор, где люди жили как животные. И вскорости в Приморской Долине поселилось так много народу, что не сосчитать семей. Но еще до того кто-то надумал поделить землю, которая прежде была общей и принадлежала всем. Пример показал Трехногий, когда посадил кукурузу. Большинство камнями участки. Пшеницы было вдоволь, а что еще человеку нужно? Помню, как мы с отцом делали ограду для Трехногого и он дал нам взамен кукурузы.

Так и получилось, что землю захватили немощные, и больше всех Трехногий. Некоторым очень хотелось получить участки, и те, у кого была земля, отдавали ее за кукурузу, вкусные коренья, медвежьи шкуры и рыбу, которую земледельцы выменивали у рыбаков. Словом, не успели мы оглянуться, как свободной земли не осталось.



В то приблизительно время умер Фит-фит, и вождем выбрали его сына, Собачьего Клыка. Он сам потребовал, чтобы его сделали вождем. Он даже считал себя более мудрым вождем, чем отец. И в самом деле, поначалу он был хорошим вождем, много старался, так что совету постепенно нечего стало делать. Тут выплыл еще один, Кривогубый, и стал важным человеком в Приморской Долине. Мы никогда не замечали за ним каких-нибудь особых достоинств, пока он не объявил, что умеет разговаривать с тенями умерших. После мы прозвали его Жирным, потому что он не работал, много ел и стал большим и толстым. Жирный объявил, что только ему ведомы тайны смерти, что он слышит голос бога. Он заделался дружкой Собачьего Клыка, и тот приказал построить Жирному большую хижину. Жирный наложил на хижину табу и держал там бога.

Собачий Клык понемногу прибирал к рукам дела совета, а когда в племени стали роптать, угрожая, что назначат другого вождя, Жирный посоветовался с богом и сказал, будто это противно воле божьей. Вождя поддерживал Трехногий и другие владельцы земли. Они подговорили самого сильного в совете, Морского Льва, и втихомолку дали ему земли, множество медвежьих шкур и несколько корзин кукурузы. И тогда Морской Лев сказал, что устами Жирного глаголет бог и что мы должны ему подчиниться. Скоро Морского Льва назначили помощником Собачьего Клыка, и он говорил от имени вождя.

А еще был в племени Пустой Живот, низенький и такой тонкий посередине, как будто никогда не ел досыта. В устье реки, там, где отмель гасила волны, он устроил большую вершу. Никто до него не додумался ловить рыбу вершей. Он делал ее несколько недель подряд, ему помогали жена и дети, а мы потешались над его затеей. Но, когда все было готово, он в первый же день наловил столько рыбы, сколько не удавалось целому племени за неделю, и мы веселились такой удаче. На реке оказалось другое подходящее для верши место, и мы с отцом и еще человек десять решили последовать примеру Пустого Живота. Но из большой хижины, выстроенной для Собачьего Клыка, прибежали стражники. Они принялись колоть нас копьями и приказали убираться вон, потому что Пустой Живот, по разрешению Морского Льва, который был подголоском Собачьего Клыка, сам задумал поставить там вершу.

Поднялся ропот, и мой отец потребовал созвать совет. Но когда он поднялся, чтобы говорить, Морской Лев проткнул ему горло копьем, и отец умер. А Собачий Клык, Пустой Живот, Трехногий и все, кто владел землей, сказали, что так надо. Жирный поддакнул: такова, дескать, воля господня. После этого люди боялись говорить в совете, и совет распался.

А был такой — звали его Свиное Рыло, — который надумал разводить коз. Он узнал, что так делают мясоеды, и скоро козы ходили у него стадами. Те, у кого не было ни земли, ни вершей, нанимались к Свиному Рылу, чтобы заработать еду, — они ходили за козами, охраняли их от волков и тигров, гоняли на пастбища в горы. За это он давал им козляное мясо и шкуры прикрывать тело, а они нередко меняли козлятину на рыбу, кукурузу и коренья.

В то время как раз и появились деньги. Выдумал их Морской Лев, посоветовавшись с Собачьим Клыком и Жирным. Дело в том, что эта троица имела долю во всем, что добывалось в Приморской Долине. Из каждых трех корзин кукурузы одну отдавали им. То же самое было с рыбой и козами. Они кормили воинов и стражей, а остальное забирали себе. Иногда после большого улова они не знали, что делать со своей долей. И вот Морской Лев заставил женщин изготавливать из ракушек деньги — маленькие круглые пластинки, гладкие, красивые, с отверстием посередине. Пластинки нанизывали на нитки, и эти нитки стали называть деньгами.

За одну нитку давали тридцать или сорок рыб, а женщинам, которые делали по нитке в день, давали по три рыбины каждой из доли Собачьего Клыка, Жирного и Морского Льва, которую они не могли съесть. Поэтому все деньги принадлежали им. Потом они сказали Трехногому и другим землевладельцам, что будут брать свою долю кукурузы и корнеплодов деньгами; Пустому Животу тоже сказали, что долю рыбы будут брать деньгами, а Свиному Рылу сказали, что будут брать свою долю коз и сыра деньгами. Так получилось, что человек, у которого ничего не было, вынужден был работать на того, кто чем-то владел, и ему платили деньгами. На них он покупал кукурузу, рыбу, мясо и сыр. А Трехногий и другие богатеи давали Собачьему Клыку, Морскому Льву и Жирному их долю деньгами. Эти трое платили деньги воинам и стражам, а те на деньги покупали еду. А поскольку деньги были дешевы, Собачий Клык многих сделал своими воинами. Деньги нетрудно было изготовить, и некоторые попытались сами делать пластинки из раковин. Но стражники били их копьями и засыпали стрелами, утверждая, что те, кто делает деньги, стараются расколоть племя, подорвать его могущество. А подрывать могущество племени нельзя, ибо тогда придут из-за гор мясоеды и всех перебьют.

Жирный толковал волю бога, но потом он призвал Сломанное Ребро и сделал его жрецом, чтобы тот толковал его, Жирного, собственную волю и держал вместо него речи. И оба заставили других служить им. Так же поступил и Пустой Живот, и Трехногий, и Свиное Рыло — подле их жилищ постоянно валялись на солишке какие-то бездельники, которых они посылали с разными поручениями. Таким образом, все больше и больше людей отрывали от работы, а остальным приходилось трудиться тяжелее, чем прежде. Оказалось, что нине не хотят работать и ищут способа, как заставить других работать на них. Один, по прозвищу Кривой, нашел такой способ. Он первым приготовил из кукурузы огненный наниток. И после он уже не работал, так как вихомолку сговорился с Собачьим Клыком, Жирным и другими хозяевами, что он будет единственным, кому разрешено делать огненный наниток. Но Кривой сам-то ничего не делал. За него работали другие, а он платил им деньги. Потом он продавал наниток, и люди охотно покупали. А сколько наниток денег он передал Собачьему Клыку, Морскому Льву и прочим — не считал!

Когда Собачий Клык решил взять вторую жену, а потом третью, его, конечно, поддержали Жирный и Сломанное Ребро. Они сказали,

что Собачий Клык не такой, как все, и что над ним — только бог, которого Жирный прятал в своем закрытом доме. Собачий Клык подтвердил их слова и сказал, что хотел бы знать, кто недоволен тем, что у него много жен. И еще Собачьему Клыку сделали большую лодку, и ради этого он оторвал много людей от работы: они подолгу болтались без дела и, лишь когда он решал выехать на лодке, садились за весла. Кроме того, он назначил Тигриную Морду начальником над стражниками, тот стал правой рукой вождя и убивал людей, которые пришлись вождю не по сердцу. Тигриная Морда, в свою очередь, назначил себе помощника, и тот стал правой рукой начальника и убивал людей, которые пришлись начальнику не по сердцу.

И вот что странно: чем тяжелее становилась работа, тем меньше мы получали еды.

— Однако у вас были козы и кукуруза, корнеплоды и верши для рыбы, — возразил Боящийся Темноты. — Вы работали и не могли добыть себе пищу?

— Почему же, конечно, могли, — согласился Длиннобородый. — Три человека ловили вершей больше рыбы, чем все племя прежде, когда мы не знали вершей. Но разве я не сказал вам, что мы были глупцами? Чем больше пищи мы научились добывать, тем меньше мы ели.

— И вы не понимали, что все поедали те, кто не работал? — спросил Желтоголовый.

Длиннобородый печально покачал головой.

— Собаки у вождя отяжелели от мяса, и люди, которые не работали и валялись на солнце, заплыли жиром, в то время как маленькие дети плакали от голода и не могли уснуть.

Подавленный страшной картиной голода, Быстроногий Олень оторвал от туши кусок мяса и, наколов на палку, обжарил его на углях. С аппетитом, громко причмокивая, он съел мясо.

Длиннобородый продолжал:

— Когда мы начинали роптать, вставал Жирный и говорил, будто бог повелел избранным владеть землею и козами, рыбными вершами и огненным напитком, что без таких мудрых людей мы превратились бы в диких зверей, как в те времена, когда мы жили на деревьях.

За ним вставал бард, что был при Собачьем Клыке. Его прозвали Гнидой — такой маленький, уродливый, скрюченный, не умел ни работать, ни воевать. Но он любил сочные мозговые кости, вкусную рыбу, парное козье молоко, свежие побеги молодой кукурузы и удобное место у очага. Он стал слагать песни в честь вождя — сумел ничего не делать и быть сытым. А когда люди начинали роптать, иные даже забрасывали камнями дом вождя, он затягивал песню о том, как хорошо быть рыбоедом. Он пел, что мы избранные божьи и самые счастливые люди на земле. Он называл мясоедов хищными воронами и грязными свиньями и призывал нас сражаться и доблестно умирать, выполняя волю господню, который повелел уничтожать мясоедов. От той песни в сердце у нас вспыхивал пламень, мы требовали, чтобы нас вели на мясоедов. Мы забывали о голоде, забывали о сво-

ем недовольстве и с криками шли за Тигриной Мордой через перевал, били мясоедов и радовались победе.

Но ничто не менялось от этого в Приморской Долине. Единственно, нанимаясь в батраки к Трехногому, Пустому Животу или Жирному, можно было прокормить себя — ведь незанятой земли, где бы человек мог выращивать для себя кукурузу, больше не оставалось. Часто у Трехногого и его друзей не хватало на всех работы. Тогда люди голодали, голодали их жены, дети и старые матери. Тигринная Морда объявил, что желающие могут стать стражниками, и многие соглашались и после ничем не занимались, кроме как колотили копьями тех, кто работал и ворчал, что приходится кормить столько бездельников.

Когда люди начинали роптать, Гнида пел песни. Он пел о том, что Трехногий, Свиное Рыло и остальные — сильные и мудрые вожди, и потому все принадлежит им. Мы должны гордиться ими, говорилось в песне, и благодарить судьбу. Не будь их, мы погибли бы от собственного ничтожества и от руки мясоедов. Поэтому мы должны быть счастливы, отдавая все, что они пожелают. Жирный, Свиное Рыло и Тигринная Морда довольно кивали головой.

«Тогда я тоже буду сильным», — заявил однажды Длиннозубый.

Он собрал кукурузы, наварил огненного напитка и начал продавать его за нитки денег. Кривой стал кричать, что у Длиннозубого нет на это права. А тот сказал, что он тоже сильный, и пообещал разможжить Кривому голову, если он поднимет шум. Кривой испугался и побежал к Трехногому и Свиному Рылу. Потом втроем они пошли к Собачьему Клыку. Тот призвал к себе Морского Льва, а Морской Лев отправил гонца к Тигриной Морде. Тигринная Морда послал стражников, и те сожгли дом Длиннозубого вместе с огненным напитком, который он наварил. Жирный сказал, что это справедливо, а Гнида пел новую песню о том, что следует блюсти закон, что Приморская Долина — самое прекрасное место на свете и каждый, кто любил ее, должен идти уничтожать злых мясоедов. У нас в сердце слова вспыхивало пламя, и мы забывали свой гнев.

Странные дела творились в Долине. Когда у Пустого Живота случался хороший улов и приходилось за небольшие деньги отдавать много рыбы, он бросал ее обратно в море, чтобы за оставшуюся часть получить больше денег. Иногда Трехногий даже не заседал свои огромные поля, чтобы выручить за кукурузу побольше. Женщины делали много-много пластинок из раковин, потому что требовалась уйма денег, чтобы купить что-нибудь. Тогда Собачий Клык запретил изготавливать пластинки. Женщины остались без работы, их стали нанимать на место мужчин. Я вот, помню, ловил рыбу вершей и получал нитку денег каждые пять дней. Пришла сестра, ей стали давать нитку за десять дней. Труд женщины обходился дешевле, да и еды было требовалось меньше. «А мужчины должны поступать в стражники», — заявил Тигринная Морда. Я-то не мог стать стражником: с детства прихрамывал на одну ногу, и начальник не взял бы меня. Много было таких, как я. Мы, убогие, могли только клянчить работу или ходить за детишками, пока женщины были заняты.

Желтоголовый тоже захотел есть и обжарил на угольях кусок медвежатины.

— Почему же вы не восстали, не перебили их: Трехногого, Свиное Рыло, Жирного и всех остальных? — удивленно спросил Боящийся Темноты. — Тогда у вас была бы пища.

— Мы не понимали этого, — отвечал Длиннобородый. — Забот всяких по горло, да потом эти стражники с копьями, и болтовня Жирного насчет бога, и Гнида со своими песнями. А когда кто-нибудь начинал задумываться и делиться мыслями с другими, его забирали стражники Тигриной Морды, привязывали к скале у самой воды, и он погибал во время прилива.

Непонятная это штука — деньги! Точно те песни, что пел Гнида. Чем больше их, тем, казалось, лучше, а выходило наоборот. Мы долго не могли взять в толк, в чем тут дело. А Собачий Клык — так тот начал копить деньги. Он собирал их в груды в особом доме, и стражники охраняли этот дом деном и ночью. И чем больше там набиралось денег, тем они становились дороже, и приходилось дольше работать за нитку пластинок. Да еще все время говорили о войне с мясоедами, и Собачий Клык с Тигриной Мордой набивали свои хижины зерном, вяленой рыбой, копченой козлятиной и сыром. Столько всяких запасов понаделали, а людям в горах не хватало еды. И что вы думаете? Как только люди начинали громко роптать, Гнида затягивал новую песню, Жирный говорил, что бог повелел уничтожить мясоедов, а Тигриная Морда снова вел нас через перевал убивать и умирать. Я не годился в воины, которые толстели, валяясь на солнце, но, когда объявляли войну, Тигриная Морда брал меня вместе с остальными. Мы сражались до тех пор, пока не выходили запасы еды. Тогда мы возвращались и принимались снова работать и заготавливать пищу.

— Какие-то ненормальные вы были! — изрек Быстроногий Олень.

— И вправду ненормальные, — согласился Длиннобородый. — Мы ничего не понимали, ровным счетом ничего. Раздробленный Нос твердил, что все устроено несправедливо и плохо. Верно, мы стали сильными лишь тогда, когда соединили силы, говорил он. Справедливо было и то, что в племени стали лишать силы тех, кто обижал и задирал других, кто отнимал у братьев жен и убивал соседей. Но теперь племя не набирает силы, а слабеет, говорил он, потому что появились люди с иной силой, они вредят племени. Это Трехногий, за которым сила земли, это Пустой Живот, за которым сила рыболовной верши. Свиное Рыло, за которым сила козьего мяса. Надо лишить их злой силы, говорил Раздробленный Нос, надо заставить таких людей работать и установить: кто не работает, тот не ест.

А Гнида уже пел о таких, как Раздробленный Нос: они, дескать, тянут назад, жить на деревьях.

Нет, отвечал Раздробленный Нос, нет, он не тянет назад, он хочет идти вперед. Мы стали сильными тогда, когда соединили свои силы. Если рыбоеды соединят свою силу с силой мясоедов, не будет ни сражений, ни воинов, ни стражей, все станут трудиться, и будет так много еды, что каждому придется работать не больше двух часов в день.

Но Гнида в песнях своих твердил, что Раздробленный Нос — лентяй. Он сочинил какую-то коварную «Песнь о пчелах», и те, кто слушал ее, теряли рассудок, как от крепкого огненного напитка. В песне рассказывалось о трудолюбивом пчелином рое и о разбойной осе, которая таскала мед из сот. Оса была ленивая, она жужжала, что работать ни к чему и выгоднее подружиться с медведями, ибо они добрые и не таскают мед. Хотя Гнида говорил обиняками, все понимали, что пчелиный рой — это наше племя в Приморской Долине, медведи — мясоеды, а ленивая оса — Раздробленный Нос. Гнида пел, что пчелы послушались осу, и рой начал погибать, и тут люди недовольно заворчали, у них сжимались кулаки. А когда он запел про то, как пчелы поднялись и зажалили осу до смерти, люди набрали камней и принялись забрасывать ими врага. Раздробленный Нос упал, а они бросали и бросали, пока не завалили его грудой камней. И среди тех, кто бросал тогда камни, были самые что ни на есть бедняки, которые тяжело трудились, но никогда не ели досыта.

После смерти Раздробленного Носа нашелся лишь один, кто не боялся встать и высказать то, что он думает. То был Волосатый. «Куда девалась сила сильных? — вопрошал он. — Мы сильные, вместе мы сильнее Собачьего Клыка, Тигриной Морды, Трехногого, Свиного Рыла и остальных, которые не работают, а жрут и наносят нам урон своей злой силой. Рабы не бывают сильными. Если бы тот, кто первым высек огонь, захотел воспользоваться своей силой, мы стали бы его рабами, как сегодня мы рабы Пустого Живота, который придумал вершу, и людей, которые придумали, как возделывать землю, разводить коз и варить огненный напиток. Когда-то мы жили на деревьях, братья мои, и на каждом шагу нас подстерегали опасности. Потом мы перестали драться друг с другом, потому что соединили свои силы. Так зачем нам сражаться с мясоедами? Не лучше ли нам соединить наши силы? Тогда мы будем поистине сильными. Будем действовать сообща, рыбоеды и мясоеды, будем вместе уничтожать хищников, разводить на горных склонах коз, выращивать в долинах кукурузу и корнеплоды. Мы будем такими сильными, что хищники убегут и погибнут. И не будет нам преград, ибо сила каждого превратится в силу людей на земле».

Так говорил Волосатый, но они убили его, объявив, что он сумасшедший и тянет нас назад, жить на деревьях. Почему? Всякий раз, когда кто-нибудь хотел идти вперед, те, что топтались на месте, кричали: он тянет назад, уничтожить его! И бедняки тоже забрасывали такого камнями, потому что были глупы. Мы все были глупы, кроме тех, кто не работал и жирел. О, они знали свое дело! Глупцы назывались мудрыми, а мудрых забрасывали камнями. Тот, кто работал, не ел вдоволь, а кто не работал, обжирался.

Племя теряло былую силу. Дети рождались большими и хилыми. Мы мало ели, среди нас начались болезни, и люди гибли, как мухи. Вот тогда-то и нагрянули мясоеды. Мы слишком часто ходили на них войной, теперь они пришли отплатить нам кровью за кровь. Племя было слабое, мы не смогли удержать стену. Мясоеды перебили почти всех, кроме нескольких женщин, которых увели с собой за

перевал. Гниде и мне удалось спастись. Я спрятался в глухой чащобе, охотился и не голодал. Потом я выкрал себе жену у мясоедов, и мы поселились в пещере на вершине горы, где нас не могли найти. У нас родилось три сына, и, когда они подросли, они, в свою очередь, выкрали жен у мясоедов. Ну, а остальное вам известно, ибо разве вы не сыновья моих сыновей?

— А где же Гнида? — спросил Быстроногий Олень. — Что случилось с ним?

— Он неплохо устроился: пошел к мясоедам и сделался бардом тамошнего вождя. Теперь он глубокий старик, но песни у него старые, те же, что он пел прежде. Когда человек хочет идти вперед, Гнида поет, что тот тянет назад, жить на деревьях.

Рассказчик снова вытащил из туши кусок сала и принялся жевать его беззубыми деснами.

— Настанет время, — сказал он, вытирая пальцы о бедра, — когда глупцы сгинут, а остальные пойдут вперед. Они соединят свои силы и будут сильными из сильных. Никто не будет воевать друг с другом. Люди забудут о войнах и сражениях на стенах. Они уничтожат хищников. И на склонах холмов, как предвещал Волосатый, будут пастись стада овец, а в горных долинах начнут выращивать кукурузу и корнеплоды. Все люди будут братьями, и не останется лежебок, которых нужно кормить. Такое время придет тогда, когда сгинут глупцы и поэты, которые сочиняют «Песни пчел». Ибо мы люди, а не пчелы,

## МЕКСИКАНЕЦ

### I

Никто не знал его прошлого, а люди из Хунты<sup>1</sup> и подавно. Он был их «маленькой загадкой», их «великим патриотом» и по-своему работал для грядущей мексиканской революции не менее рьяно, чем они. Признано это было не сразу, ибо в Хунте его не любили. В день, когда он впервые появился в их людном помещении, все заподозрили в нем шпиона — одного из платных агентов Диаса. Ведь сколько товарищей было рассеяно по гражданским и военным тюрьмам Соединенных Штатов! Некоторые из них были закованы в кандалы, но и закованными их переправляли через границу, выстраивали у стены и расстреливали.

На первый взгляд мальчик производил неблагоприятное впечатление. Это был действительно мальчик, лет восемнадцати, не больше, и не слишком рослый для своего возраста. Он объявил, что его зовут Фелипе Ривера и что он хочет работать для революции. Вот и все — ни слова больше, никаких дальнейших разъяснений. Он стоял и ждал. На губах его не было улыбки, в глазах — привета. Рослый, стремительный Паулино Вэра внутренне содрогнулся. Этот мальчик показался ему замкнутым, мрачным. Что-то ядовитое, змеиное таилось в

<sup>1</sup> Хунта (исп.) — комитет, общественно-политическая организация.

его черных глазах. В них горел холодный огонь, громадная, сосредоточенная злоба. Мальчик перевел взор с революционеров на пишущую машинку, на которой деловито отстукивала маленькая миссис Сэтби. Его глаза на мгновение остановились на ней, она поймала этот взгляд и тоже почувствовала безыменное нечто, заставившее ее прервать свое занятие. Ей пришлось перечитать письмо, которое она печатала, чтобы снова войти в ритм работы.

Паулино Вэра вопросительно взглянул на Ареллано и Рамоса, которые, в свою очередь, вопросительно взглянули на него и затем друг на друга. Их лица выражали нерешительность и сомнение. Этот худенький мальчик был Неизвестностью, и Неизвестностью, полной угрозы. Он был непостижимой загадкой для всех этих революционеров, чья свирепая ненависть к Диасу и его тираннии была в конце концов только чувством честных патриотов. Здесь крылось нечто другое, что — они не знали. Но Вэра, самый импульсивный и решительный из всех, прервал молчание.

— Отлично,— холодно произнес он,— ты сказал, что хочешь работать для революции. Сними куртку. Повесь ее вон там. Пойдем, я покажу тебе, где ведро и тряпка. Видишь, пол у нас грязный. Ты начнешь с того, что хорошенько его вымоешь, и в других комнатах тоже. Плевательницы надо вычистить. Потом займешься окнами.

— Это для революции? — спросил мальчик.

— Да, для революции,— отвечал Паулино.

Ривера с холодной подозрительностью посмотрел на них всех и стал снимать куртку.

— Хорошо,— сказал он.

И ничего больше. День за днем он являлся на работу — подметал, скреб, чистил. Он выгребал золу из печей, приносил уголь и растопку, разводил огонь раньше, чем самый усердный из них усаживался за свою конторку.

— Можно мне переночевать здесь? — спросил он однажды.

Ага! Вот они и обнаружились — когти Диаса. Ночевать в помещении Хунты — значит найти доступ к ее тайнам, к спискам имен, к адресам товарищей в Мексике. Просьбу отклонили, и Ривера никогда больше не возобновлял ее. Где он спал, они не знали; не знали также, когда и где он ел. Однажды Ареллано предложил ему несколько долларов. Ривера покачал головой в знак отказа. Когда Вэра вмешался и стал уговаривать его, он сказал:

— Я работаю для революции.

Нужно много денег для того, чтобы в наше время поднять революцию, и Хунта постоянно находилась в стесненных обстоятельствах. Члены Хунты голодали, но не жалели сил для дела; самый долгий день был для них недостаточно долг, и все же временами казалось, что быть или не быть революции — вопрос нескольких долларов. Однажды, когда плата за помещение впервые не была внесена в течение двух месяцев и хозяин угрожал выселением, некто иной, как Фелипе Ривера, поломойка в жалкой, дешевой, изношенной одежде положил шестьдесят золотых долларов на конторку Мэй Сэтби. Это стало повторяться и впредь. Триста писем, отпечатанных на машинке



(воззвания о помощи, призывы к рабочим организациям, возражения на газетные статьи, неправильно освещающие события, протесты против судебного произвола и преследований революционеров в Соединенных Штатах), лежали неотосланные, в ожидании марок. Исчезли часы Вэры, старомодные золотые часы с репетиром, принадлежащие еще его отцу. Исчезло также и простенькое золотое колечко с руки Мэй Сэтби. Положение было отчаянное. Рамос и Ареллано безнадежно теребили свои длинные усы. Письма должны быть отправлены, а почта не дает марок в кредит. Тогда Ривера надел шляпу и вышел. Вернувшись, он положил на конторку Мэй Сэтби тысячу двухцентовых марок.

— Уж не проклятое ли это золото Диаса? — сказал Вэра товарищам.

Они подняли брови и ничего не ответили. И Фелипе Ривера, мывший пол для революции, по мере надобности продолжал выкладывать золото и серебро на нужды Хунты.

И все же они не могли заставить себя полюбить его. Они не знали этого мальчика. Повадки у него были совсем иные, чем у них. Он не пускался в откровенности. Отклонял все попытки вызвать его на разговор, и у них не хватало смелости расспрашивать его.

— Возможно, великий и одинокий дух... не знаю, не знаю! — Ареллано беспомощно развел руками.

— В нем есть что-то нечеловеческое, — заметил Рамос.

— В его душе все притупилось, — сказала Мэй Сэтби. — Свет и смех словно выжжены в ней. Он мертвец, и вместе с тем в нем чувствуешь какую-то страшную жизненную силу.

— Ривера прошел через ад, — сказал Паулино. — Человек, не прошедший через ад, не может быть таким, а ведь он еще мальчик.

И все же они не могли его полюбить. Он никогда не разговаривал, никогда ни о чем не расспрашивал, не высказывал своих мнений. Он мог стоять не шевелясь — неодушевленный предмет, если не считать глаз, горевших холодным огнем, — покуда споры о революции становились все громче и горячее. Его глаза вонзались в лица говорящих, как раскаленные сверла, они смущали их и тревожили.

— Он не шпион, — заявил Вэра, обращаясь к Мэй Сэтби. — Он патриот, помяните мое слово! Лучший патриот из всех нас! Я чувствую это сердцем и головой. И все же я его совсем не знаю.

— У него дурной характер, — сказала Мэй Сэтби.

— Да, — ответил Вэра и вздрогнул. — Он посмотрел на меня сегодня. Эти глаза не могут любить, они угрожают; они злые, как у тигра. Я знаю: измени я делу, он убьет меня. У него нет сердца. Он беспощаден, как сталь, жесток и холоден, как мороз. Он словно лунный свет в зимнюю ночь, когда человек замерзает на одинокой горной вершине. Я не боюсь Диаса со всеми его убийцами, но этого мальчика я боюсь. Я правду говорю, боюсь. Он — дыхание смерти.

И, однако, Вэра, а никто другой, убедил товарищей дать ответственное поручение Ривере. Связь между Лос-Анжелосом и Шижней

Калифорнией была прервана. Трое товарищей сами вырыли себе могилы, и на краю их были расстреляны. Двое других в Лос-Анжелосе стали узниками Соединенных Штатов. Хуан Альварado, командир федеральных войск, оказался негодяем. Он сумел разрушить все их планы. Они потеряли связь как с давнишними революционерами в Нижней Калифорнии, так и с новичками.

Молодой Ривера получил надлежащие инструкции и отбыл на юг. Когда он вернулся, связь была восстановлена, а Хуан Альварado был мертв: его нашли в постели, с ножом, по рукоять ушедшим в грудь. Это превышало полномочия Риверы, но в Хунте имелись точные сведения о всех его передвижениях. Его ни о чем не стали спрашивать. Он ничего не рассказывал. Товарищи переглянулись между собой и все поняли.

— Я говорил вам,— сказал Вэра.— Больше чем кого-либо Диасу приходится опасаться этого юноши. Он неумолим. Он — карающая десница.

Дурной характер Риверы, заподозренный Мэй Сэтби и затем признанный всеми, подтверждался наглядными, чисто физическими доказательствами. Теперь Ривера нередко приходил с рассеченной губой, распухшим ухом, с синяком на скуле. Ясно было, что он ввязывается в драки там — во внешнем мире, где он ест и спит, зарабатывает деньги и бродит по путям, им неизвестным. Со временем Ривера научился набирать маленький революционный листок, который Хунта выпускала еженедельно. Случалось, однако, что он бывал не в состоянии набирать: то большие пальцы у него были повреждены и плохо двигались, то суставы были разбиты в кровь, то одна рука беспомощно болталась вдоль тела и лицо искажала мучительная боль.

— Бродяга,— говорил Ареллано.

— Завсегдатай злых мест,— говорил Рамос.

— Но откуда у него деньги? — спрашивал Вэра. — Сегодня я узнал, что он оплатил счет за бумагу — сто сорок долларов.

— Это результат его отлучек,— заметила Мэй Сэтби. — Он никогда не рассказывает о них.

— Надо его выследить,— предложил Рамос.

— Не хотел бы я быть тем, кто за ним шпионит,— сказал Вэра. — Думаю, что вы больше никогда не увидите бы меня, разве только на моих похоронах. Он предаи какой-то неистовой страсти. Между собой и этой страстью он не позволит стать даже богу.

— Перед ним я кажусь себе ребенком,— признался Рамос.

— Я чувствую в нем первобытную силу. Это дикий волк, гремучая змея, приготовившаяся к нападению, ядовитая сколопендра! — сказал Ареллано.

— Он сама революция, ее дух, ее пламя,— подхватил Вэра,— он воплощение беспощадной, неслышно разящей местности. Он ангел смерти, неусыпно бодрствующий в ночной тишине.

— Я готова плакать, когда думаю о нем,— сказала Мэй Сэтби. — У него нет друзей. Он всех ненавидит. Нас он терпит лишь потому,

что мы — путь к осуществлению его желаний. Он одинок, слишком одинок... — Голос ее прервался сдавленным всхлипыванием, и глаза затуманились.

Времяпровождение Риверы и вправду было таинственно. Случалось, что его не видели в течение недели. Однажды он отсутствовал месяц. Это неизменно кончалось тем, что он возвращался и, не пускаясь ни в какие объяснения, клал золотые монеты на конторку Мэй Сэтби. Потом опять отдавал Хунте все свое время — дни, недели. И снова, через неопределенные промежутки, исчезал на весь день, заходя в помещение Хунты только рано утром и поздно вечером. Однажды Ареллано застал его в полночь за набором; пальцы у него были распухшие, рассеченная губа еще кровоточила.

## II

Решительный час приближался. Так или иначе, но революция зависела от Хунты, а Хунта находилась в крайне стесненных обстоятельствах. Нужда в деньгах ощущалась острее, чем когда-либо, а добывать их стало еще трудней.

Патриоты отдали уже все свои гроши и больше дать не могли. Сезонные рабочие — беглые мексиканские пеоны — жертвовали Хунте половину своего скудного заработка. Но нужно было куда больше. Многолетний тяжкий труд, подпольная подрывная работа готовы были принести плоды. Время пришло. Революция была на чаше весов. Еще один толчок, последнее героическое усилие, и стрелка этих весов покажет победу. Хунта знала свою Мексику. Однажды вспыхнув, революция уже сама о себе позаботится. Вся политическая машина Диаса рассыплется, как картонный домик. Граница готова к восстанию. Некый янки с сотней товарищей из организации «Индустриальные рабочие мира» только и ждет приказа перейти ее и начать битву за Нижнюю Калифорнию. Но он нуждается в оружии. В оружии нуждались все — социалисты, анархисты, недовольные члены профсоюзов, мексиканские изгнанники, пеоны, бежавшие от рабства, разгромленные горняки Кер д'Ален и Колорадо, вырвавшиеся из полицейских застенков и жаждавшие только одного — как можно яростнее сражаться, и, наконец, просто авантюристы, солдаты фортуны, бандиты — словом, все отщепенцы, все отбросы дьявольски сложного современного мира. И Хунта держала с ними связь. Винтовок и патронов, патронов и винтовок! — этот несмолкаемый, непрекращающийся вопль несся по всей стране.

Только перекинуть эту разношерстную, горящую мстостью толпу через границу — и революция вспыхнет. Таможня, северные порты Мексики будут захвачены. Диас не сможет сопротивляться. Он не осмелится бросить свои основные силы против них, потому что ему нужно удерживать юг. Но пламя перекинется и на юг. Народ восстанет. Оборона городов будет сломлена. Штат за штатом начнет переходить в их руки, и наконец победоносные армии революции со всех сторон окружают город Мехико, последний оплот Диаса.

Но как достать денег? У них были люди, нетерпеливые и упорные, которые сумеют применить оружие. Они знали торговцев, которые продадут и доставят его. Но долгая подготовка к революции истощила Хунту. Последний доллар был израсходован, последний источник вычерпан до дна, последний изголодавшийся патриот выжат до отказа, а великое дело по-прежнему колебалось на весах. Винтовок и патронов! Нищие батальоны должны получить вооружение. Но каким образом? Рамос оплакивал свои конфискованные поместья. Ареллано горько сетовал на свою расточительность в юные годы. Мэй Сэтби размышляла, как бы все сложилось, если б люди Хунты в свое время были экономнее.

— Подумать, что свобода Мексики зависит от нескольких несчастных тысяч долларов! — воскликнул Паулино Вэра.

Отчаяние было написано на всех лицах. Последняя их надежда, новообращенный Хосе Амарильо, обещавший дать деньги, был арестован на своей гаспенде в Чиуауа и расстрелян у стен собственной конюшни. Весть об этом только что дошла до них.

Ривера, на коленях скребиший пол, поднял глаза. Щетка застыла в его обнаженных руках, залитых грязной мыльной водой.

— Пять тысяч помогут делу? — спросил он.

На всех лицах изобразилось изумление. Вэра кивнул и с трудом перевел дух. Говорить он не мог, но в этот миг в нем вспыхнула надежда.

— Так заказывайте винтовки, — сказал Ривера. Затем последовала самая длинная фраза, какую когда-либо от него слышали: — Время дорого. Через три недели я принесу вам пять тысяч. Это будет хорошо. Станет теплее, и воевать будет легче. Больше я ничего сделать не могу.

Вэра пытался подавить вспыхнувшую в нем надежду. Все это было так неправдоподобно. Слишком много заветных чаяний разлетелось в прах с тех пор, как он начал революционную игру. Он верил этому обтрепанному мальчишке, мившему полы для революции, и в то же время не смел верить.

— Ты сошел с ума! — сказал он.

— Через три недели, — отвечал Ривера. — Заказывайте винтовки, он всгал, опустил засученные рукава и надел куртку.

— Заказывайте винтовки, — повторил он. — Я ухожу.

### III

После спешки, суматохи, бесконечных телефонных разговоров и перебранки в конторе Келли происходило почное совещание. Дел у Келли было выше головы; к тому же ему не повезло. Три недели назад он привез из Нью-Йорка Дэниел Уорда, чтобы устроить ему встречу с Биллом Карти, но Карти вот уже два дня как лежит со сломанной рукой, что тщательно скрывается от спортивных репортеров. Заменить его некем. Келли засыпал телеграммами легковесов Запада,

но все они были связаны выступлениями и контрактами. А сейчас опять вдруг забрезжила надежда, хотя и слабая.

— Ну, ты, видно, не робкого десятка,— едва взглянув на Риверу, сказал Келли.

Злоба и ненависть горели в глазах Риверы, но лицо его оставалось бесстрастным.

— Я побью Уорда. — Это было все, что он сказал.

— Откуда ты знаешь? Видел ты когда-нибудь, как он дерется?

Ривера молчал.

— Да он положит тебя одной рукой, с закрытыми глазами!

Ривера пожал плечами.

— Что, у тебя язык присох, что ли? — пробурчал директор конторы.

— Я побью его.

— А ты когда-нибудь с кем-нибудь дрался? — осведомился Майкл Келли.

Майкл, брат директора, держал тотализатор в «Иеллоустоуне» и зарабатывал немало денег на боксерских встречах.

Ривера в ответ удостоил его только злобным взглядом.

Секретарь, молодой человек спортивного вида, громко фыркнул.

— Ладно, ты знаешь Робертса? — Келли первый нарушил неприязненное молчание. — Я за ним послал. Он сейчас придет. Садись и жди, хотя по виду у тебя нет никаких шансов. Я не могу надуть публику. Ведь первые ряды идут по пятнадцати долларов.

Появился Робертс, явно подвыпивший. Это был высокий, тощий человек с несколько развинченной походкой и медлительной речью.

Келли без обиняков приступил к делу.

— Слушайте, Робертс, вы хвастались, что открыли этого маленького мексиканца. Вам известно, что Карти сломал руку? Так вот, этот мексиканский щенок нахально утверждает, что сумеет заменить Карти. Что вы на это скажете?

— Все в порядке, Келли,— последовал неторопливый ответ. — Он может драться.

— Вы, пожалуй, скажете еще, что он побьет Уорда? — съязвил Келли.

Робертс немного поразмыслил.

— Нет, этого я не скажу. Уорд — классный боец, король ринга. Но в два счета расправиться с Риверой он не сможет. Я Риверу знаю. Это человек без нервов, и он одинаково хорошо работает обеими руками. Он может послать вас на пол с любой позиции.

— Все это пустяки. Важно, сможет ли он угодить публике? Вы растили и тренировали боксеров всю свою жизнь. Я преклоняюсь перед вашим суждением. Но публика за свои деньги хочет получить удовольствие. Сумеет он ей его доставить?

— Безусловно, и вдобавок здорово измотает Уорда. Вы не знаете этого мальчика, а я знаю. Он — мое открытие. Человек без нервов! Суший дьявол! Уорд еще ахнет, познакомившись с этим самородком,

а заодно ахнете и вы все. Я не утверждаю, что он побьет Уорда, но он вам такое покажет! Это восходящая звезда!

— Отлично. — Келли обратился к своему секретарю: — Позвоните Уорду. Я его предупредил, что если найду что-нибудь подходящее, то позову его. Он сейчас недалеко, в «Иеллоустоуне»; шеголяет там перед публикой и зарабатывает себе популярность. — Келли повернулся к тренеру: — Хотите выпить?

Робертс отхлебнул виски и разговорился.

— Я еще не рассказывал, как я открыл этого мальчика. Года два назад он появился в тренировочных залах. Я готовил Прэйна к встрече с Дилэни. Прэйн — человек злой. Снисхождения ждать от него не приходится. Он изрядно отколошматил своего партнера, и я никак не мог найти человека, который бы по доброй воле согласился работать с ним. Положение было отчаянное. И вдруг попался мне на глаза этот голодный мексиканский парнишка, который вертелся у всех под ногами. Я зацапал его, надел ему перчатки и пустил в дело. Выносливый — как дубленая кожа, но сил маловато. И ни малейшего понятия о правилах бокса. Прэйн сделал из него котлету. Но он хоть и чуть живой, а продержался два раунда, прежде чем потерять сознание. Голодный — вот и все. Изуродовали его так, что мать родная не узнала бы. Я дал ему полдоллара и накормил сытным обедом. Надо было видеть, как он жрал! Оказывается, у него два дня во рту маковой росники не было. Ну, думаю, теперь он больше носа не покажет. Не тут-то было. На следующий день явился — весь в синяках, но полный решимости еще раз заработать полдоллара и хороший обед. Со временем он здорово окреп. Прирожденный боец и вынослив невероятно! У него нет сердца. Это кусок льда. Сколько я помню этого мальчишку, он ни разу не произнес десяти слов подряд.

— Я его знаю, — заметил секретарь. — Он немало для вас поботал.

— Все наши знаменитости пробовали себя на нем, — подтвердил Робертс. — И он все у них перенял. Я знаю, что многих из них он мог бы побить. Но сердце его не лежит к боксу. По-моему, он никогда не любил нашу работу. Так мне кажется.

— Последние месяцы он выступал по разным мелким клубам, — сказал Келли.

— Да. Не знаю, что его заставило. Или, может быть, вдруг ретивое заговорило? Он многих за это время побил. Скорей всего ему нужны деньги; и он неплохо подзаработал, хотя по его одежде это и незаметно. Страшная личность! Никто не знает, чем он занимается, где проводит время. Даже когда он при деле, и то — кончит работу и сразу исчезает. Временами пропадает по целым неделям. Советов он не слушает. Тот, кто станет его менеджером, наживет капитал; да только с ним не столкнешься. Вы увидите, этот мальчишка будет домогаться всей суммой, когда вы заключите с ним договор.

В эту минуту прибыл Дэни Уорд. Это было торжественно обстав-

ленное появление. В сопровождении менеджера и тренера он ворвался, как всепобеждающий вихрь добродушия и веселья. Приветствия, шутки, остроты расточались им направо и налево, улыбка находилась для каждого. Такова уж была его манера — правда, не совсем искренняя. Уорд был превосходный актер и добродушие считал наилучшим приемом в игре преуспеяния. По существу это был осмотрительный, хладнокровный боксер и бизнесмен. Остальное было маской. Те, кто знал его или имел с ним дело, говорили, что в денежных вопросах этот малый — жох! Он самолично участвовал в обсуждении всех дел, и поговаривали, что его менеджер не более как пешка.

Ривера был иного склада. В жилах его, кроме испанской, текла еще и индейская кровь; он сидел, забившись в угол, молчаливый, неподвижный, и только его черные глаза, перебегая с одного лица на другое, видели решительно все.

— Так вот он! — сказал Дэнни, окидывая испытующим взглядом своего предполагаемого противника. — Добрый день, старина!

Глаза Риверы пылали злобой, и на приветствие Дэнни он даже не ответил. Он терпеть не мог всех гринго, но этого ненавидел лютой ненавистью.

— Вот это да! — шутливо обратился Дэнни к менеджеру. — Уж не думаете ли вы, что я буду драться с глухонемым? — Когда смех умолк, он сострил еще раз: — Видно, Лос-Анжелос здорово обеднел, если это — лучшее, что вы могли откопать. Из какого детского сада вы его взяли?

— Он славный малый, Дэнни, верь мне! — примирительно сказал Робертс. — И с ним не так легко справиться, как ты думаешь.

— Кроме того, половина билетов уже распродана, — жалобно протянул Келли. — Придется тебе пойти на это, Дэнни. Ничего лучшего мы сыскать не могли.

Дэнни еще раз окинул Риверу пренебрежительным взглядом и вздохнул.

— Придется мне с ним полегче. А то как бы сразу дух не испустил.

Робертс фыркнул.

— Потихе, потихе, — осадил Дэнни менеджер. — С неизвестным противником всегда можно нарваться на неприятность.

— Ладно, ладно, я это учту, — улыбнулся Дэнни. — Я готов сначала понынчиться с ним для удовольствия почтеннейшей публики. Как насчет пятнадцати раундов, Келли?.. А потом устроить ему нокаут!

— Идет, — последовал ответ. — Только чтобы публика приняла это за чистую монету.

— Тогда перейдем к делу. — Дэнни помолчал, мысленно производя подсчет. — Разумеется, шестьдесят пять процентов валового сбора, как и с Карти. Но делиться будем по-другому. Восемьдесят процентов меня устроят. — Он обратился к менеджеру: — Подходяще?

Тот одобрительно кивнул.

— Ты понял? — обратился Келли к Ривере.

Ривера покачал головой.

— Так вот слушай, — сказал Келли. — Общая сумма составит шестьдесят пять процентов со сбора. Ты начинающий, и никто тебя не знает. С Дэнни будете делиться так: восемьдесят процентов ему, двадцать тебе. Это справедливо. Верно ведь, Робертс?

— Вполне справедливо, Ривера, — подтвердил Робертс. — Ты же еще не составил себе имени.

— Сколько это шестьдесят пять процентов со сбора? — осведомился Ривера.

— Может, пять тысяч, а может — даже и все восемь, — поспешил пояснить Дэнни. — Что-нибудь в этом роде. На твою долю придется от тысячи до тысячи шестисот долларов. Очень недурно за то, что тебя побьет боксер с моей репутацией. Что скажешь на это?

Тогда Ривера их ошарашил.

— Победитель получит все, — решительно сказал он.

Воцарилась мертвая тишина.

— Вот это да! — проговорил наконец менеджер Уорда.

Дэнни покачал головой.

— Я стреляный воробей, — сказал он. — Я не подозреваю судью или кого-нибудь из присутствующих. Я ничего не говорю о букмекерах и о всяких надувательствах, что тоже иногда случается. Одно могу сказать: меня это не устраивает. Я играю наверняка. А кто знает — вдруг я сломаю руку, а? Или кто-нибудь опонт меня? — Он величественно вскинул голову. — Победитель или побежденный — я получаю восемьдесят процентов! Ваше мнение, мексиканец?

Ривера покачал головой.

Дэнни взорвало, и он заговорил уже по-другому:

— Ладно же, мексиканская собака! Теперь-то уж мне захотелось расколотить тебе башку.

Робертс медленно поднялся и стал между ними.

— Победитель получит все, — угрюмо повторил Ривера.

— Почему ты на этом настаиваешь? — спросил Дэнни.

— Я побью вас.

Дэнни начал было снимать пальто. Его менеджер знал, что это только комедия. Пальто почему-то не снималось, и Дэнни мплостиво разрешил присутствующим успокоить себя. Все были на его стороне. Ривера остался в полном одиночестве.

— Послушай, дуралей, — начал доказывать Келли. — Кто ты? Никто! Мы знаем, что в последнее время ты побил нескольких местных боксеров — и все. А Дэнни — классный боец. В следующем выступлении он будет оспаривать звание чемпиона. Тебя публика не знает. За пределами Лос-Анжелоса никто и не слыхал о тебе.

— Еще услышат, — пожав плечами, отвечал Ривера, — после этой встречи.

— Неужели ты хоть на секунду можешь вообразить, что справишься со мной? — не выдержав, заорал Дэнни.



Ривера кивнул.

— Да ты рассуди,— убеждал Келли. — Подумай, какая это для тебя реклама!

— Мне нужны деньги,— отвечал Ривера.

— Ты будешь драться со мной тысячу лет, и то не победишь,— заверил его Дэнни.

— Тогда почему вы не соглашаетесь? — сказал Ривера. — Если деньги сами идут к вам в руки, чего же от них отказываться?

— Хорошо, я согласен! — с внезапной решимостью крикнул Дэнни. — Я тебя до смерти исколочу на ринге, голубчик мой! Нашел с кем шутки шутить! Пишите условия, Келли. Победитель получает всю сумму. Поместите это в газетах. Сообщите также, что здесь дело в личных счетах. Я покажу этому младенцу, где раки зимуют!

Секретарь Келли уже начал писать, когда Дэнни вдруг остановил его.

— Стой! — Он повернулся к Ривере. — Когда взвешиваться?

— Перед выходом,— последовал ответ.

— Ни за что на свете, наглый мальчишка! Если победитель получает все, взвешиваться будем утром, в десять.

— Тогда победитель получит все? — переспросил Ривера.

Дэнни утвердительно кивнул. Вопрос был решен. Он выйдет на ринг в полной форме.

— Взвешиваться здесь, в десять,— продиктовал Ривера.

Перо секретаря снова закрипело.

— Это, значит, лишних пять фунтов,— недовольно заметил Робертс Ривере. — Ты пошел на слишком большую уступку. Продул бой. Дэнни будет силен, как бык. Дурень ты! Он наверняка побьет тебя. Даже малейшего шанса у тебя не осталось.

Вместо ответа Ривера бросил на него холодный, ненавидящий взгляд. Он презирал даже этого гринго, которого считал лучшим из всех.

#### IV

Появление Риверы на ринге осталось почти незамеченным. В знак приветствия раздались только отдельные жидкие хлопки. Публика не верила в него. Он был ягненком, отданным на закланье великому Дэнни. Кроме того, публика была разочарована. Она ждала эффектного боя между Дэнни Уордом и Биллом Карти, а теперь ей пришлось довольствоваться этим жалким маленьким новичком. Неодобрение ее выразилось в том, что пари за Дэнни заключалось два, даже три против одного. А на кого поставлены деньги, тому отдано и сердце публики.

Юный мексиканец сидел в своем углу и ждал. Медленно тянулись минуты. Дэнни заставлял дожидаться себя. Это был старый трюк, по он неизменно действовал на начинающих бойцов. Новичок терял душевное равновесие, сидя вот так, один на один со своим собственным страхом и равнодушной, утопающей в табачном дыму публикой. Но

на этот раз испытанный трюк себя не оправдал. Робертс оказался прав: Ривера не знал страха. Более организованный, более нервный и впечатлительный, чем кто бы то ни было из боксеров, этого чувства он не ведал. Атмосфера заранее предreshенного поражения не влияла на него. Его секундантами были гринго — подонки, грязные отбросы этой кровавой игры, бесчестные и бездарные. И они тоже были уверены, что их сторона обречена на поражение.

— Ну, теперь смотри в оба! — предупредил его Спайдер Хэгерти. Спайдер был главным секундантом. — Старайся продержаться как можно дольше — такова инструкция Келли. Иначе растрезвонят на весь Лос-Анжелос, что это опять фальшивая игра.

Все это не способствовало бодрости духа. Но Ривера ничего не замечал. Он презирал бокс. Это была ненавистная игра ненавистных гринго. Начал он ее в роли снаряда для тренировки только потому, что умирал с голоду. То, что он был словно создан для бокса, ничего для него не значило. Он это занятие ненавидел. До своего появления в Хунте Ривера не выступал за деньги, а потом убедился, что это легкий заработок. Не первый из сынов человеческих, преуспевал он в профессии, им самим презираемой.

Впрочем, Ривера не вдавался в рассуждения. Он твердо знал, что должен выиграть этот бой. Иного выхода не существовало. Тем, кто сидел в этом переполненном зале, в голову не приходило, какие могучие силы стоят за его спиной. Дэнни Уорд дрался за деньги, за легкую жизнь, покупаемую на эти деньги. То же, за что дрался Ривера, пылало в его мозгу, и, пока он ожидал в углу ринга своего хитроумного противника, ослепительные и страшные видения, как наяву, проходили перед его широко открытыми глазами.

Он видел белые стены гидростанции в Рио-Бланко. Видел шесть тысяч рабочих, голодных и изнуренных. Видел ребятшек лет семи-восьми, за десять центов работающих целую смену. Видел мертвенно-бледные лица ходячих трупов — рабочих-красильщиков. Он помнил, что его отец называл эти красильни «камерами самоубийц», — год работы в них означал смерть. Он видел маленькое патно<sup>1</sup> и свою мать, вечно возмущенную со скудным хозяйством и все же находившую время ласкать и любить сына. Видел и отца, могучего, широкоплечего длинноусого человека, который всех любил и чье сердце было так щедро, что избыток этой любви изливался и на мать, и на маленького мучачо<sup>2</sup>, игравшего в углу патно. В те дни его звали не Фелипе Ривера, а Фернандес: он носил фамилию отца и матери. Его имя было Хуан. Впоследствии он переменял и то, и другое. Фамилия Фернандес была слишком ненавистна полицейским префектам и жандармам.

Большой добродушный Хоакин Фернандес! Немалое место занимал он в видениях Риверы. В те времена малыш ничего не понимал, но теперь, оглядываясь назад, юноша понимал все. Он словно опять

<sup>1</sup> Патно (*исп.*) — внутренний дворик.

<sup>2</sup> Мучачо (*исп.*) — мальчик.

видел отца за наборной кассой в маленькой типографии или за письменным столом — выводящим бесконечные, торопливые, неровные строчки. Он опять переживал те таинственные вечера, когда рабочие под покровом тьмы, точно злодеи, сходились к его отцу и вели долгие, нескончаемые беседы, а он, мучачо, без сна лежал в своем уголке.

Откуда-то издалека до него донесся голос Хэгерти:

— Ни в коем случае сразу не ложиться на пол. Такова инструкция. Получай трепку за свои деньги!

Десять минут прошло, а Ривера все еще сидел в своем углу. Дэнни не показывался: видимо, он хотел выжать все, что можно, из своего трюка.

Новые видения пылали перед внутренним взором Риверы. Забастовка, вернее — локаут, потому что рабочие Рио-Бланко помогали своим бастующим братьям в Пуэбло. Голод, хождение в горы за ягодами, кореньями и травами — все они этим питались и мучались резами в желудке. А затем кошмар: пустырь перед лавкой Компании; тысячи голодных рабочих; генерал Росальо Мартинес и солдаты Порфирио Диаса; и винтовки, изрыгающие смерть... Казалось, они никогда не смолкнут, казалось, прегрешения рабочих вечно будут омываться их собственной кровью! И эта ночь! Трупы, целыми возами отправляемые в Вера-Крус на съедение акулам. Сейчас он снова ползает по этим страшным кучам, ищет отца и мать, находит их, растерзанных, изуродованных. Особенно запомнилась ему мать: виднелась только ее голова, тело было погребено под грудой других тел. Снова затрещали винтовки солдат Порфирио Диаса, снова мальчик пригнулся к земле и пополз прочь, точно затравленный горный койот.

Рев, похожий на шум моря, донесся до его слуха, и он увидел Дэнни Уорда, выступающего по центральному проходу со свитой тренеров и секундантов. Публика нествозствовала, приветствуя героя и заведомого победителя. У всех на устах было его имя. Все стояли за него. Даже секунданты Риверы повеселели, когда Дэнни ловко нырнул под канат и вышел на ринг. Улыбка сияла на его лице, а когда Дэнни улыбался, то улыбалась каждая его черточка, даже уголки глаз, даже зрачки. Свет не видывал такого благодушного боксера. Лицо его могло бы служить рекламой, образцом хорошего самочувствия, искреннего веселья. Он знал всех. Он шутил, смеялся, посылал с ринга приветы друзьям. Те, что сидели подальше и не могли выказать ему своего восхищения, громко кричали: «О, о, Дэнни!» Бурные овации продолжались не менее пяти минут.

На Риверу никто не обращал внимания. Его словно и не существовало. Одутловатая физиономия Спайдера Хэгерти склонилась над ним.

— Не поддаваться сразу, — предупредил Спайдер. — Помни инструкцию. Держись до последнего. Не ложиться. Если окажешься на полу, нам велено избить тебя в раздевалке. Понятно? Драться — и точка!

Зал разразился аплодисментами: Дэнни шел по направлению к противнику. Он наклонился, обеими руками схватил его правую руку и сердечно потряс ее. Улыбающееся лицо Дэнни вплотную приблизилось к лицу Риверы. Публика взвыла при этом проявлении истинно спортивного духа: с противником он встретился, как с родным братом. Губы Дэнни шевелились, и публика, истолковывая неслышные ей слова как благожелательное приветствие, снова разразилась восторженными воплями. Только Ривера расслышал сказанное шепотом.

— Ну ты, мексиканский крысенок, — прошипел Дэнни, не переставая улыбаться, — сейчас я вышибу из тебя дух!

Ривера не шевельнулся. Не встал. Его ненависть сосредоточилась во взгляде.

— Встань, собака! — крикнул кто-то с места.

Толпа начала свистеть, осуждая его за неспортивное поведение, но он продолжал сидеть неподвижно. Новый взрыв аплодисментов приветствовал Дэнни, когда тот шел обратно.

Едва Дэнни разделся, послышались восторженные охи и ахи. Тело у него было великолепное — гибкое, дышащее здоровьем и силой. Кожа белая и гладкая, как у женщины. Грация, упругость и мощь были воплощены в нем. Да он и доказал это во множестве боев. Все спортивные журналы пестрели его фотографиями.

Словно стон пронесся по залу, когда Спайдер Хэгерти помог Ривере стащить через голову свитер. Смуглая кожа придавала его телу еще более худосочный вид. Мускулы у него были, но значительно менее эффектные, чем у его противника. Однако публика не разглядела ширины его грудной клетки. Не могла она также угадать, как мгновенно реагирует каждая его мускульная клеточка, не могла угадать неутомимости Риверы, утонченности нервной системы, превращавшей его тело в великолепный боевой механизм. Публика видела только смуглокожего восемнадцатилетнего юношу с еще мальчишеским телом. Другое дело Дэнни! Дэнни было двадцать четыре года, и его тело было телом мужчины. Контраст этот еще больше бросился в глаза, когда они вместе стали посреди ринга, выслушивая последние инструкции судьи.

Ривера заметил Робертса, сидевшего непосредственно за репортерами. Он был пьянее, чем обычно, и речь его соответственно была еще медлительнее.

— Не робей, Ривера, — тянул Робертс. — Он тебя не убьет, запомни это. Первого натиска нечего пугаться. Защищайся, а потом иди на клинч. Он тебя особенно не изувечит. Представь себе, что это тренировочный зал.

Ривера и виду не подал, что расслышал его слова.

— Вот угрюмый чертенок! — пробормотал Робертс, обращаясь к соседу. — Какой был, такой и остался.

Но Ривера уже не смотрел перед собой обычным, исполненным ненависти взглядом. Бесконечные ряды винтовок мерещились ему и ослепляли его. Каждое лицо в зале до самых верхних мест ценою

в доллар превратилось в винтовку. Он видел перед собой мексиканскую границу, бесплодную, выжженную солнцем; вдоль нее двигались оборванные толпы, жаждущие оружия.

Встав, он продолжал ждать в своем углу. Его секунданты уже пролезли под канаты и унесли с собой брезентовый стул. В противоположном углу ринга стоял Дэнни и смотрел на него. Загудел гонг, и бой начался. Публика выла от восторга. Никогда она не видела столь внушительного начала боя. Правильно писали в газетах: тут были личные счеты. Дэнни одним прыжком покрыл три четверти расстояния, отделявшего его от противника, и намерение съесть этого мексиканского мальчишку так и было написано на его лице. Он обрушил на него не один, не два, не десяток, но вихрь ударов, сокрушительных, как ураган. Ривера исчез. Он был погребен под лавиной кулачных ударов, наносимых ему опытным и блестящим мастером со всех углов и со всех позиций. Он был смят, отброшен на канаты; судья разнял бойцов, но Ривера тотчас же был отброшен снова.

Боем это никто бы не назвал. Это было избивание. Любоим зритель, за исключением зрителя боксерских состязаний, выдохся бы в первую минуту. Дэнни, несомненно, показал, на что он способен, и сделал это великолепно. Уверенность публики в исходе состязания, равно как и ее пристрастие к фавориту, была безгранична, она даже не заметила, что мексиканец все еще стоит на ногах. Она позабыла о Ривере. Она едва видела его: так он был заслонен от нее свирепым натиском Дэнни. Прошла минута, другая. В момент, когда бойцы разошлись, публике удалось бросить взгляд на мексиканца. Губа у него была рассечена, из носу лила кровь. Когда он повернулся и вошел в клинч, кровавые полосы — следы канатов — были ясно видны на его спине. Но вот то, что грудь его не волновалась, а глаза горели обычным холодным огнем, — этого публика не заметила. Слишком много будущих претендентов на звание чемпиона практиковали на нем такие сокрушительные удары. Он научился выдерживать их за полдоллара разовых или пятнадцать долларов в неделю, — тяжелая школа, но она пошла ему на пользу.

Затем случилось нечто поразительное. Ураган комбинированных ударов вдруг стих. Ривера один стоял на ринге. Дэнни, грозный Дэнни, лежал на спине! Он не пошатнулся, не опустился на пол медленно и постепенно, но грохнулся сразу. Короткий боковой удар левого кулака Риверы поразил его височно, как смерть. Судья оттолкнул Риверу и теперь отсчитывал секунды, стоя над павшим гладнатором.

Тело Дэнни затрепетало, когда сознание понемногу стало возвращаться к нему. В обычае завсегдагатаев боксерских состязаний приветствовать удачный нокаут громкими изъявлениями восторга. Но сейчас они молчали. Все произошло слишком неожиданно. В напряженном молчании прислушивался зал к счету секунд, как вдруг торжествующий голос Роберта прорезал тишину:

— Я же говорил вам, что он одинаково владеет обеими руками.

На пятой секунде Дэнни перевернулся лицом вниз; когда судья досчитал до семи, он уже отдыхал, стоя на одном колене, готовый подняться при счете девять, раньше, чем будет произнесено десять. Если при счете десять колено Дэнни все еще будет касаться пола, его должны признать побежденным и выбывшим из боя. В момент, когда колено отрывается от пола, он считается «на ногах»; и в этот момент Ривера уже вправе снова положить его. Ривера не хотел рисковать. Он приготовился ударить в ту секунду, когда колено Дэнни отделится от пола. Он обошел противника, но судья втиснулся между ними, и Ривера знал, что секунды тот считает слишком медленно. Все гринго были против него, даже судья.

При счете девять судья резко оттолкнул Риверу. Это было неправильно, зато Дэнни успел подняться, и улыбка снова появилась на его губах. Согнувшись почти пополам, защищая руками лицо и живот, он ловко вошел в клинч. По правилам, судья должен был его остановить, но он этого не сделал, и Дэнни буквально прилип к противнику, с каждой секундой восстанавливая свои силы. Последняя минута раунда была на исходе. Если он выдержит до конца, у него будет потом целая минута, чтобы прийти в себя. И он выдержал, продолжая улыбаться, несмотря на отчаянное положение.

— А все ведь улыбается! — крикнул кто-то, и публика облегченно засмеялась.

— Черт знает какой удар у этого мексиканца! — шепнул Дэнни тренеру, пока судьям, не щадя сил, трудились над ним.

Второй и третий раунды прошли бледно. Дэнни, хитрый и многоопытный король ринга, только маневрировал, финтил, стремясь выиграть время и оправиться от страшного удара, полученного им в первом раунде. В четвертом раунде он был уже в форме. Расстроенный и потрясенный, он все же благодаря силе своего тела и духа сумел прийти в себя. Правда, свирепой тактики он уже больше не применял. Мексиканец оказывал потрясающее сопротивление. Теперь Дэнни призвал на помощь весь свой опыт. Этот великий мастер, ловкий и умелый боец, приступил к методическому изматыванию противника, не будучи в силах нанести ему решительный удар. На каждый удар Риверы он отвечал тремя, но этим он скорее мстил противнику, чем приближал его к нокауту. Опасность заключалась в сумме ударов. Дэнни почтительно и с опаской относился к этому мальчишке, обладавшему удивительной способностью обеими руками наносить короткие боковые удары.

В защите Ривера прибег к смутившему противника отбиву левой рукой. Раз за разом пользовался он этим приемом, губительным для носа и губ Дэнни. Но Дэнни был многообразен в приемах. Поэтому его и прочли в чемпионы. Он умел на ходу менять стиль боя. Теперь он перешел к ближнему бою, в котором был особенно страшен, и это дало ему возможность спастись от страшного отбива противника. Несколько раз подряд вызывал он бурные овации великолепным апперкотом, поднимавшим мексиканца на воздух и затем валившим его с ног. Ривера отдыхал на одном колене, сколько позво-

лял счет, зная, что для него судья отсчитывает очень короткие секунды.

В седьмом раунде Дэнни применил поистине дьявольский апперкот, но Ривера только пошатнулся. И тотчас же, не дав ему опомниться, Дэнни нанес противнику второй страшный удар, отбросивший его на канаты. Ривера шлепнулся на сидевших внизу репортеров, и они толкнули его обратно на край платформы. Он отдохнул на одном колене, пока судья торопливо отсчитывал секунды. По ту сторону каната его дождался противник. Судья и не думал вмешиваться или отталкивать Дэнни. Публика была вне себя от восторга.

Вдруг раздался крик:

— Прикончи его, Дэнни, прикончи!

Сотни голосов, точно волчья стая, подхватили этот вопль.

Дэнни сделал все от него зависящее, но Ривера при счете восемь, а не девять неожиданно проскочил под канат и вошел в клинч. Судья опять захопотал, отводя Риверу так, чтобы Дэнни мог ударить его, и предоставляя любимцу все преимущества, какие только может предоставить пристрастный судья.

Но Ривера продолжал держаться, и туман в его мозгу рассеялся. Все было в порядке вещей. Эти ненавистные гринго бесчестны все до одного! Знакомые видения снова пронеслись перед ним: железнодорожные пути в пустыне; жандармы и американские полисмены; тюрьмы и полицейские застенки; бродяги у водокачек — вся его страшная и горькая одиссея после Рио-Бланко и забастовки. И в блеске и сиянии славы он увидел великую красную Революцию, шествующую по стране. Винтовки! Вот они здесь, перед ним! Каждое ненавистное лицо — винтовка. За винтовки он примет бой. Он сам винтовка! Он сам — Революция! Он бьется за всю Мексику!

Поведение Риверы стало явно раздражать публику. Почему он не принимает предназначенной ему трепки? Ведь все равно он будет побит, зачем же так упрямо оттягивать исход? Очень немногие желали удачи Ривере, хотя были и такие. На каждом состязании немало людей, которые ставят на темную лошадку. Почти уверенные, что победит Дэнни, они все же поставили на мексиканца четыре против десяти и один против трех. Большинство из них, правда, ставило на то, сколько раундов выдержит Ривера. Бешеные суммы ставили на то, что он не продержится и до шестого или седьмого раунда. Уже выигравшие эти пари, теперь, когда их рискованное предприятие окончилось так благополучно, на радостях тоже аплодировали фавориту.

Ривера не желал быть побитым. В восьмом раунде его противник тщетно пытался повторить апперкот. В девятом Ривера снова поверг публику в изумление. Во время клинча он быстрым движением отодвинулся от противника, и правая рука его ударила в узкий промежуток между их телами. Дэнни упал, надеясь уже только на спасительный счет. Толпа обомлела. Дэнни стал жертвой своего же собственного приема. Знаменитый апперкот правой теперь обрушился на

него самого. Ривера не сделал попытки схватиться с ним, когда он поднялся при счете «девять». Судья явно хотел застопорить схватку, хотя, когда ситуация была обратной и подняться должен был Ривера, он стоял, не вмешиваясь.

В десятом раунде Ривера дважды прибег к апперкоту, то есть нанес удар «правой снизу» от пояса к подбородку противника. Бешенство охватило Дэнни. Улыбка по-прежнему не сходила с его лица, но он вернулся к своим свирепым приемам. Несмотря на ураганный натиск, ему не удалось вывести Риверу из строя, а Ривера умудрился среди этого вихря, этой бури ударов три раза кряду положить Дэнни. Теперь Дэнни оживал уже не так быстро, и к одиннадцатому раунду положение его стало очень серьезным. Но с этого момента и до четырнадцатого раунда он демонстрировал все свои боксерские навыки и качества, бережливо расходуя силы. Кроме того, он прибегал к таким подлым приемам, которые известны только опытному боксеру. Все трюки и подвохи были им использованы до отказа: он как бы случайно прижимал локтем к боку перчатку противника, затыкал ему рот, не давая дышать; входя в клинч, шептал своими рассеченными, но улыбающимися губами в ухо Ривере нестерпимые и грязные оскорбления. Все до единого, начиная от судьи и кончая публикой, держали сторону Дэнни, помогали ему, отлично зная, что у него на уме.

Нарвавшись на такую неожиданность, он все ставил теперь на один решительный удар. Он открывался, финтил, изворачивался во имя этой единственной оставшейся ему возможности: нанести удар, вложив в него всю свою силу, и тем самым вырвать у противника инициативу. Как это уже было сделано однажды до него неким еще более известным боксером, он должен нанести удар справа и слева, в солнечное сплетение и челюсть. И Дэнни мог это сделать, ибо, пока он держался на ногах, руки его сохраняли силу.

Секунданты Риверы не очень-то заботились о нем в промежутках между раундами. Они махали полотенцами лишь для виду, почти не подавая воздуха его задыхающимся легким. Спайдер Хэгерти усиленно шептал ему советы, но Ривера знал, что следовать им нельзя. Все было против него. Его окружало предательство. В четырнадцатом раунде он снова положил Дэнни, а сам, бессильно опустив руки, отдыхал, пока судья отсчитывал секунды. В противоположном углу послышалось подозрительное перешептывание. Ривера увидел, как Майкл Келли направился к Робертсу и, нагнувшись, что-то зашептал. Слух у Риверы был, как у дикой кошки, и он уловил обрывки разговора. Но ему хотелось услышать больше, и, когда его противник поднялся, он сманеврировал так, чтобы схватиться с ним над самыми канатами.

— Придется! — услышал он голос Майкла Келли. И Робертс одобрительно кивнул. — Дэнни должен победить... не то я теряю огромную сумму... я всадил в это дело уйму денег. Если он выдержит пятнадцатый — я пропал... Вас мальчишка послушает. Необходимо что-то предпринять.



С этой минуты никакие видения уже не отвлекали Риверу. Они пытаются надуть его! Он снова положил Дэнни и отдыхал, уронив руки. Робертс встал.

— Ну, готов,— сказал он. — Ступай в свой угол.

Он произнес это повелительным тоном, каким не раз говорил с Риверой на тренировочных занятиях. Но Ривера только с ненавистью взглянул на него, продолжая ждать, когда Дэнни поднимется. В последовавший затем минутный перерыв Келли пробрался в угол Риверы.

— Брось эти шутки, черт тебя побери! — зашептал он. — Ложись, Ривера. Послушай меня, и я устрою твое будущее. В следующий раз я дам тебе побить Дэнни. Но сегодня ты должен лечь.

Ривера взглядом показал, что расслышал, но не подал ни знака согласия, ни отказа.

— Что же ты молчишь? — злобно спросил Келли.

— Так или иначе — ты проиграешь, — поддал жару Спайдер Хэгерти. — Судья не отдаст тебе победы. Послушайся Келли и ложись.

— Ложись, мальчик, — настаивал Келли, — и я сделаю из тебя чемпиона.

Ривера не отвечал.

— Честное слово, сделаю! А сейчас выручи меня.

Удар гонга зловеще прозвучал для Риверы. Публика ничего не замечала. Он и сам еще не знал, в чем опасность, знал только, что она приближается. Былая уверенность, казалось, вернулась к Дэнни. Это испугало Риверу. Ему готовили какой-то подвох. Дэнни ринулся на него, но Ривера ловко уклонился. Его противник жаждал клинча. Видимо, это было необходимо ему для задуманного подвоха. Ривера отступал, увертывался, но знал, что рано или поздно ему не избежать ни клинча, ни подвоха. В отчаянии он решил выиграть время. Он сделал вид, что готов схватиться с Дэнни при первом же его натиске. Вместо этого, когда их тела вот-вот должны были соприкоснуться, Ривера отпрянул. В это мгновение в углу Дэнни завопили: «Нечестно!» Ривера одурачил их. Судья в нерешительности остановился. Слова, уже готовые сорваться с его губ, так и не были произнесены, потому что пронзительный мальчишеский голос крикнул с галерки:

— Грубая работа!

Дэнни вслух обругал Риверу и двинулся на него. Ривера стал пятиться. Мысленно он решил больше не наносить ударов в корпус. Правда, таким образом терялась половина шансов на победу, но он знал, что если победит, то только с дальней дистанции. Все равно теперь по малейшему поводу его станут обвинять в нечестной борьбе. Дэнни уже послал к черту всякую осторожность. Два раунда кряду он беспощадно дубасил этого мальчишку, не смеявшего схватиться с ним вплотную.

Ривера принимал удар за ударом, он принимал их десятками, лишь бы избежать губительного клинча. Во время этого великолепного

натиска Дэнни публика вскочила на ноги. Казалось, все сошли с ума. Никто ничего не понимал. Они видели только одно: их любимец побеждает!

— Не уклоняйся от боя! — в бешенстве орали Ривере. — Трус! Раскройся, щенок! Раскройся! Прикончи его, Дэнни! Твое дело верное!

Во всем зале один Ривера сохранял спокойствие. По темпераменту, по крови он был самым горячим, самым страстным из всех, но он закалился в волнениях, настолько больших, что эта бурная страсть толпы, нарастающая, как морские волны, для него была не чувствительнее легкого дуновения вечерней прохлады.

На семнадцатом раунде Дэнни привел в исполнение свой замысел. Под тяжестью его удара Ривера согнулся. Руки его бессильно опустились. Он отступил шатаясь. Дэнни решил, что счастливый миг настал. Мальчишка был в его власти. Но Ривера этим маневром усыпил его бдительность и сам нанес ему сокрушительный удар в челюсть. Дэнни упал. Три раза он пытался подняться, и три раза Ривера повторил этот удар. Никакой судья не посмел бы назвать его неправильным.

— Билл, Билл! — взмолился Келли, обращаясь к судье.

— Что я могу сделать? — в тон ему ответил судья. — Мне не к чему придраться.

Дэнни, побитый, но решительный, всякий раз поднимался снова. Келли и другие сидевшие возле самого ринга начали звать полицию, чтобы прекратить это избиение, хотя секунданты Дэнни, отказываясь признать поражение, по-прежнему держали наготове полотенца. Ривера видел, как толстый полицмен неуклюже полз под канаты. Что это может значить? Сколько разных надувательств у этих гринго! Дэнни, поднявшись на ноги, как пьяный, добежали до Риверы в перед ним. Судья и полицмен одновременно прекращать борьбу уже не было: Дэнни больше не поднялся.

— Считай! — хрипло крикнул Ривера.

Когда судья кончил считать, секунданты подняли Дэнни и оттащили его в угол.

— За кем победа? — спросил Ривера.

Судья неохотно взял его руку в перчатке и высоко поднял ее. Никто не поздравлял Риверу. Он один прошел в свой угол, где секунданты даже не поставили для него стула. Он прислонился спиной к канатам и с ненавистью посмотрел на секундантов, затем перевел взгляд дальше и еще дальше, пока не охватил им все десять тысяч гринго. Колени у него дрожали, он всхлипывал в шепот. Ненавиденные лица вливали и качались перед ним. Но вдруг он вспомнил: это винтовки! Винтовки принадлежат ему! Революция будет продолжаться!

## ПЕРЬЯ СОЛНЦА

### I

Остров Фиту-Айве был последним оплотом полинезийцев в Океании. Независимости его способствовали три обстоятельства. Во-первых и во-вторых — уединенное расположение острова и воинственность его жителей. Однако эти обстоятельства в конце концов не спасли бы Фиту-Айве, если бы им не прельстились одновременно Япония, Франция, Англия, Германия и Соединенные Штаты. Они дрались из-за него, как мальчишки из-за найденного на улице медяка, и не давали друг другу завладеть им. Военные суда пяти держав теснились в единственной маленькой гавани Фиту-Айве. Поговаривали о войне, и где-то за океаном уже бряцали оружием. Во всем мире люди за утренним завтраком читали в газетах сообщения о Фиту-Айве. Словом, по меткому выражению одного матроса-янки, «все сразу сунулись к одной кормушке».

Вот потому-то остров Фиту-Айве избежал даже объединенного протектората и король его, Тулифау, или Туи Тулифау, по-прежнему творил суд и расправу в своем бревенчатом дворце из калифорнийского леса, построенном для него каким-то сиднейским коммерсантом. Туи Тулифау был король с головы до ног, король с первой секунды своей жизни. Более того, когда исполнилось пятьдесят восемь лет и пять месяцев его царствования, королю было еще только пятьдесят восемь лет и три месяца, а, следовательно, он царствовал на пять миллионов секунд дольше, чем жил на свете: его короновали за два месяца до рождения.

Это и с виду был настоящий король, величественный мужчина ростом в шесть с половиной футов. Не отличаясь чрезмерной полнотой, он весил, однако, триста двадцать фунтов. Впрочем, такой рост и вес не считались у полинезийских вождей редкостью. Супруга Тулифау, королева Сепели, была ростом в шесть футов три дюйма и весила двести шестьдесят фунтов, а брат ее, Уилиами (командовавший армией, когда ему надоедали обязанности первого министра), был выше ее на дюйм и весил ровно на полцентнера больше.

Туи Тулифау был веселый король, большой любитель поест и выпить. Таким же веселым и безобидным правом отличались его подданные, что не мешало им иногда выходить из себя и даже швырять дохлыми свиньями в того, кто навлек на себя их гнев. При всем своем миролюбии они умели сражаться не хуже маорийцев, в чем не раз убеждались в былые времена разбойники-купцы, торговавшие сандаловым деревом и людьми.

### II

Шхуна Грифа «Кантани», еще два часа назад миновав Каменные Столбы, скалы, сторожившие вход в бухту, теперь тихо входила в гавань с легким бризом, который словно не решался разгуляться по настоящему. Был прохладный звездный вечер, и все слонялись по

палубе в ожидании, когда шхуна своим черепашьям ходом доберется до причала. Из каюты появился кладовщик Уилли Сми, принарядившийся перед выходом на берег. Помощник капитана посмотрел на его рубашку из тончайшего белого шелка и выразительно хмыкнул.

— Собираешься, я вижу, на бал? — сказал Гриф.

— Нет, — возразил помощник. — Это он для Тантуи так расфрантился. Влюблен в нее по уши.

— Выдумываете! — запротестовал Уилли.

— Ну, так она в тебя влюблена, это все равно, — настаивал помощник капитана. — Не пройдет и получаса, как ты будешь с нею в обнимку гулять по берегу в венке и с цветком за ухом.

— Просто вы завидуете, — фыркнул Уилли. — Вам самому она приглянулась, да ничего у вас не выходит.

— Не выходит, потому что у меня нет такой рубашки, как у тебя, вот и все. Держу пари на полкроны, что ты уедешь с Фиту-Айве без нее.

— А если ее не получит Тантуа, так наверняка заберет Туи Тулифау, — предостерег кладовщика Гриф. — Смотри, не попадайся ему на глаза в этой рубашке, иначе придется тебе распрощаться с нею!

— Это верно, — подтвердил и капитан Бойг, оторвавшись на миг от созерцания огней на берегу. — В прошлый наш приезд он забрал у одного из моих канаков расшитый пояс и складной нож... Мистер Мэш, — обратился капитан к своему помощнику, — можете отдать якорь. Только не слишком вытравливайте канат. Похоже, что ветра не будет, и утром нам придется стать напротив складов копры.

Через минуту загредел якорь. У борта уже стояла спущенная на воду шлюпка, и в нее садились те, кто съезжал на берег. Здесь были все канаки, а из белых только Гриф и Уилли Сми.

На узком коралловом молу Уилли, буркнув что-то вроде извинения, расстался со своим хозяином и быстро исчез в пальмовой аллее. А Гриф пошел в другую сторону, мимо старой миссионерской церкви. На берегу среди могил плясали юноши и девушки, весьма легко одетые — в одних «аху» и «лава-лава», украшенные венками и гирляндами. В волосах у них белели, словно светясь во мраке, крупные цветы гибиска.

Немного подалее, перед длинным травяным шалашом «химине», Гриф увидел стариков: их было несколько десятков, и, сидя рядом, они пели старые церковные гимны, которым когда-то выучились у забытых всеми миссионеров.

Потом Гриф прошел мимо дворца Туи Тулифау — множество огней и доносившийся изнутри шум свидетельствовали, что там, как всегда, идет пир горой. Ибо из всех счастливых островов Океании Фиту-Айве был самый счастливый. Здесь провали и веселились по случаю и рождений, и смертей, с одинаковым усердием чествовали мертвецов и еще не рожденных.

Гриф продолжал идти по Дроковой аллее, которая вилась и петляла среди множества цветов и густых зарослей папоротниковых альгароб. Теплый воздух был полон благоухания, а на фоне звездного

неба рисовались отягощенные плодами манговые деревья, величавые авокадо и всера стройных пальм. Там и сям мелькали травяные хижины, чьи-то голоса и смех журчали во мраке. Вдали, на воде, мигали огоньки и звучала тихая песня — это от рифов плыли домой рыбаки.

Наконец Гриф свернул с дороги к одной из хижин и тут в темноте наткнулся на свинью, которая негодующе хрюкнула. Заглянув в открытую дверь, он увидел пожилого туземца, сидевшего на груди сложенных циновок. Время от времени он машинально обмахивал свои голые ноги хлопучкой для мух, сделанной из кокосовой мочалы, и, оседлав нос очками, сосредоточенно читал какую-то книгу. Гриф не сомневался, что это — Библия на английском языке. Какую еще книгу мог читать его торговый агент, Иеремия, окрещенный так в честь древнего пророка?

У Иеремии кожа была несколько светлее, чем у туземцев Фиту-Айве, ибо он был чистокровный самоанец. Воспитанный миссионерами, он когда-то преданно служил их делу, подвизаясь в качестве учителя на западных атоллах, населенных каннибалами. В награду его потом отправили на Фиту-Айве, этот рай земной, где все жители, за исключением отступников, были добрыми христианами, и Иеремии оставалось только вернуть некоторых заблудших на путь истинный.

Однако Иеремию погубила чрезмерная начитанность. Случайно попавший к нему в руки том Дарвина, да притом еще сварливая жена и одна хорошенькая вдовушка на Фиту-Айве совратили его самого, и он оказался в числе заблудших. Это не было вероотступничество. Но после того, как он полистал Дарвина, им овладела душевная и умственная апатия. Что пользы человеку пытаться познать бесконечно сложный и загадочный мир, в особенности когда у этого человека злая жена? И Иеремия все с меньшим рвением исполнял свои обязанности пастыря, начальство все чаще грозило, что отошлет его обратно к людоедам, а, соответственно этому, острый язык жены жалил его все сильнее.

Туи Тулифау был добрый монарх и сочувствовал Иеремии: ни для кого не было тайной, что его самого поколачивала супруга в тех случаях, когда он напивался сверх всякой меры. Из политических соображений (ибо Сепели принадлежала к столь же высокому царскому роду, как и он, а брат<sup>ее</sup> командовал армией) Туи Тулифау не мог развестись с королевой. Но развести Иеремию с женой он мог — и сделал это, после чего Иеремия немедленно женился на своей избраннице и занялся коммерцией. Попробовав самостоятельно вести торговлю, он скоро прогорел — главным образом из-за разорительных милостей Туи Тулифау. Отказать в кредите этому веселому самодержцу значило бы навлечь на себя конфискацию имущества, а предоставление ему кредита неизбежно должно было привести его к банкротству.

Проболтавшись год без дела, Иеремия поступил на службу к Дэвиду Грифу в качестве торгового агента и вот уже двенадцать лет с честью выполнял эту обязанность. Торговля процветала, так как

Гриф был первый человек, который успешно отказывал королю в кредите, а если и отпускал ему товар в долг, то умудрялся затем получить с него деньги.

Когда Гриф вошел, Иеремия серьезно посмотрел на него поверх очков, затем так же серьезно и не спеша, отметив страницу, отложил Библию в сторону и пожал хозяину руку.

— Очень хорошо, что вы пожаловали собственной персоной! — сказал он.

— А как иначе я мог пожаловать? — с улыбкой отозвался Гриф.

Но Иеремия, совершенно лишенный чувства юмора, пропустил это замечание мимо ушей.

— Коммерция на острове находится в катастрофическом состоянии! — изрек он торжественно, со смаком отчеканивая каждое многосложное слово. — Мой торговый баланс хоть кого приведет в ужас!

— А что, торговля идет плохо?

— Напротив, очень бойко. Полки в лавке совсем опустели. Да, полки совершенно пусты. Но... — Тут в глазах Иеремии блеснула гордость. — Но на складе еще много товара. Я держу его под спудом, за крепкими замками.

— Наверное, опять слишком много надавали в кредит Тун Тулифау?

— Нет, он не только не брал в долг, но заплатил и по всем старым счетам.

— Ну, тогда я ничего не понимаю! — признался Гриф. — Откуда же кризис? Вы говорите: полки пусты, в кредит ничего не отпускалось, все счета оплачены, на складе припрятан товар — в чем же загвоздка?

Иеремия ответил не сразу. Из-под груды циновок он извлек железный денежный ящик. Гриф заметил, что ящик не заперт, и удивился: обычно самоанец очень тщательно запирает его.

Ящик был доверху набит какими-то кредитками. Иеремия снял одну, лежавшую на самом верху, и протянул ее хозяину.

— Вот в чем загвоздка.

Гриф осмотрел аккуратно сделанную кредитку и прочел:

«Первый Королевский банк Фигу-Айве выплачивает предъявителю сего по требованию один фунт стерлингов». Посредине было расплывчатое изображение чьей-то физиономии, а внизу стояла подпись Тун Тулифау и еще другая — «Фулуалеа» с пояснительной надписью «Министр финансов».

— Что за чертовщина? Откуда взялся этот Фулуалеа? — воскликнул Гриф. — И что за имя! На языке туземцев фиджи это слово, кажется, означает «перья солнца»!

— Совершенно верно: Перья Солнца. Так именует себя этот гнусный мошенник. Явился сюда с Фиджи и перевернул все вверх дном — я имею в виду коммерцию на острове.

— Наверное, это кто-нибудь из продувных левукских туземцев? Иеремия скорбно покачал головой.

— Нет, он белый. И негодяй каких мало. Присвоил себе благородное и звучное фиджийское имя — и втоптал его в грязь ради своих гнусных целей. Он сделал Туи Тулифау пьяницей. Он все время его спавает и не дает протрезвиться. А король в благодарность назначил его министром финансов и предоставил ему еще кучу других должностей. Фулуалеа выпустил вот эти фальшивые деньги и заставил весь народ принимать их. Он ввел патенты для торговцев, налоги на копру и на табак. Введены также и другие налоги, и портовый сбор, и какие-то правила для прибывающих судов. С населения налогов не берут, только с нас, торговцев. Когда обложили налогом копру, я стал платить за нее соответственно меньше. Тут люди зароптали, и Перья Солнца издал новый закон: восстановил прежнюю цену и запретил ее снижать. Меня же он оштрафовал на два фунта стерлингов и пять свиней — так как было известно, что у меня их именно пять. Стоимость их я записал в графу торговых расходов. У Хоукинса, агента Компании Фокрэм, под видом штрафа отобрали сперва свиней, потом джин, а когда он стал шуметь, пришли солдаты и сожгли его лавку. Я прекратил торговлю, но подлец Фулуалеа оштрафовал меня вторично и пригрозил спалить и мою лавку, если я еще раз попытаюсь обойти закон. Ну, я и продал все, что было на полках, и теперь ваша касса набита ничего не стоящим хламом. Конечно, если вы выплатите мне жалованье этими бумажками, меня это сильно огорчит, но это будет только справедливо, безусловно справедливо. Теперь скажите, что делать?

Гриф пожал плечами.

— Прежде всего мне надо повидать эти Перья Солнца и выяснить положение.

— Тогда торопитесь, — посоветовал Иеремия, — пока он не успел наложить на вас сотню всяких штрафов. Таким-то образом он и вылавливает всю звонкую монету, какая есть в стране. Он все, кажется, уже заграбастал, кроме того, что лежит в земле!

### III

Возвращаясь от Иеремии по той же Дроковой аллее, Гриф у освещенного фонарями входа в дворцовый парк встретил низенького толстяка, гладко выбритого, румяного, в измятых парусиновых брюках. Человек этот только что вышел из дворца. Что-то в его походке и самоуверенных манерах показалось Грифу знакомым, и в следующую минуту он узнал в нем субъекта, которого встречал по крайней мере в десяти портах Тихого океана.

— Кого я вижу! Корнелий Диззи! — воскликнул он.

— Эге, да это вы, Гриф! — отозвался тот, и они пожали друг другу руки.

— Пойдемте ко мне на шхуну, угощу вас первосортным ирландским виски, — предложил Гриф.

Корнелий выпятил грудь и принял чопорно-величественный вид.

— Нет, мистер Гриф, этот номер не пройдет. Теперь я Фулуалеа,

и выпивкой меня не соблазнишь, как в былые времена. Притом, волею его величества, милостивого короля Тулифау, я министр финансов в этой стране. Я же верховный судья. Только иногда, когда королю угодно развлечься, он сам берет в руки меч правосудия.

Гриф от удивления даже присвистнул.

— Так это вы Перья Солнца?

— Я предпочитаю, чтобы меня называли по-здешнему,— поправил его Корнелий.— Имею честь представиться: Фулуалеа. Старая дружба не ржавеет, мистер Гриф, но все же я с великим сожалением должен сообщить вам неприятную весть: вам придется заплатить ввозную пошлину, установленную нами для всякого коммерсанта, который приезжает сюда грабить жителей коралловых островов, мирных полинезийцев... Что бишь я хотел сказать еще? Ах, да! Вы нарушили правила: с преступными намерениями вошли в порт Фиту-Айве после захода солнца, не зажигая бортовых огней... Не перебивайте меня! Я своими глазами видел это. За такие беззаконные действия вы уплатите штраф в размере пяти фунтов... А джин у вас на шхуне имеется? Это тоже серьезное нарушение... Да, так я говорю — жизнь моряков слишком нам дорога, чтобы мы в нашем благоустроенном порту позволили рисковать ею ради грошовой экономии керосина... Однако вы не ответили на мой вопрос: есть у вас спиртное? Спрашиваю как начальник порта.

— Ого! Вы взяли на себя уйму ответственных обязанностей! — сказал Гриф, усмехаясь.

— Таков тяжкий долг белого человека. Мошенники-купцы взвалили все бремя правления на бедного Тун Тулифау, добрейшего из монархов, какие когда-либо занимали трон на тихоокеанских островах и тянули грог из королевского калабаша. И вот я, Корнелий... то есть Фулуалеа, взялся навести здесь законный порядок... И, хотя мне это очень неприятно, я как начальник порта должен обвинить вас в нарушении карантина.

— Какого карантина? Это еще что за новость?

— Распоряжение портового врача. Пока судно не отбыло карантин — никаких сношений с берегом! Ведь вы можете занести какую-нибудь эпидемию — ветряную оспу, например, или коклюш, — а это страшное бедствие для доверчивых полинезийцев! Кто же защитит кроткого и доверчивого туземца? Я, Фулуалеа, Перья Солнца, взял на себя эту великую миссию!

— А кто ваш портовый врач, черт бы его побрал? — осведомился Гриф.

— Я, Фулуалеа. Вы опасный правонарушитель!. Считайте себя оштрафованным на пять ящиков первосортного голландского джипа.

Гриф от души расхохотался.

— Как-нибудь сговоримся, Корнелий. Едемте ко мне на шхуну и там выпьем.

Перья Солнца величественным жестом отклонил приглашение.

— Это взятка. Взятки не беру, не такой я человек. А почему вы не представили ваших судовых документов? Как начальник таможен



и, я штрафую вас на пять фунтов стерлингов и еще на два ящика жина.

— Послушайте, Корнелий, пошутить не грех, но выхватили через рай. Здесь вам не Левука! Бросьте хорохориться, меня не запугаете. Признаться, у меня уже руки чешутся.

Перья Солнца в смятении отступил подальше.

— Не вздумайте пустить их в ход! — сказал он с угрозой. — Здесь и Левука, это верно. Именно поэтому и еще потому, что за мной тоит Туи Тулифау и королевская армия, я могу вас в порошок стелеть. Немедленно платите все штрафы, иначе я конфискую ваше судно. Думаете, вы первый? Вот и Питер Джи, скупщик жемчуга, пропался в гавань, нарушив все правила, да еще поднял скандал из-за каких-то пустячных штрафов. Не хотел платить, ну и сидит теперь на берегу и кается.

— Неужто вы...

— Конечно! Выполняя свои высокие обязанности, я захватил его шхуну. На ее борту сейчас находится пятая часть нашей верной армии, а через неделю шхуна будет продана. Мы нашли в трюме тонн десять раковин. Пожалуй, я уступлю их вам в обмен на джин. Вы сделаете на редкость выгодное дельце, можете мне поверить! Сколько, вы говорите, у вас джину?

— Опять джин!

— А что же тут удивительного? Туи Тулифау пьет по-королевски. Мне приходится день и ночь ломать голову, придумывая, как обеспечить его спиртным. И щедр он до невозможности — все его прихлебатели вечно вдрызг пьяны. Это безобразно... Ну что же, мистер Гриф, уплатите вы штрафы или вынудите меня прибегнуть к решительным мерам?

Гриф сердито повернулся к нему.

— Корнелий, вы пьяны. Протрезвитесь и тогда подумайте, что вы делаете. Веселые деньки на островах Океании миновали. В нынешние времена такие забавы вам даром не пройдут.

— Вы, кажется, собираетесь вернуться на шхуну, мистер Гриф? Не трудитесь напрасно! Я предвидел, что вы будете артачиться — знаю я вашего брата! — и вовремя принял меры: всю команду вы найдете на берегу, а шхуна ваша конфискована.

Гриф сделал шаг к нему, все еще надеясь, что он шутит. Фулуалеа опять испуганно попятился. За его спиной в темноте вдруг выросла какая-то огромная фигура.

— Это ты, Уилиами? — понизив голос, спросил Фулуалеа. — Вот еще один морской пират! Защити меня силой своих рук, о могучий брат мой!

— Привет тебе, Уилиами, — сказал Гриф. — С каких это пор на Фиту-Айве всем управляет какой-то левукский бездельник? Он говорит, что моя шхуна захвачена. Правда это?

— Правда, — густым басом прогудел Уилиами. — Есть у тебя еще такие шелковые рубашки, как та, что носит Уилли Сми? Туи Тулифау хочется иметь такую рубашку. Он слышал о ней.

— И он ее получит,— вмешался Фулуалеа. — Что бы король ни захотел, шхуну или рубашку, все он получит.

— Однако вы порядком зарвались, Корнелий! — пробурчал Гриф. — Это чистейший разбой! Вы захватили мое судно без всяких оснований.

— Без оснований? А разве пять минут тому назад вы на этом самом месте не отказались уплатить штрафы, которые с вас причитаются?

— Да ведь шхуна-то была конфискована до этого!

— Ну и что же? Ведь я заранее знал, что вы откажетесь. Все сделано по закону, и вам не на что жаловаться. Правосудие, эта несравненная лучезарная звезда,— мое божество, и у его сияющего алтаря я, Корнелий Дизи — то есть Фулуалеа, это одно и то же,— день и ночь возношу молитвы. Уходите, господин купец, или я напущу на вас дворцовую стражу! Уилнами, этот купец — отчаянный человек, он на все способен. Вызови стражу!

Уилнами схватил свисток на плетеном кокосовом шнурке, висевший на его широкой голой груди, и засвистал. Гриф гневно замахнулся на Корнелия, но тот юркнул за массивную спину Уилнами, где он был в безопасности. А по дорожке от дворца уже мчалось человек десять рослых полинезийцев, среди которых не было ни одного ниже шести футов. Добежав, они выстроились позади своего командира.

— Убирайтесь отсюда, господин купец,— приказал Корнелий. — Разговор окончен. Завтра утром мы в суде разберем все ваши дела. Вы должны явиться во дворец ровно в десять часов и ответить за следующие преступления: нарушение общественного спокойствия, изменнические, мятежные речи, дерзкое нападение на верховного судью с целью избить, ранить, нанести тяжкие увечья, а также несоблюдение карантина и установленных в порту порядков и грубое нарушение таможенных правил. Утром, милейший, утром, не успеет упасть плод с хлебного дерева, как правосудие свершится! И да помилует господь вашу душу!

#### IV

Наутро, еще до назначенного часа, Гриф пришел во дворец вместе с Питером Джи и настоял, чтобы их допустили к Туи Тулифау. Король, окруженный несколькими вождами, возлежал на циновках в дворцовом саду, в тени авокадо. Несмотря на ранний час, служанки уже хлопотали, непрерывно разнося всем джии. Король был рад старому другу и выразил сожаление, что «Давида» вступался в неприятности, оказавшись не в ладу с новыми законами Фиту-Айве. Однако в дальнейшей беседе он упорно избегал этой темы и на все протесты ограбленных купцов неизменно отвечал предложением вынить. Только раз он излил свои чувства, сказав, что Перья Солнца — замечательный человек и никогда еще на Фиту-Айве не царил такое благополу-

чие, как сейчас: никогда еще не было в казначействе столько денег, а во дворце столько джина.

— Да, я очень доволен Фулуалеа,— заключил король. — Выпейте еще!

— Нам надо в спешном порядке убраться отсюда,— шепнул Гриф Питеру Джи,— иначе мы совсем опьянеем. А меня к тому же через несколько минут будут судить за поджог, или ересь, или распространение проказы... сам не знаю, за что,— и мне надо собраться с мыслями.

Когда они выходили от короля, Гриф мельком увидел королеву. Она из-за двери подсматривала за своим августейшим супругом и его собутыльниками, и выражение ее нахмуренного лица сразу подсказало Грифу, что ему следует действовать только через нее.

В другом тенистом уголке обширного дворцового парка Корнелий вершил суд. Видимо, он приступил к этому занятию спозаранку. Когда пришел Гриф, разбиралось уже дело Уилли Сми. Королевская армия присутствовала в суде в полном составе, за исключением той ее части, которая стерегла захваченные шхуны.

— Пусть подсудимый встанет,— сказал Корнелий,— и выслушает справедливый и милостивый приговор суда. За непристойное поведение и распущенность, не подобающую человеку его звания, он приговаривается к штрафу. Подсудимый заявляет, что у него нет денег? Хорошо. К сожалению, у нас нет тюрьмы. По этой причине, а также снисходя к бедности подсудимого, суд штрафует его только на одну белую шелковую рубашку такого же сорта, качества и фасона, как та, которая сейчас на нем.

Корнелий сделал знак, и несколько воинов увели Уилли Сми за дерево. Через минуту он появился уже без упомянутой в приговоре части туалета и сел подле Грифа.

— В чем вы провинились? — спросил у него тот.

— Понятия не имею. А какие преступления совершили вы?

— Следующий,— сказал Корнелий строго официальным тоном. — Обвиняемый Дэвид Гриф, встаньте! Суд рассмотрел обвинительный материал по вашему делу — или, вернее, делам — и выносит следующее постановление... Молчать! — гаркнул он, когда Гриф хотел перебить его. — Повторяю, все показания против вас тщательно рассмотрены. Суд не желает отягчать участь обвиняемого и потому предупреждает, что таким поведением он может навлечь на себя еще и кару за оскорбление суда. А за его открытое и наглое неповиновение установленным в порту правилам, несоблюдение карантина и нарушение законов о судоходстве принадлежащая ему шхуна «Кантани» объявляется конфискованной в пользу правительства Фиту-Айве и через десять дней от сего числа будет продана с публичных торгов со всем ее оснащением и грузом. Кроме того, подсудимый Гриф за преступления, совершенные им, а именно за буйное, вызывающее поведение и явное неуважение к законам нашей страны обязан уплатить штраф в размере ста фунтов стерлингов и пятнадцати ящиков джина. Подсудимый, я не предоставляю вам слова. Отвечайте только на один вопрос: намерены вы платить или нет?

Гриф отрицательно мотнул головой.

— В таком случае,— продолжал Корнелий,— считайте себя арестованным, но временно оставленным на свободе, ибо на острове нет тюрьмы, куда вас можно было бы упрятать. И, наконец, до сведения суда дошло, что сегодня рано утром подсудимый Гриф самоуправно посылал своих канаков к рифам наловить рыбы на завтрак. Это явное нарушение прав здешних рыбаков. Мы обязаны защищать интересы отечественных промыслов. Суд выносит подсудимому суровое порицание, и, если подобное правонарушение повторится, он и все виновные будут немедленно отправлены на каторжные работы — приводить в порядок Дроковую аллею. Объявляю заседание суда закрытым.

Когда они уходили из резиденции короля, Питер Джи, подтолкнув Грифа, указал глазами на Туи Тулифау, по-прежнему возлежавшего на циновках. Шелковая рубашка Уилли Сми уже туго облегла жирные королевские телеса.

## V

— Картина ясна,— говорил Питер Джи на совещании в доме Иеремии. — Дизи, видимо, выкачал уже почти все деньги, какие были у населения Фиту-Айве. Чтобы король ему не мешал, он непрерывно спавает его джином, который захватил на наших судах. Он только и ждет удобного момента, чтобы прикарманить всю звонкую монету, что хранится в казначействе, и удрать на моей или вашей шхуне.

— Он негодяй,— объявил Иеремия, перестав на минуту протирать очки. — Плут он и мерзавец!.. В него следовало бы запустить дохлой свиньей, самой протухшей падалью!

— Совершенно верно,— подтвердил Гриф,— отхлестать дохлой свиньей! И меня несколько не удивит, Иеремия, если именно вы возьмете это на себя. Непременно подыщите что-нибудь подходящее — самую что ни на есть дохлятину. Туи Тулифау сейчас в лодочном сарае на берегу — вскрывает один из моих ящиков с виски. Я пойду во дворец и начну закулисные переговоры с королевой. Тем временем вы перенесете часть товара из склада в лавку и разложите по полкам. Вам, Хоукнис, я сужу немного своего. А вы, Питер, ступайте в лавку немца и начните все продавать за бумажные деньги. Убытки я возьму, не беспокойтесь. Думаю, что через три дня у нас будет всенародное собрание — или переворот. Иеремия, вы разошлите гонцов по всему острову, к рыбакам, земледельцам, повсюду, даже в горы к охотникам за дикими козами. Пусть придут и соберутся у дворца ровно через три дня.

— А солдаты? — возразил Иеремия.

— Ими я займусь сам. Они вот уже два месяца не получали жалованья. Притом Уиллиами — брат королевы... Да, вот еще что: не надо сразу раскладывать в лавках много товаров. А когда придут солдаты с бумажными деньгами, ничего им не продавайте.

— Они сожгут лавки! — сказал Иеремия.

— Пусть жгут. За все заплатит король Тулифау.

— И за мою рубашку тоже? — спросил Уилли Сми.

— Это уже ваше с ним частное дело, решайте его между собой, — ответил Гриф.

— Рубашка уже изорвана, — жалобно сказал Уилли. — Не успел он поносить ее десять минут, как она лопнула на спине. Я сам видел сегодня утром. Она стоила мне тридцать шиллингов, и я только один раз надевал ее.

— Где взять дохлую свинью? — спросил Иеремия.

— Купите живую и заколите, — сказал Гриф. — Лучше всего небольшую.

— Небольшая тоже стоит не меньше десяти шиллингов.

— Проведите эту сумму по графе текущих расходов.

И, помолчав, Гриф добавил:

— Если хотите, чтобы свинья хорошенько протухла, заколите ее сегодня же.

## VI

— Ты верно говоришь, Давида, — сказала королева Сепели. — С тех пор как здесь этот Фулуалеа, все словно взбесились, а Тун Тулифау потопил свой ум в джине. Если он не созовет Большой Совет, я его избью. Когда он пьян, с ним очень легко справиться.

Она сжала кулак. У этой амазонки фигура была такая внушительная, а лицо выражало такую решимость, что Гриф понял: Совет будет созван.

Беседа велась на языке Фиту-Айве, настолько родственном самоанскому, что Гриф говорил на нем, как туземец.

— Ты сказал, Уиллиами, что солдаты требуют настоящих денег и не хотят брать бумажки, которыми платит Фулуалеа? Так вели им эти бумажки принимать и позаботься, чтобы завтра же они получили жалованье за все время.

— К чему поднимать шум? — возразил Уиллиами. — Король пьет и блаженствует. В казначействе куча денег. И я тоже доволен. Дома у меня припасено два ящика джина и много разного товару из лавки Хоукинса.

— О мой брат, ты настоящий боров! — обрушилась на него Сепели. — Или ты не слышал, что говорил Давида? Где были твои уши? Когда у тебя в доме не останется больше ни джина, ни товаров, когда купцы перестанут их привозить, а Перья Солнца удерет в Левуку со всеми нашими деньгами, что ты тогда будешь делать? Только золото и серебро — деньги, а бумага — это бумага. Говорю тебе: народ роншет! Во дворце не стало рыбы. Никто не приносит нам больше бататов — можно подумать, что земля перестала их родить. Вот уже неделя, как горны не шлют нам козьего мяса. Перья Солнца приказал торговцам покупать копру по старой цене, но никто не продаст ее, потому что людям не нужны бумажные деньги. Сегодня я разослала

слуг в двадцать домов за яйцами, а яиц нет. Может быть, Перья Солнца наслал порчу на кур? Не знаю. Знаю только, что яиц нет. Хорошо еще, что пьяницы едят мало, не то во дворце давно начался бы голод. Вели своим воинам получить жалованье! Пусть им заплатят бумажками.

— И предупреждаю тебя,— добавил Гриф. — Хотя в лавках будут торговать, но от солдат бумажные деньги принимать не станут. Зато через три дня народ соберется на Большой Совет, и Перья Солнца будет мертв, как дохлая свинья.

## VII

В день Совета все население острова Фиту-Айве собралось в столице. Пять тысяч человек прибыли сюда в челноках и больших лодках, пешком и верхом на ослах. Три предыдущих дня были полны сенсационных событий. Во-первых, лавки стали бойко торговать разными товарами. Когда же явились солдаты, желая, в свою очередь, поддержать торговлю, им в этом было отказано, и купцы посоветовали им обратиться к Фулуалеа за звонкой монетой. «Ведь на его бумажных деньгах написано, что их по первому требованию обменяют на золото и серебро»,— говорили они.

Лишь высокий авторитет Уиллиами удержал солдат и спас лавки от сожжения. Все-таки один из принадлежавших Грифу складов копры сгорел дотла (убытки, разумеется, были отнесены за счет короля). Изрядно досталось и Неремини—его поколотили, осыпали бранью и насмешками, да еще разбили его очки. А у судового кладовщика Уилли Сми на костяшках пальцев была содрана вся кожа. Произошло это оттого, что три буянивших солдата, один за другим, со всего размаху ударились подбородками о его сжатые кулаки. Таким же точно образом пострадал и капитан Бойг. Только Питер Джи остался невредим, ибо, по счастливой случайности, его кулаки пришли в столкновение не с крепкими солдатскими челюстями, а с хлебными корзинками.

Большой Совет происходил в дворцовом парке. На главном месте восседал Тун Тулифау рядом с королевой Сепели, окруженный своими собутыльниками. Правый глаз и губа у короля встухли, словно он тоже наноролся на чей-то кулак. Во дворце уже с утра шушукались о том, что Сепели задала супругу трепку. Как бы то ни было, король был сегодня трезв— об этом свидетельствовала вялость его жирного тела, уныло выпиравшего из всех прорех шелковой рубашки Уилли Сми. Ему беспрестанно подавали молодые кокосовые орехи, и он утолял их соком мучившую его жажду.

За оградой теснилась сдерживаемая солдатами толпа. На территории дворца допущены были только кое-кто из вождей, деревенские шеголи с их подружками и делегаты, сопровождаемые своими штабами.

Корнелий Дизн занял место по правую руку короля, как и подобало влиятельному сановнику. А слева от Сепели, напротив Корне-

лия, сидел Иеремия в кругу белых купцов, которые выбрали его представителем. Лишенный своих очков, он близоруко щурился, поглядывая на всемогущего министра финансов.

Стали выступать по очереди ораторы — делегат с наветренной стороны побережья, делегат с подветренной стороны и делегат от горных деревень. Каждого поддерживала группа прибывших с ним вождей и ораторов менее высокой марки.

Говорили все приблизительно одно и то же. Народ недоволен тем, что выпустили бумажные деньги. На острове неблагополучно. Никто не заготавливает копры. Люди стали недоверчивы. До того дошло, что все должники спешат уплатить свои долги, а кредиторы денег не берут и удирают от должников. И все потому, что бумажные деньги ничего не стоят. Цены растут, а продуктов на рынке все меньше. За курицу дерут втридорога. Купишь, а она оказывается жесткой и такой старой, что ее нужно немедленно перепродать, пока она не околела.

Стране грозят беды, на это указывают всякие дурные приметы и знамения. В некоторых местах наблюдается нашествие крыс. Урожай плохой. Плоды анонны уродились мелкие. На подветренном берегу с самого лучшего дерева авокадо неизвестно отчего облетели все листья. Манговые плоды в этом году совсем невкусные, а бананы поел червь. Из океана ушла вся рыба, и появились целые стаи тигровых акул. Дикие козы перекочевали на неприступные кручи. Запасы муки в хранилищах прогоркли. В горах слышен временами какой-то гул, а по ночам там бродят духи. У одной женщины из Пунта-Пуна ни с того ни с сего отнялся язык, а в деревне Эйхо родилась пятногая коза. И старейшины в деревнях заявляют во всеуслышание, что всему причиной новые деньги, которые пустил в обращение Фулуалеа.

От армии выступил Уилиами. Он сказал, что его солдаты бунтуют. Вопреки королевскому указу, купцы не принимают бумажных денег. Он, Уилиами, ничего не берется утверждать, но похоже на то, что во многом виноваты деньги Фулуалеа.

Затем от имени купцов держал речь Иеремия. Когда он поднялся, все заметили, что между его широко расставленных колен стоит большая тростниковая корзина. Иеремия сначала долго распространялся о качествах тканей, привозимых на остров купцами, о красоте их, добротности и разнообразии, об их преимуществах перед местной «тапа», быстро промокающей, непрочной и грубой. Теперь никто не носит больше тапа, а раньше, до того, как сюда приехали купцы, все носили только тапа, ничего, кроме тапа. А что сказать о замечательных сетках от москитов, которые продаются в лавках почти даром? Самый искусный ткач на Фиту-Айве не сделает такой сетки в тысячу лет!

Далее Иеремия подробно остановился на несравненных достоинствах топоров, ружей и стальных рыболовных крючков, перешел на иголки, нитки и лесы для удочек и в заключение воздал должное белой муке и керосину.

Затем, излагая свои доводы в строгой последовательности, так что поминутно слышалось: «во-первых», «во-вторых» и так далее, он заго-

ворил о благоустройстве, порядке и цивилизации. Он утверждал, что купец — носитель цивилизации и ему следует оказывать всяческое содействие и покровительство, иначе он не будет приезжать сюда. Далеко на западе есть острова, где купцам не оказывали покровительства, — и что же? Они туда больше не ездят, и люди на этих островах живут, как дикие звери, не носят никакой одежды, а шелковых рубашек никогда и в глаза не видывали (тут Иеремия выразительно покосился на короля) и едят друг друга.

Те подозрительные бумажки, что выпустил Перья Солнца, — не деньги. Купцы знают, что такое деньги, и не хотят принимать эти бумажки. А если от них станут этого требовать, купцы уедут с Фиту-Айве и никогда больше не вернутся. И тогда здешние жители, уже давно разучившиеся изготовлять тапа, будут ходить голые и пожирать друг друга.

Еще много сказал Иеремия — он ораторствовал битый час — и все время упирал на то, что без купцов жизнь на Фиту-Айве станет ужасной.

— И как тогда во всем мире будут называть жителей этого острова? — восклицал он. — Кай-канаки, людоеды — вот как будут называть их!

Речь Туи Тулифау была коротка. Он сказал:

— Мы слышали здесь, что думает народ, армия и купцы. Теперь пусть говорит Перья Солнца. Бесспорно, он своей денежной системой творит чудеса. Он не раз объяснял мне ее действие. Это очень просто. Он сейчас и вам все объяснит.

Корнелий начал с заявления, что народ взбудоражили белые купцы, которые все в заговоре против него, Фулуалеа. Иеремия справедливо восхваляя здесь благодетельные свойства белой муки и керосина. Жители Фиту-Айве вовсе не хотят стать кай-канаками. Они стремятся к цивилизации, они жаждут как можно быстрее к ней приобщиться. В этом все дело, и он просит внимательно его выслушать. Бумажные деньги — это главный признак высшей цивилизации. Поэтому он, Перья Солнца, и ввел их. И по этой самой причине купцы восстают против них. Они не хотят, чтобы Фиту-Айве стала цивилизованной страной. Для чего они везут сюда свои товары из самых дальних стран за океаном? Он, Перья Солнца, скажет им это прямо в глаза при всем народе! Потому они едут сюда, что в их цивилизованных странах люди не дают обирать себя и купцы не получают таких громадных барышей, как здесь, на Фиту-Айве. Если жители острова станут цивилизованным народом, у белых купцов вся торговля полетит к черту. Тогда каждый островитянин при желании сможет сам стать торговцем. Оттого-то белые купцы и против бумажных денег, которые ввел здесь он, Перья Солнца. Почему его называют «Перья Солнца»? Поэтому, что он принес островитянам свет из далекого мира за горизонтом. Бумажные деньги — это свет. А грабители-купцы боятся света. Вот они и стремятся его угасить.

Он, Фулуалеа, сейчас докажет это славному народу Фиту-Айве. Он докажет это устами своих врагов. Всем известно, что в высоко-



цивилизированных странах давно введены бумажные деньги. Пусть скажет Иеремия, так это или нет.

Иеремия безмолвствовал.

— Видите,— продолжал Корнелий,— он не отвечает. Он не может отрицать истину. В Англии, Франции, Германии, Америке, во всех великих странах Папаланги в ходу бумажные деньги. Эта система существует там сотни лет. Я спрашиваю тебя, Иеремия, как честного человека, как человека, который когда-то усердно трудился во славу веры господней: ведь ты не можешь отрицать, что в великих заморских странах такая система существует?

Иеремия не мог этого отрицать и нервно теребил пальцами завязки стоявшей у его ног корзины.

— Ну что же? Вы видите, я прав,— сказал Корнелий. — Иеремия этого не отрицает. А теперь я спрошу тебя, о добрый народ Фиту-Айве: если бумажные деньги годятся для заморских стран, почему они не хороши для Фиту-Айве?

— Это не такие деньги! — крикнул Иеремия. — Бумажки, которые выпустил Перья Солнца, совсем не то, что бумажные деньги великих стран!

Но Корнелий, видимо, ожидал этого возражения и не растерялся. Он поднял вверх кредитку так, чтобы все могли ее видеть.

— Это что? — спросил он.

— Бумага, просто бумага,— ответил Иеремия.

— А это?

Корнелий показал всем кредитку Английского банка.

— Это английские бумажные деньги.— пояснил он собранию, протягивая бумажку Иеремии, чтобы тот мог ближе рассмотреть ее. — Верно я говорю, Иеремия?

Иеремия неохотно кивнул головой.

— Ты сказал, что деньги Фиту-Айве — простая бумага и больше ничего. Ну, а что ты скажешь про эти английские деньги? Отвечай как честный человек!.. Мы ждем твоего ответа, Иеремия.

— Они... они... — промямлил озадаченный Иеремия и беспомощно замолчал: в софистике он был не силен.

— Бумага, простая бумага,— закончил за него Корнелий, подражая его запинаящейся речи.

По лицам присутствующих видно было, что Корнелий убедил всех. А король восторженно захлопал в ладоши и сказал вполголоса:

— Все ясно, совершенно ясно.

— Видите, он сам это признает. — В позе и голосе Корнелия Дизи заметно было торжество и уверенность в победе. — Он не может указать разницы. Потому что разницы нет! Наши бумажные деньги — точное подобие английских. Это настоящие деньги!

Тем временем Гриф успел шепнуть что-то Иеремии на ухо. Тот кивнул головой, и, когда Корнелий замолчал, он снова взял слово:

— Однако все папаланги знают, что английское правительство обменивает эту бумагу на звонкую монету.

Дизи окончательно чувствовал себя победителем. Он помахал в воздухе фиту-айванской кредиткой.

— А разве здесь не написано то же самое?

Гриф снова что-то шепнул Иеремии.

— Написано, что эти бумажки вы обменяете на золото и серебро? — переспросил Иеремия.

— Да, именно так.

В третий раз Гриф тихонько подсказал что-то.

— По первому требованию? — спросил Иеремия.

— По первому требованию.

— Тогда я требую обмена сейчас же, — сказал Иеремия, вытаскивая из висевшего у него на поясе мешочка небольшую пачку кредиток.

Корнелий глянул на нее быстрым оценивающим взглядом.

— Хорошо. Вы получите за них немедленно звонкой монетой. Сколько тут?

— Вот мы сейчас увидим нашу новую систему в действии! — объявил король, разделяя триумф своего министра.

— Все слышали? Он будет менять бумажки на звонкую монету! — крикнул Иеремия во весь голос.

Не теряя ни минуты, он сунул обе руки в корзину и извлек оттуда целую кипу фиту-айванских кредиток, уложенных пачками. При этом вокруг распространился какой-то странный запах, шедший из корзины.

— Всего здесь у меня тысяча двадцать восемь фунтов, двенадцать шиллингов и шесть пенсов, — объявил Иеремия. — А вот мешок для монеты.

Корнелий отшатнулся. Он никак не ожидал, что Иеремия потребует такую большую сумму. К тому же, обводя собрание встревоженными глазами, он увидел, что вожди и представители деревень тоже достают пачки бумажных денег. Солдаты, держа в руках полученное за два месяца жалованье, проталкивались вперед, а из-за ограды на дворцовую территорию хлынула толпа народа — и все держали наготове бумажные деньги.

— Вы создадите панику, чтобы опустошить наш банк! — с упреком сказал Корнелий Грифу.

— Вот мешок для денег, — торопил его Иеремия.

— Обмен придется отложить, — объявил наконец Корнелий с храбростью отчаяния. — Банк в эти часы закрыт.

Иеремия, размахивая пачкой кредиток, орал:

— Здесь ничего не сказано насчет часов. Здесь сказано: «по требованию» — и я требую, чтобы обменяли немедленно.

— Вели им прийти завтра, Тун Тулифау! — взмолился Корнелий. — Завтра им будет уплачено.

Король медлил: супруга грозно смотрела на него, крепко сжав в кулак коричневую руку, и Тун Тулифау тише пытался отвести глаза от этого устрашающего кулака. Он нервно откашлялся.

— Мы хотим сейчас видеть твою систему в действии, — объявил он. — Люди прибыли издалека.

— Неужели вы согласны, чтобы я им отдал такие громадные деньги? — тихо сказал Дизи королю.

Сепели услышала и огрызнулась так свирепо, что король невольно шарахнулся от нее.

— Не забудьте про свинью,— шепнул Гриф Иеремии. Тот вскочил и, энергичным жестом прекратив поднимавшийся уже галдеж, загворил:

— На Фиту-Айве существовал когда-то древний и весьма почтенный обычай. Когда кого-нибудь уличали в тяжких преступлениях, ему перебивали дубиной все суставы, а затем связанного оставляли перед приливом воды у берега, на съедение акулам. К сожалению, те времена миновали. Но у нас еще сохранился другой древний и весьма почтенный обычай. Всем вам он известен. Уличенных грабителей и обманщиков побивают дохлыми свиньями.

Тут правая рука Иеремии нырнула в корзину, и, несмотря на то, что он был без очков, извлеченная им оттуда свинья угодила прямо хонько в шею Корнелию. Иеремия метнул ее с такой силой, что министр финансов перекувырнулся и отлетел в сторону. Тут же, не дав ему прийти в себя, к нему подскочила Сепели с живостью и проворством, каких никак нельзя было ожидать от женщины, весившей двести шестьдесят фунтов. Ухватив Корнелия одной рукой за шиворот, она взмахнула свиньей и под восторженный рев всех своих подданных по-королевски расправилась с ним.

Тут Тулифау ничего другого не оставалось, как, скрыв досаду, примириться с позором своего фаворита. Он откинулся на циновке, хохоча так, что сотрясалась вся его гороподобная туша.

Сепели бросила наконец и свинью, и министра финансов. Орудие казни немедленно подхватил один из делегатов. Корнелий пустился наутек, но свинья угодила в него и сшибла с ног. Тут уже весь народ и армия с криками и хохотом приняли участие в забаве. Как ни увертывался, как ни метался бывший министр, свинья настигала его всюду, сбивая с ног, или летела навстречу. Словно затравленный заяц, улестывал он между пальмами и деревьями авокадо. Ни одна рука не коснулась его, мучители расступались, давая ему дорогу, но ни на миг не прекращали преследования. И свинья летала, как мяч,— ее только успевали подхватывать то одни, то другие руки.

Когда и Корнелий, и его преследователи скрылись в глубине Дровковой аллеи, Гриф повел всех торговцев в королевское казначейство. И только к вечеру последняя кредитка была обменена на звонкую монету.

## VIII

В ласковой прохладе сумерек из-за прибрежных зарослей выплыл челнок и направился к «Кантани». Челнок был ветхий, дырявый, и сидевший в нем человек греб очень медленно, время от времени останавливаясь, чтобы вычерпать воду. Матросы канакки злорадно захихикали, когда он, подъехав к «Кантани», с мучительными усилиями стал взбираться на палубу. Он был омерзительно грязен и вид имел пришибленный.

— Можно мне потолковать с вами, мистер Гриф? — сказал он смиренно и печально.

— Да, только сядьте подальше и с подветренной стороны, — отозвался Гриф. — Нет, нет, еще дальше! Вот так.

Корнелий присел на планшир и подпер голову руками.

— Понятно, — сказал он. — От меня несет, как от необрушенных трупов на поле битвы. Голова трещит, шея, наверное, сломана, зубы все шатаются... В ушах жужжит, как будто там целое гнездо ос. А еще, я полагаю, у меня вывихнуты мозги. Ох! То, что я пережил, страшнее землетрясения и чумы! На мою голову падал град свиной... — Он замолчал с тяжелым вздохом, похожим на стон. — Я видел смерть лицом к лицу, смерть страшную, какую не мог бы вообразить себе ни один поэт. Если бы я сварился в кипящем масле, или был съеден крысами, или меня разорвали на части дикие жеребцы, это было бы, конечно, неприятно... Но принять смерть от дохлой свиньи! — Корнелий содрогнулся. — Право, это превосходит всякое человеческое воображение!

Капитан Бойг шумно потянул носом воздух и передвинул свой складной стул подальше от Корнелия.

— Мистер Гриф, я слышал, что вы едете в Яп, — продолжал Корнелий. — У меня к вам две покорнейшие просьбы: доведите меня туда и угостите капелькой того виски, от которого я отказался в день вашего прибытия.

Гриф хлопнул в ладоши и велел подошедшему на зов чернокожему стюарду принести мыло и полотенца.

— Ступайте, Корнелий, и первым делом вымойтесь как следует, — сказал он. — Бойг принесет вам штаны и рубашку... Кстати, пока вы не ушли, объясните мне, каким это образом в казначействе денег оказалось больше, чем выпущено бумажек?

— Я хранил там свои собственные деньги, которые привез, чтобы было с чем начать.

— Ну, плату за простой и все наши убытки и издержки мы решили взыскать с Туи Тулифау, — сказал Гриф. — Так что найденный в кассе излишек будет вам возвращен... Вычтем только десять шиллингов.

— Это за что же?

— А дохлые свиньи, по-вашему, растут на деревьях? Сумма в десять шиллингов, уплаченная за свинью, у нас проведена по книгам.

Вздвигнув при упоминании о свинье, Корнелий кивком выразил согласие.

— Слава богу, что эта свинья стоила только десять шиллингов, а не пятнадцать и не двадцать!

## ДИТЯ ВОДЫ

Я лениво слушал бесконечные песни Кохокуму о подвигах и приключениях полубога Мауи, полинезийского Прометея, выудившего сушу из пучины океана прикрепленной к небу удочкой, поднявшего небо, под которым раньше люди ходили на четвереньках, не имея возмож-

ности вытрясти. остановившего солнце с его шестнадцатью перепутанными руками и заставившего его медленнее двигаться по небу; очевидно, солнце было членом профессионального союза и признавало шестнадцаточасовой рабочий день, тогда как Мауи стоял за открытый шаг за двенадцатичасовой рабочий день.

— А вот это, — говорил Кохокуму, — из семейной меле королевы Тидлукалани:

Мауи расшевелился и стал сражаться с солнцем  
При помощи силка, который он расставил.  
И солнце было побеждено зимою,  
А лето победил Мауи...

Будучи сам уроженцем Гавайских островов, я лучше знал местные мифы, чем этот старый рыбак, хотя и пользовался его памятью, дававшей ему возможность воспроизводить их часами без перерыва.

— И ты веришь в это? — спросил я на мягком гавайском языке.

— Это было очень, очень давно! — задумчиво ответил он. — Своими глазами я не видел Мауи. Но все наши старики с глубочайшей древности рассказывают нам об этом, как я, старик, рассказываю моим сыновьям и внукам, и так до скончания веков.

— И ты веришь, — настаивал я, — что фокусник Мауи заарканил солнце, как дикого быка, и поднял небо над землею?

— Я человек маленький и не мудрый, о Лакана, — ответил мне рыбак. — Но я читал Библию, которую миссионеры перевели для нас по-гавайски, и там сказано, что ваш Великий Изначальный Муж создал землю, и солнце, и луну, и звезды, и всяких тварей от лошади до таракана и от многоножки и москита до морской блохи и медузы, и мужчину, и женщину — все решительно, и все это в шесть дней! Ну что ж, Мауи столько не сделал. Он не сотворил ничего. Он привел вещи в порядок, и только — и на это у него ушло много-много времени. Во всяком случае, легче и проще поверить в маленького фокусника, чем в большого фокусника!

Что мог я на это ответить? Это была сама логика! Кроме того, у меня болела голова. И ведь вот что любопытно, я должен признать: теория эволюции учит нас, что человек действительно бегал на четвереньках, прежде чем начал ходить на двух ногах; астрономия определенно утверждает, что скорость вращения земли по ее оси непременно уменьшается, и, стало быть, увеличивается долгота дня; а сейсмологи допускают, что все Гавайские острова были подняты со дна океана вулканическими силами!

К счастью, я увидел, что бамбуковый шест, плававший на поверхности моря в нескольких сотнях футов от нас, вдруг стал торчком и заплясал, как бешеный. Это отвлекло нас от бесполезных споров; мы с Кохокуму схватили весла и направили наше маленькое каное к танцующему шесту. Кохокуму поймал лесу, привязанную к концу шеста, и вытащил из воды двухфуттовую рыбу укикики, отчаянно бившуюся и сверкавшую серебром на солнце; брошенная на дно лодки, она продолжала отбивать барабанную дробь. Кохокуму взял слизистую каракатицу, откусил зубами трепещущий кусок наживки, нацпил его на

крюк и бросил за борт лесу и грузило. Шест лег плашмя на воду, и палка медленно поплыла прочь. Оглядев десятка два таких шестов, расположенных полукругом, Кохокуму вытер руки о голые бедра и затынул скучную и древнюю, как сам мир, песнь о Куали:

О великий рыболовный крюк Маун!  
Манаи-и-ка-лани («к небесам прикрепленный»)!  
Витая из земли леса держит крючок,  
Спущенный с высокой Каунки!  
Его наживка — красноклювый Алаа,  
Птица, посвященная Хине.  
Ои погружается до Гавайев,  
Трепеща и в муках умирая!  
Поймана суша под водою  
И всплыла на поверхность,  
Но Хина спрятала крыло птицы  
И разбила сушу под водою!  
Внизу наживка была сорвана  
И тотчас же сожрана рыбами  
Улуа глубоких тинистых заводей!

Голос у Кохокуму хриплый и какой-то скрежещущий — накануне, на поминках, он слишком много выпил, и все это не могло смягчить моего раздражения. Голова болела, глаза с болью жмурились от ярких отблесков солнца; тошнило от пляски на волнуемом море. Воздух душный, застоявшийся. На подветренной стороне Ванхее, между белым взморьем и гребнем горы, ни малейшего ветерка, душливый зной. Я так отвратительно чувствовал себя, что уже решил отказаться от ловли и направиться к берегу.

Лежа на спине и закрыв глаза, я потерял счет времени. Я даже забыл, что Кохокуму поет, пока он, умолкнув, не напомнил о себе. Раздавшееся восклицание заставило меня открыть глаза, несмотря на яркий блеск солнца. Старик смотрел в воду через водяную трубку.

— Огромный! — сказал он, передавая мне прибор и прыгая в воду.

Он погрузился без всплеска, не оставив даже ряби, перевернулся вниз головой и пошел на дно. Я следил за его движениями через водяную трубку, представлявшую на деле продолговатый ящик фута в два длиной, открытый на одном конце, а с другого конца заделанный куском обыкновенного стекла.

Кохокуму был скучный человек и выводил меня из терпения своей болтливостью; но я невольно залюбовался им теперь. Наверное, старше семидесяти лет, тощий, как копые, и сморщенный, как мумия, он проделывал то, чего не могли бы и не захотели проделать многие молодые атлеты моей расы! До дна было по крайней мере сорок футов. И на дне я увидел заинтересовавший его предмет, то спрятавшийся, то высывавшийся из-за глыбы коралла. Острый взгляд Кохокуму подметил выдававшиеся щупальца сирута. Когда он бросился в воду, щупальца лениво спрятались. Достаточно было мельком увидеть хоть одно из них, чтобы догадаться об огромных размерах чудовища.

Давление воды на глубине сорока футов не шутка даже для молодого человека, между тем оно, по-видимому, не причиняло ни малей-

шего неудобства этому старик. Я убежден, что он даже не замечал его! Ничем не вооруженный, совершенно голый, если не считать короткого мало — лоскута материи вокруг бедер, — он не смутился размерами чудовища, которого считал своей добычей. Я видел, как он ухватился правой рукой за выступ коралла, а левую руку до плеча сунул в пещеру. Прошло полминуты; он копался там и ощупывал что-то левой рукой. Покрытые мирриадами присосок, показались из-под коралла щупальца. Ухватив его руку, они обвили ее, как змеи. Наконец, дернувшись, показался и спрут — настоящий дьявол-осьминог.

Между тем старик как будто не торопился вернуться в родную стихию, на воздух. На глубине сорока футов под водою, обернутый спрутом по крайней мере в девять футов ширины между кончиками щупалец, он холодно и даже небрежно сделал единственное движение, отдававшее в его власть чудовище: он сунул худощавое, ястребиное лицо в центр слизистой, извивающейся массы и уцелевшими старыми клыками прокусил сердце чудовища. Сделав это, он стал подниматься вверх, медленно, как должен делать пловец, когда меняется давление при переходе из глубины на поверхность. Выплыв возле каное, не вылезая еще из воды и стряхивая с себя присосавшееся к нему чудовище, неисправимый греховодник затынул торжественное пуле, которое распедали бесчисленные поколения ловцов осьминогов:

О Каналоа запретных ночей!  
Стань прямо на твердой земле!  
Стань на дне, где лежит осьминог!  
Стань и возьми осьминога из моря глубокого!  
Поднимись, поднимись, о Каналоа!  
Шевелись! Шевелись! Разбуди осьминога!  
Разбуди лежащего плашмя осьминога!  
Разбуди распростертого осьминога...

Я закрыл глаза и уши, не протянув ему даже руки, ибо совершенно был уверен, что он и без посторонней помощи взберется в нашу неустойчивую скорлупку, нисколько не рискуя опрокинуть ее.

— Замечательный спрут! — говорил он. — Это вахине (самка). А теперь я спою тебе песнь о ракушке каури, о красной ракушке каури, которой мы пользовались как наживкой для спрутов...

— Ты возмутительно вел себя ночью на поминках! — отпарировал я. — Я все знаю! Ты здорово шумел! Ты так пел, что всех оглушил! Ты оскорбил сына вдовы. Ты пил, как свинья; нехорошо в твоем возрасте глотать целыми кружками; когда-нибудь ты проснешься мертвецом. Тебе в пору быть развалиной...

— Ха! — хихикнул он. — А ты, который не пил и еще не родился, когда я уже был стариком, ты, улегшийся вчера с солнцем и курами, ты сейчас развалина! Вот объясни мне это! Мои уши так же жаждут услышать тебя, как моя глотка жаждала пива этой ночью. И вот, смотри, нынче я, как выразился англичанин, приехавший сюда на своей яхте, в наилучшем виде, в чертовски хорошем виде!

— Что с тобой спорить! — возразил я, пожав плечами. — Только одно ясно: ты даже черту не нужен! Молва о твоих безобразиях опередила тебя.

— Нет,— задумчиво ответил он,— не в этом дело. Может быть, черт и рад бы моему приходу — у меня припасено для него несколько славных песенок, старых скандалов и сплетен о высоких алии; он будет от них хвататься за бока! Позволь, я тебе объясню тайну моего рождения. Море — моя мать! Я родился в двойном каное во время шторма, дувшего с Коны в проливе Кахоолава. От этой матери моей, от моря, я получил свою силу! И когда я возвращаюсь в ее объятия, как бы припадаю к ее груди, как вот было сейчас, я становлюсь сильным! Для меня она кормилица, источник жизни...

«Тени Антея!» — подумал я.

— Когда-нибудь,— продолжал старый Кохокуму,— когда я в самом деле состарюсь, люди скажут, что я утонул в море. Но это будет неправда! В действительности я вернусь в объятия моей матери, чтобы поконтиться на ее груди, под ее сердцем, до второго рождения, когда выплыву на солнце, сверкая молодостью и силой, как сам Маун в золотую пору его юности.

— Странная вера! — заметил я.

— Когда я был моложе, я ломал свою бедную голову над верами куда более странными! — возразил старый Кохокуму. — Но послушай, о юный мудрец, мою старую мудрость. А знаю я вот что: чем старше я становлюсь, тем меньше ищу истину вне себя и тем больше нахожу истину внутри себя. Почему пришла мне в голову вот эта мысль о возвращении к моей матери и о возрождении из моей матери? Ты не знаешь? И я не знаю. Но без участия человеческого голоса или печатного слова, без побуждения откуда бы то ни было эта мысль возникла внутри меня, из моих собственных недр, которые так же глубоки, как море! Я не бог! Я ничего не творю! Стало быть, я не сотворил и этой мысли. Человек не творит истины. Человек, если он не слеп, только познает истину, когда видит ее... Или эта мысль, что мне пришла в голову, сон?

— А может быть, ты сам сон? — засмеялся я. — И я, и небо, и море, и твердая, как камень, земля — все это сон.

— Я часто сам так думаю! — серьезно ответил он. — Очень возможно, что это так. Этой ночью мне казалось, что я птица, жаворонок, красивый небесный жаворонок, подобный жаворонку горных пастбищ Халеакала. И вот я полетел вверх, вверх, к солнцу, и пою, и пою, как старый Кохокуму не пел никогда. Теперь я тебе рассказываю, как мне показалось, приснилось, будто я жаворонок в небесах. Но, может быть, я, настоящий я, и есть эта птица жаворонок? И, может быть, то, что я тебе рассказываю, и есть сон, который снится мне, птице жаворонку? Кто ты такой, чтобы ответить мне на это да или нет? Посмеешь ли ты сказать мне, что я не жаворонок, который спит и грезнит, будто он старый Кохокуму?

Я пожал плечами, а он с торжеством продолжал:

— И почему ты знаешь, что ты не старый Маун, который спит и видит во сне, будто он Джон Лакана, разговаривающий со мною в каное? Кто знает, не проснешься ли ты, старый Маун, и не почесешь ли себе бока, и не скажешь ли, что тебе приснился забавный сон, будто ты хаоле?



— Не знаю,— согласился я. — Да ты и не поверил бы мне!

— В снах много больше того, что нам известно! — говорил он с большой важностью. — Сны уходят вглубь, назад, может быть, до самого начала начал! Кто знает, не приснилось ли только старому Мауи, что он вытащил Гавайи со дна морского? В таком случае и Гавайи, и сон, и ты, и я, и вот этот спрут — только части сна Мауи, да и птица жаворонок тоже!

Он вздохнул и уронил голову на грудь.

— А я ломаю свою старую голову над непонятными таинствами,— продолжал он,— пока не устану и не захочу забвения; тогда я начинаю пить пиво, хожу на рыбную ловлю, пою старые песни и вижу себя во сне птицей жаворонком, распевающим в небесах. Это я люблю больше всего, и чаще всего об этом я грежу, когда выпью много кружек...

И он с унынием посмотрел на дно лагуны через водяную трубку.

— Теперь долго не будет клева! — объявил он. — Поблизости шатаются акулы, и нам придется подождать, пока они уплывут. А чтобы ожидание не показалось тебе скучным, я спою песню Лоно, которая поется, когда каноэ вытаскивают на берег. Ты помнишь?

Отдай мне ствол дерева, о Лоно!

Отдай мне главный корень дерева, о Лоно!

Отдай мне ухо дерева, о Лоно!

— Будь милостив, Кохокуму, не пой! — оборвал я его. — У меня голова трещит, и от твоего пения делается еще хуже. Может быть, ты и очень в ударе нынче, но голос твой ни к черту не годится. Лучше уж рассказывай сны или какие-нибудь небылицы!

— Плохо, что ты болен, а такой молодой! — весело согласился он. — Ну, я не буду петь больше! Я расскажу тебе одну вещь, которую ты не знаешь и о которой никогда не слыхал; это уже не сон и не небылица, а то, что действительно случилось. Некогда, давно, жил здесь, у этого взморья, у этой самой лагуны, мальчик по имени Кеикиваи, что означает, как тебе известно, Дитя Воды. Богами его были море и рыбные боги, и родился он со знанием языка рыб; сами рыбы не знали этого языка, пока акулы не выдумали его в один прекрасный день, а рыбы подслушали.

Случилось это вот как. Быстрые гонцы разнесли повсюду весть и приказы, что король объезжает остров и что на следующий день жители должны устроить ему луау. Жителям маленьких местечек было очень трудно наполнять множество знатных желудков едою, когда король совершал свой объезд. Ведь он приезжал всегда со своею женою, ее служанками, со своими жрецами и колдунами, танцовщицами, и флейтистами, и певцами хула, воинами, и слугами, и высокими вождями с их женами, их колдунами, их бойцами и их слугами.

Иногда в местечках, как Ванхи, путь такого короля отмечался после продолжительными бедностью и голодом. Но короля надо кормить, и нехорошо гневить короля! И вот, когда в Ванхи пришла весть

о приближающемся бедствии, все, кто занимался добыванием еды и пищи с полей, и с прудов, и с гор, и из моря, занялись заготовленным запасом для празднества. И сумели всё достать, от самого отборного королевского таро до сладких междуузлий сахарного тростника, от опихн до лиму, от кур до диких свиной и щенков, откормленных пон, и всё, кроме одного,— рыбаки не достали омаров!

Надобно тебе знать, что омары были любимым королевским блюдом. Он любил их больше всякой другой кау-кау, и гонцы нарочно упомянули об омарах. И вот омаров не оказалось, а нехорошо гневить королевское чрево! За рифы забралось много акул — вот почему пришла беда! Они съели молодую девушку и старика. А из молодых людей, решившихся полезть в воду за омарами, один был съеден, другой лишился руки, а третий руки и ноги.

Но здесь находился Кекиван, Дитя Воды, мальчик всего одиннадцати лет, зато наполовину рыба и говоривший на языке рыб. И вот пошли старейшины к его отцу и стали просить Дитя Воды нырнуть за омарами, чтобы было чем наполнить королевское чрево и отвести гнев короля.

То, что случилось тогда, всем известно, и все это видели. Рыбаки, и их жены, и те, кто сажал таро, и птицеловы, и старейшины, и всё Ванхи собрались и глядели на скалу, на краю которой стоял Дитя Воды, глядя на омаров, видневшихся на дне.

Одна из акул, взглянув вверх своими кошачьими глазами, заметила мальчика и кликнула акулий клич о «свежем мясе», созывая всех акул в лагуну. Акулы всегда действуют дружно: вот почему они так сильны. И акулы отозвались на клич: сорок штук собралось их, коротких и длинных, тонких, тощих и откормленных, сорок равным счетом; и стали они переговариваться между собою: «Поглядите на лакомую пищу, на этого мальчика, на сладкий кусочек человеческого мяса, без морской соли, которая нам надоела; вкусный и нежный, он так и растает под сердцем, когда брюхо наше проглотит его и станет высасывать из него сладость».

И еще говорили они: «Он пришел за омарами. Когда он нырнет, он кому-нибудь из нас достанется. Это не старик, которого мы съели вчера, сухой и жесткий от старости, и не юноша, члены которого тверды и мускулисты; он нежный, такой нежный и мягкий, что растает в глотке, прежде чем брюхо проглотит его. Вот когда он нырнет, мы все бросимся к нему, и одной из нас, счастливице, достанется он: хал — и нет его! Один укус, один глоток — и войдет он в брюхо счастлившей из нас!»

А Кекиван, Дитя Воды, подслушал этот разговор, ибо он знал акулий язык; и взмолился он на языке акул акульему богу Моку-Халии, а акулы услышали это, замахали друг другу хвостами, стали подмигивать друг дружке кошачьими глазами в знак того, что они понимают его речь.

И промолвил он: «Теперь я нырну за омарами для короля. И не случится со мною беды, ибо акула с самым коротким хвостом мне друг, и она защитит меня».

С этими словами он поднял глыбу застывшей лавы и бросил ее в воду; с громким всплеском она упала в двадцати футах от берега. Все сорок акул кинулись к месту всплеска, а он нырнул, и пока они разбрали, что промахнулись, он успел опуститься на дно, вернуться назад и вылезть на берег, и в его руке был большой омар, омар вахине, полный яиц для короля.

«Ха! — в великом гневе говорили акулы. — Среди нас есть предатель! Этот лакомый ребенок, этот сладкий кусочек изобличил одну из нас, которая спасла его. Давайте меряться хвостами!»

Так они и сделали; они выстроились длинным рядом бок о бок, причем короткохвостые старались надуть других и вытягивались, чтобы казаться длиннее, а длиннохвостые также тянулись и обманывали друг друга, чтобы их кто-нибудь не перехитрил и не перетянул. Они сильно обозлились на самую короткохвостую, кинулись на нее со всех сторон и сожрали, так что от нее ничего не осталось.

И опять они стали ждать, когда нырнет Дитя Воды, и прислушиваться, и опять Дитя Воды взмолился на акульем языке богу Моку-Халии и промолвил: «Акула с самым коротким хвостом мне друг, она защитит меня!» И опять Дитя Воды бросил глыбу лавы, на этот раз в двадцати футах от берега по другую сторону. Акулы кинулись туда, где плеснул камень, второпях затолкались и так вспенили хвостами воду, что ничего нельзя было видеть; каждая думала, что кто-нибудь другой глотает лакомый кусочек. А Дитя Воды опять вылез с омаром для короля.

Оставшиеся тридцать девять акул померялись хвостами и слопали акулу с самым коротким хвостом, так что всего осталось только тридцать восемь акул. И Дитя Воды продолжал поступать так и дальше, а акулы продолжали делать то, что я уже говорил тебе; и за каждую акулу, съеденную ее собратьями, на скале появлялся новый жирный омар для короля. Разумеется, акулы ссорились, спорили и шумели, когда дело доходило до хвостов; но виновница всегда отыскивалась, и в конце концов остались две акулы, две самые большие акулы из всех сорока.

И опять Дитя Воды объявил, что акула с самым коротким хвостом — его друг, и надул обеих акул глыбой лавы, и вынес еще одного омара. Каждая из акул настаивала, что у другой хвост короче, и они стали драться, и акула с длинным хвостом победила...

— Замолчи, о Кохокуму! — прервал я его. — Не забудь, что эта акула уже...

— Я знаю, что ты хочешь сказать, — быстро ответил он мне, — и ты прав: ей долго пришлось есть тридцать девятую акулу, ибо в тридцать девятой акуле уже находилось девятнадцать других акул, которых она съела, а в сороковой акуле было также девятнадцать акул, которых та съела, и у нее уже не было того аппетита, с которым она начинала дело. Но ты не забывай, что ведь акула-то была очень большая!

Так вот, столь долго пришлось ей есть другую акулу и всех девятнадцать акул, сидевших внутри той, что она продолжала еще есть,

когда пали сумерки и народ Ванхи пошел по домам с омарами для короля. И что же ты думаешь, разве они не нашли на другое утро на взморье последнюю акулу? Она лопнула от всего, что съела!

Кохокуму сделал паузу и лукаво посмотрел мне в глаза.

— Молчи, о Лакана! — остановил он слова, готовые сорваться с моих уст. — Я знаю, что ты теперь скажешь: ты скажешь, что своими глазами я этого не видел и, стало быть, не знаю того, что тебе рассказываю. Но я знаю и могу доказать. Отец моего отца знал внука дяди отца того мальчика. Кроме того, вот на этом утесе, на который я сейчас указываю пальцем, стоял и с него нырял Дитя Воды. Я сам здесь нырял за омарами. Тут для них самое подходящее место! И часто я видел там акул. Там, на дне, я видел и считал — лежат тридцать девять кусков лавы, брошенных мальчиком, как я рассказывал!

— Но... — начал было я.

— Ха! — оборвал он меня. — Смотри, покуда мы с тобой разговаривали, рыба опять начала клевать!

И он указал на три бамбуковых шеста, поднявших бешеную пляску в знак того, что рыба попалась на крючок и тянет лесу. Нагибаясь за своим веслом, он продолжал бормотать:

— Разумеется, я знаю. Тридцать девять глыб лавы так и лежат там! Ты в любой день можешь сам сосчитать их. Понятно, я знаю, что это правда...

*Глен Элен*  
2 октября 1916

## СОДЕРЖАНИЕ

<i>А. Савуренок. Джек Лондон — рассказчик</i> . . . . .	3
---	---

### РАССКАЗЫ

Белое безмолвие. <i>Перевод А. Елеонской</i> . . . . .	13
На Сороковой Миле. <i>Перевод Э. Васильевой</i> . . . . .	20
В далеком краю. <i>Перевод Н. Хуцишвили</i> . . . . .	27
Мужество женщины. <i>Перевод Н. Емельяниковой</i> . . . . .	40
Человек со шрамом. <i>Перевод М. Абкиной</i> . . . . .	50
Там, где расходятся пути. <i>Перевод Н. Банникова</i> . . . . .	59
Закон жизни. <i>Перевод А. Елеонской</i> . . . . .	67
Кнш, сын Киша. <i>Перевод Н. Георгиевской</i> . . . . .	72
История Джис-Ук. <i>Перевод И. Гуровой</i> . . . . .	79
Лига стариков. <i>Перевод Н. Банникова</i> . . . . .	95
Тысяча дюжин. <i>Перевод Н. Дарузес</i> . . . . .	107
Любовь к жизни. <i>Перевод Н. Дарузес</i> . . . . .	120
Отступник. <i>Перевод З. Александровой</i> . . . . .	133
Fipis. <i>Перевод Ю. Соловьевой</i> . . . . .	147
Поручение. <i>Перевод Б. Грибанова</i> . . . . .	153
«Алоха Оэ». <i>Перевод М. Абкиной</i> . . . . .	163
Кулау-прокаженный. <i>Перевод М. Лорие</i> . . . . .	173
Язычник. <i>Перевод М. Бессараб</i> . . . . .	184
Польза сомнения. <i>Перевод С. Займовского</i> . . . . .	199
Сила сильных. <i>Перевод Г. Злобина</i> . . . . .	212
Мексиканец. <i>Перевод Н. Ман</i> . . . . .	222
Перья Солнца. <i>Перевод М. Абкиной</i> . . . . .	242
Дитя Воды. <i>Перевод С. Займовского</i> . . . . .	259

**Лондон Д.**

Л 76      Рассказы: Пер. с англ./Сост., вступ. статья А. Савуренок; Оформ. худож. С. Бордюг. — Л.: Худож. лит., 1981. — 272 с. (Классики и современники. Зарубежная литература).

В сборник избранных рассказов американского писателя Джека Лондона (1876—1916) входят, главным образом, рассказы северного цикла — «Белое безмолвие», «Любовь к жизни», «Мужество женщины» и другие.

Л 70304-069 17-81 4703000000  
028(01)-81

ББК 84.37 США

*Зарубежная литература*

ДЖЕК ЛОНДОН

Рассказы

Редактор

Н. Толстая

Художественный редактор

В. Куприянов

Технический редактор

Н. Литвина

Корректор

Ю. Бережнова

ИБ № 1950

Сдано в набор 07.01.81. Подписано в печать 25.05.81. Формат 60×90<sup>1/8</sup>. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. 17 усл. печ. л. 17,75 усл. кр.-отг. 21,067 уч.-изд. л. Тираж 500 000 экз. Заказ № 1679, Цена 1 р. 70 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература», Ленинградское отделение. 191186, Ленинград, Д-186, Невский пр., 28

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15

В 1980 году в серии

---

«КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОКИ»

вышли в свет:

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- В. Г ю г о. Труденики моря.
- Ч. Д и к к е н с. Приключения Оливера Твиста.
- Ф. Н о р р и с. Спрут.
- Г. М о п а с с а н. Милый друг.
- Э. П о. Рассказы.
- Д. С в и ф т. Путешествия Гулливера.
- В. С к о т т. Роб Рой.
- К. Ч а п е к. Война с саламандрами.



В 1981 году в серии

---

«КЛАССИКИ И СОВРЕМЕННОИКИ»

выходят в свет:

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Д. Дефо. Робинзон Крузо.
- Г. Флобер. Госпожа Бовари.
- С. Цвейг. Новеллы.
- У. Шекспир. Гамлет. Король Лир. Кориолан.
- Ф. Шиллер. Драмы.

«ПОЭТИЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА»

- В. Гюго. Стихотворения.
- А. Прокофьев. Стихотворения.
- А. Пушкин. Евгений Онегин.
- Русская лирика XIX века.



1 р. 70 к.



*Зарубежная литература*

